

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

СИБИРЬ

373/2 2 • 2019

Литературно-художественный и культурно-просветительский
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи
Министерства культуры и архивов Иркутской области
Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

Содержание

Хрестоматия

210-летие со дня рождения

Николай Гоголь. Обращаться со словом нужно честно...

Письма из книги «Выбранные места из переписки с друзьями»3

120-летие со дня рождения

Леонид Леонов. Деревянная королева. Рассказ9

95-летие со дня рождения

Виктор Астафьев. Деревья растут для всех.

Из повествования в рассказах «Последний поклон»19

95-летие писателя Юрия Бондарева

Юрий Бондарев. Ожидание. Из книги рассказов «Мгновения»22

Поэзия

Владимир Скиф. Среди тёмных столбов бытия26

Александр Кобелев. Русской речи чистая мелодия46

Михаил Рябиков. А душе всё больней и больней73

Валентина Ерофеева. Стирая грань меж счастьем и бедой107

Светлана Третьякова. Назначь мне свидание в дождь125

Татьяна Халаева. Город, мужеством воспетый140

Проза

Леонид Бородин. Лютик — цветок жёлтый. Рассказ35

Елена Чубенко. На море-окияне. Рассказы. Предисловие Э. Анашкина54

Андрей Хромовских. Санёк-мотылёк.

Из полуавтобиографической повести «Записки сельского таксиста»79

Сергей Стахеев. Затмение. Короткие сказы113

Алёна Шипицына. Улиточка. Рассказ130

Сквозь призму истории

К 210-летию со дня рождения графа Николая Муравьёва-Амурского

Артём Ермаков. Амурский рывок.

Амурские экспедиции Н.Н. Муравьёва и их историческое значение144

Публицистика

Солженицын, кто он? Введение в дискуссию157

Валентин Распутин. Жить по правде159

Валерий Есипов. Солженицын и его апологеты	163
Валентина Твардовская. <i>Открытое письмо А.И. Солженицыну по поводу его книги «Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни»</i>	172

Критика

Александр Обухов. Тайны поэтического слова. <i>Сакральный смысл текста «Слово о полку Игореве» и произведений Есенина</i>	177
---	-----

Радоница

Тамара Бусаргина. Вы снова здесь, изменчивые тени... <i>Воспоминания о писателях «Иркутской стенки»</i>	187
---	-----

Вернисаж

Анатолий Байбородин. «Люблю я родину, зелёную и снежную...» <i>О судьбе и творчестве художника Владимира Кузьмина</i>	223
---	-----

Сумочка к другу

Степан Правдорубский. Мне не жаль разбитую посуду	229
Максим Орлов. «Велик могучим русский языка»	230
Владимир Скиф. Уснувшую картошку сторожил. <i>Из цикла пародий «Смирновиада»</i> ...	231

Книжная лавка

Валерий Прищепа. Родина больше нас	233
Елена Стефанович. Поэзия в прозе. <i>О книге Елены Чубенко «Солнцем поцелованные»</i>	239
Книжная полка	241

События

Поклон писателям Кузбасса. <i>Слово о семидесятилетии журнала «Огни Кузбасса»</i>	244
Наши лауреаты	246
Конец судебной тяжбы. Редакционное сообщение	247
Обращение к деятелям культуры, политикам, предпринимателям России о создании памятника Василию Белову	250
Извинения Иванову В.П. (Ивану Комлеву)	252

Главный редактор **А.Г. БАЙБОРОДИН**

Директор редакции **Ю.И. БАРАНОВ**

Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**

Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь **С.В. ЗУБАКОВА**

СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, А.С. Гурулёв, В.К. Забелло, В.В. Козлов, И.И. Козлов,
А.К. Лаптев, М.П. Попова, О.К. Стасюлевич, Л.А. Сулейманова, В.Н. Хайрюзов

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Редакция оставляет за собой право принятые к печати рукописи редактировать и корректировать. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Л.Н. Заступова.

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Адрес учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.

Телефон редакции: 8-914-92-75-720. Электронный адрес редакции: sve-t-lana@mail.ru

Подписано в печать 14.05.2019 г. Выход в свет: 27.05.2019 г. Формат 70х108/16.

Усл-печ. л. 21. Тираж 1300. Цена свободная.

Издательство: ИП Лаптев А.К. Адрес: 664047, ул. Трудовая, 55-51. Тел. 8 (3952) 23-38-45.

Отпечатано в типографии: ООО «Принт Лайн», 664006, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3, корп. 4, оф. 21. Тел. 8 (3952) 48-66-00.

Р/сч. № 40702810608030001744 к/с 30101810200000000777 Банк получателя ФЛ ПАО Банк ВТБ в г. Красноярск

Сч. № 30101810200000000777 БИК 040407777

ИНН/ КПП 3808086540/381201001 ОКПО 13623582 ОКПО 13623582

Эрестоматия



210-летие со дня рождения

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ



Обращаться со словом нужно честно...

Письма из книги «Выбранные места из переписки с друзьями»

IV. О том, что такое слово

Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

*За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик чтит —*

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом — мало ли на что можно сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства.

ГОГОЛЬ Николай Васильевич (1809–1852) — классик русской литературы, писатель, драматург, публицист, критик. Он мастерски работал в самых разных литературных жанрах. О его произведениях положительно отзывались как современники, так и писатели последующих поколений. Золотыми буквами вписаны в русскую и мировую литературу бессмертные произведения Гоголя: сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», «Ревизор», «Женитьба», «Театральный разъезд», «Миргород», «Вий», «Тарас Бульба» и многие другие.

Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность звания своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призвание Божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа?

Словом, еще какой-нибудь обыкновенный писатель мог бы оправдываться обстоятельствами, но не Державин. Он слишком повредил себе тем, что не сжег, по крайней мере, целой половины од своих. Эта половина од представляет явление поразительное: никто еще доселе так не посмеялся над самим собой, над святыней своих лучших верований и чувств, как это сделал Державин в этой несчастной половине своих од. Точно как бы он силился здесь намалевать карикатуру на самого себя: все, что в других местах у него так прекрасно, так свободно, так проникнуто внутреннею силою душевного огня, здесь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего — здесь повторены те же самые обороты, выражения и даже целиком фразы, которые имеют такую орлиную замашку в его одушевленных одах и которые тут просто смешны и походят на то, как бы карлик надел панцирь великана, да еще и не так, как следует. Сколько людей теперь произносит суждение о Державине, основываясь на его пошлых одах. Сколько усумнилось в искренности его чувств потому только, что нашли их во многих местах выраженными слабо и бездушно; какие двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном благородстве и даже неподкупности того самого правосудья, за которое он стоял. И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню. Приятель наш П...н имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно или к бесчестью его. Он скрепляет это дело известной оговоркой журналистов: «Надеемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих драгоценных строк; в великом человеке все достойно любопытства», — и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкий читатель останется благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято. Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже просто неприготовленные проповедатели Бога, дерзавшие произносить имя Его неосвященными устами.

Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом — в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желанием добра можно произвести зло. Тот же наш

приятель П...н тому порука: он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего он набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом — выказывал перед читателем себя всего во всем своем неряшестве. И что ж? Заметили ли читатели те благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? Приняли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? Нет, они заметили в нем одно только неряшество и неопрятность, которые прежде всего замечает человек, и ничего от него не приняли. Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек, торопясь всю жизнь свою передать поскорей в руки всем все, что ни находил на пользу просвещения и образования русского... И ни один человек не сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремлением к добру, которое бы внушило его слово. Напротив, я должен был даже спорить и стоять за чистоту самих намерений и за искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что он сумел так замаскировать себя перед всеми, что решительно нет возможности показать его в том виде, каков он действительно есть. Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупный; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непритворный гнев противу всякого направления, вредного России, выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному известных людей. Словом, на всяком шагу он сам свой клеветник.

Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще — слово, и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздастся гнилое слово о гнилых предметах. Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать даже много полезного людям. Они слышали, как можно опозорить то, что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои, — говорит Иисус Сирах, — растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста».

XXIV. Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России

Долго думал я, на кого из вас напасть: на вас или на вашего мужа? Наконец решаюсь напасть на вас: женщина скорей способна очнуться и двинуться. Положенье вас обоих, хотя вы считаете себя на вершине блаженства, по мне, не только не блаженно, но даже хуже положения тех, которые считают себя в горе и не-

счастью. У вас обоих есть много хороших качеств душевных, сердечных и даже умственных, и нет только того, без чего все это ни к чему не послужит: нет внутри себя управления собою. Никто из вас не господин себе. В вас нет характера, признавая характером *крепость воли*. Ваш муж, чувствуя этот недостаток в себе, женился нарочно затем, чтобы найти в жене себе возбуждение на всякое дело и подвиг. Вы за него вышли замуж затем, чтобы он был вашим возбудителем во всяком деле жизни. Оба друг от друга ждут того, чего нет у обоих. Говорю вам: положение ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплыветесь и распуститесь среди жизни, как мыло в воде; все ваши достоинства и добрые качества исчезнут в беспорядке действий, который один делается вашим характером, и станете вы оба — олицетворенное бессилие. Молите Бога о *крепости*. У Бога можно все вымолить, даже и крепость, которую, как известно, никакими средствами не может достать бессильный и слабый человек. Поступите только умно. «Молись и к берегу гребись», — говорит пословица. Произносите в себе и поутру, и в полдень, и ввечеру, и во все часы дня: «Боже, собери меня всю в самое меня и укрепи!» — и действуйте в продолжение целого года так, как я вам сейчас скажу, не рассуждая покуда, зачем и к чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя; приход и расход чтобы был в ваших руках. Не ведите общей расходной книги, но с самого начала года сделайте смету всему вперед, обнимите все нужды ваши, сообразите вперед, сколько можете и сколько вы должны издержать в год, сообразно вашему достатку, и все приведите в круглые суммы. Разделите ваши деньги на семь почти равных куч. В первой куче будут деньги на квартиру, с отопкою, водой, дровами и всем, что ни относится до стен дома и чистоты двора. Во второй куче — деньги на стол и на все съестное с жалованьем повару и продовольствием всего, что ни живет в вашем доме. В третьей куче — экипаж: карета, кучер, лошади, сено, овес, словом — все, что относится к этой части. В четвертой куче — деньги на гардероб, то есть все, что нужно для вас обоих затем, чтобы показаться в свет или сидеть дома. В пятой куче будут ваши карманные деньги. В шестой куче — деньги на чрезвычайные издержки, какие могут встретиться: перемена мебели, покупка нового экипажа и даже вспомоществование кому-нибудь из ваших родственников, если бы он возымел внезапную надобность. Седьмая куча — Богу, то есть деньги на церковь и на бедных. Сделайте так, чтобы эти семь куч пребывали у вас несмешанными, как бы семь отдельных министерств. Ведите расход каждой особо, и ни под каким предлогом не занимайте из одной кучи в другую. Какие ни представлялись бы вам в это время выгодные покупки и как бы ни соблазняли они вас своею дешевизною, не покупайте. На это можете отважиться потом, когда побольше укрепитесь. А теперь не позабывайте ни на миг, что все это вами делается для покупки твердого характера, а эта покупка покамест для вас нужнее всякой другой покупки, и потому будьте в этом упрямы. Просите Бога об упрямстве. Даже и тогда, если бы оказалась надобность помочь бедному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится в определенной на то куче. Если бы даже вы были свидетелем картины несчастья, раздирающего сердце, и видели бы сами, что денежная помощь может помочь, не смейте и тогда дотрогиваться до других куч, но поезжайте по всему городу, по всем вашим знакомым и старайтесь преклонить их на жалость: просите, молитесь, будьте готовы даже на унижение себя, чтобы это осталось вам в урок, чтобы вы помнили вечно, как вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, как вы должны были из-за этого подвергнуться унижению и даже осмеянию публичному;

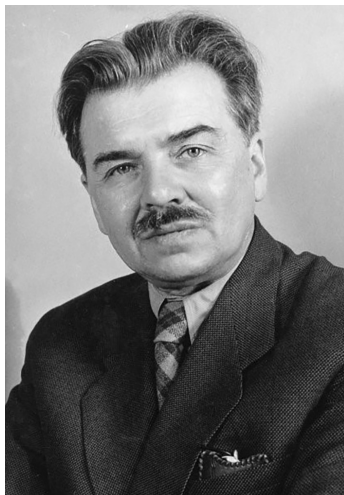
чтобы это не выходило у вас из ума, чтобы вы через это приучались обрезать себя в расходах по каждой куче и заранее помышлять о том, чтобы к концу года оставался от каждой остаток для бедных, а не сходились бы только концы с концами. Если вы будете держать это в голове своей беспрестанно, то вы никогда не заедете без надобности сильной в магазин и не купите себе неожиданно для себя самой какое-нибудь украшение для камина или стола, на что так падки у нас как дамы, так и мужчины (последние еще больше и суть не женщины, а бабы). Ваши прихоти будут невольно и нечувствительно сжиматься, и дойдет наконец до того, что вы почувствуете сами, что вам не нужно иметь больше одной кареты и пары лошадей, больше четырех блюд за столом, что званый обед может также насытить людей и на простом сервизе, с прибавкой одного лишнего блюда да бутылки вина, разнесенного без всяких тонкостей в простых рюмках. Вы даже не только не сгорите от стыда, если пойдет по городу слух, что у вас не *comme il faut* (как надо, как следует (фр.)), но еще посмеетесь тому сами, уверившись истинно, что настоящее *comme il faut* есть то, которое требует от человека Тот Самый, Который создал его, а не тот, который приводит в систему обеда, даже и не тот, который сочиняет всякий день меняющиеся этикетки, даже и не сама мадам Сихлер. Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу, подводите итог всякой куче каждый месяц и пересчитывайте в последний день месяца все вместе, сравнивая всякую вещь одну с другою, чтобы уметь узнавать, во сколько раз одна нужнее другой, чтобы видеть ясно, от какой прежде нужно отказаться в случае необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что из нужного есть самое нужнейшее.

Держитесь этого строго в продолжение целого года. Крепитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь Богу, чтобы укрепил вас. И вы окрепнете непременно. Важно то, чтобы в человеке хотя что-нибудь окрепнуло и стало непреложным; от этого невольно установится порядок и во всем прочем. Укрепясь в деле вещественного порядка, вы укрепитесь нечувствительно в деле душевного порядка. Распределите ваше время; положите всему непрременные часы. Не оставайтесь поутру с вашим мужем; гоните его на должность в его департамент, ежеминутно напоминая ему о том, что он весь должен принадлежать общему делу и хозяйству всего государства (а его собственное хозяйство не его забота: оно должно лежать на вас, а не на нем), что он женился именно затем, чтобы, освобождая себя от мелких забот, всего отдать отчизне, и жена дана ему не на помеху службе, но в укрепление его на службе. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своем поприще, и через то встретились бы весело перед обедом и обрадовались бы так друг другу, как бы несколько лет не видались, чтобы вам было что пересказать друг другу и не попотчевал бы один другого зевотой. Расскажите ему все, что вы делали в вашем доме и домашнем хозяйстве, и пусть он расскажет вам все, что производил в департаменте своем для общего хозяйства. Вы должны знать непременно существо его должности, и в чем состоит его часть, и какие дела случилось ему вершить в тот день, и в чем именно они состояли. Не пренебрегайте этим и помните, что жена должна быть помощницей мужа. Если только в течение одного года вы будете внимательно выслушивать от него все, то на другой год будете в силах подать ему даже совет, будете знать, как ободрить его при встрече с какою-нибудь неприятностью по службе, будете знать, как заставить его перенести и вытерпеть то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на все прекрасное.

Начните же с этого дня исполнять все, что я вам теперь сказал. Крепитесь, молитесь и просите Бога непрерывно, да поможет вам собрать всю себя в себе и держать себя. Все у нас теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка стал всяк человек; обратил сам себя в подлое подножье всего и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в ее истинном смысле. Эту свободу один мой приятель, который вами лично не знаем, но которого, однако же, знает вся Россия, определяет так: «Свобода не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: *да*, но в том, чтобы уметь сказать им: *нет*». Он прав, как сама правда. Никто теперь в России не умеет сказать самому себе этого твердого «нет». Нигде я не вижу мужа. Пусть же бессильная женщина ему о том напомнит! Стало так теперь все чудно, что жена же должна повелеть мужу, дабы он был ее глава и повелитель.

1846

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ



Деревянная королева

РАССКАЗ

I

И уж конечно, ничего тут чудесного нет.

...Ночью однажды сидел Владимир Николаевич у столика и отдыхал за шахматами — повторял стаунтоновский, раннего периода, королевский гамбит, помещенный еще в «Palamede» в семидесятых годах. На столе позади него пел медную песенку хромой хозяйкин самовар.

Тогда за окном пушил декабрь, и белые снежные кони хорошей метели вихрем несли по городу синие санки сна.

И как будто кто-то играл на флейте, и, возможно, флейта играла сама.

Эта партия, игранная в Авиньоне лет семьдесят тому назад, была, пожалуй, самой изящной у Стаунтона. Атака белых коней, после внезапного нападения черного ферзя, была размеренной, четкой и строгой, как математическая формула, где знаки так хорошо и магически вплетаются друг в друга... А самая середина партии, когда черные выправляют свои смятые пешки и черная ладья, пользуясь

ЛЕОНОВ Леонид Максимович (1899–1994) — русский советский писатель и драматург, игравший заметную роль в литературной жизни страны на протяжении более чем 60 лет. Работал в стиле «социалистического реализма». Автор романов: «Барсуки», «Вор», «Большие пожары», «Русский лес», повестей: «Конец мелкого человека», «Белая ночь», «Провинциальная история», киноповести «Бегство мистера Мак-Кинли» и многих других произведений. Герой Социалистического Труда (1967). Награжден Сталинской премией первой степени (1943) — за пьесу «Нашествие», Ленинской премией (1957) — за роман «Русский лес» (1953), Государственной премией СССР (1977) — за киносценарий «Бегство мистера Мак-Кинли», а также четырьмя орденами Ленина. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

замешательством неприятельского фланга, выплывает с b8 на b4 и уводит белого коня, — это ли не вагнеровский лейтмотив, гневная медь которого расцветает над головой нечаянным звенящим цветком?

Самовар вздыхал начищенной своей грудью, стихал на минутку крошечную, и снова потом начинала сонно ползать по комнатке тихая песенка самоварной то-ски. В таком перерыве Владимир Николаевич передвинул ладью и задумался над ферзем. Стаунтон уходил здесь в неясные дебри конной атаки и с непонятно диким упорством бил конем с f3 на d4, а потом развивал прекрасную комбинацию на левом своем фланге... Владимир Николаевич ясно представлял себе другой вариант, а именно: королева идет с d5 на a5, как играл впоследствии Андерсен против Кизерицкого, а оттуда, — правда, рискуя катастрофой, — можно было прямо поставить угрозу белому центру... Владимир Николаевич решил разработать этот вариант и, закулив папиросу, устремил глаза за окно.

...Там неслышный лёт ветровых копыт пронизывал синюю ледяную глубину ночи. И уносились, и набегали новые, и весь тот снежный поток как флейта был. И странно, что многие в городе бессознательно слышали ту смеющуюся флейту, кроме одного лишь Владимира Николаевича.

Внимание его было поглощено белой пешкой, — в ней лежала причина некоторых осложнений и туманности, но уже и теперь становилось ясным: с4 било f7, а g7 черных...

Вот тут-то Владимир Николаевич пристальней взгляделся в ночь и лишь теперь неожиданно услышал тихий, влекущий в равнины декабря, свист метельной флейты. И случилось так, что это напомнило ему письма тоненькой девочки Марианночки, которая за год перед тем под лиловой шалью пробежала мимо его сердца. Владимиру Николаевичу живо вспомнились глаза и губы в особенности, которые на всю жизнь так и растворились в пенье снежной флейты.

Но тотчас же вслед за милыми губками Марианночки почему-то припомнился хитроумнейший вариант Морфи, и тогда Извеков одной насмешливой улыбкой смел всю эту розовую муть с души, как лужу метлой с тротуара, а Стаунтон, по совету непогрешимого Морфи, прыгнул конем вперед и угрожающе поднялся на дыбы перед самым носом ошарашенного короля.

И снова запела флейта. И, покоряясь чему-то, что было прежде, а теперь ушло, Владимир Николаевич подошел к окну и стал смотреть.

Между домами, — в их низкие и вторые этажи поглядывали заплывшие метелью желтые глаза, — неслись, разбрызгивая синие хлопья по сторонам, снежные табуны, увлекая в ледяную муть беззвездной ночи весело кувыркающихся словнов... Потом проскользнула, кружась неистово, узорчатая вся, как клубок снежного кружева, башня под самым окном. И опять кто-то затерявшийся среди той метели повторил знакомую мелодию, устремляя бескровные губы к флейте.

Стало вдруг необычайно хорошо, — не потому ли вдруг оборвалось медное курлыканье самовара? И взамен его тихий женский смехок пробежал по комнате, вбежал в ухо Владимира Николаевича и спрятался у него в сердце самом. Ясно, что он обернулся, — но то, что он увидел, было не совсем ясно. Он заметил на шахматной доске, сразу разросшейся вовсю...

...А флейта все пела. Пробежала по ней белая рука вперед, убегала назад...

Он отчетливо приметил, как, перебежав на b7, передать хотела черная королева крошечную записку беленькую чужому офицеру, покуда за резной башенкой наклонял лысую, в короне, голову над рыженькой толстушкой, которых на

шахматной доске ровно восемь у него, черный король... Едва успел: тотчас закаменело все, и за шелковыми складками королевина платья испуганно спряталась тонкая ее точеная рука, — сдвинулось, вздрогнуло и замерло так.

...Взмахом белых рук за окном оборвалась флейта, и на некоторое время снова, унылый и одинокий, затянул прерванную песню самовар. Только две вещи и запомнил тогда Владимир Николаевич — первое: глаза королевы своей — быстрые, глаза метели снежной, в которой столько всегда разных равно близких сердцу глаз, но среди них — одна... И второе: фигуры на доске оказались расставленными именно... Это было поразительней всего, — Владимир Николаевич ясно своими глазами видел то, о чем не мечтал Стейниц и не смел предполагать Андерсен. Это было неожиданней, чем самый искрящийся, внезапный, как водопад, гамбит Эванса. То было неизвестное еще положение в игре офицера и королевы... Легко было запомнить: королева на d2 и с нею рядом, на одном ходе коня, чужой офицер. Неразрывные, как якорная цепь, пешки бегут в атаку, погибают две, и через три лишь хода тот же офицер, который прятал любовную записку, шахует растерявшегося королю.

И опять флейты.

Недоверчивым взором ощупал Извеков и эти четыре крупно разросшихся стены, и этот разбухший в медную гору самовар. Да, — он сам теперь, Владимир Николаевич Извеков, стоял на шахматном поле, на ход коня от королевы, и та протягивала ему сложенную вчетверо записку. Он взял, подержал незаметно у сердца и, едва скрылась та в треугольном, с отворотом, кармане его камзола, полностью осознал всю непоправимость происшедшего превращения. Было отчего прийти в ужас: он стал черным левофланговым офицером деревянного короля.

Еще мгновение, и сознание начало стынуть в нем, и лакированным деревом в уровень с глазами блеснула собственная его рука, приподымающая шляпу, вытереть испарину испуга. Последним бешеным скачком исчезающей воли вырвались у него четыре деревянных слова:

— Нет, не хочу, нет...

Теперь уж совсем недалеко пропела громкая, как охотничья труба, метельная флейта. Потом что-то передвинулось, возникший было острый угол стал тупым и пропал, уничтожился на одной прямой в ничто. Нечто качнулось, как цветок, и снова треугольником стал нечаянный квадрат тот.

Самовар вернулся откуда-то и стал слышным, а сам Извеков оказался сидящим в трехногом, — а четвертою хозяйкино ведро, — кресле и как будто задремавшим даже. Он протер глаза, припомнил, попытался улыбнуться витиевато проскользнувшему сну, но... на доске было то самое, из миллиарда единственное положение, когда черный ферзь и чужой слон во имя блистательнейшего из концов взаимно связываются тонкими нитями шахматной интриги.

Метель стихала, тикали на стенке часики. Остекленевшим, замороженным глазом глядел в спину Владимира Николаевича фонарь с улицы сквозь затянутое легким ледяным кружевцем стекло. Метель стихала, но красный спирт на шкале за окном все ниже прятался в свой стеклянный шарик. А на полу, возле самых ног, упавшая оттуда, белела записка. И в ней, как признак свершившегося безумия, — слова:

«Освободите, хочу всегда с вами быть. Рвусь к вашему сердцу вся из моей деревянной клетки. Один вы у меня родной, — все они, кругом, деревянные...»

II

Борис Викторович Коломницкий был, во-первых, музыкантом и еще страстным любителем всяких шахматных несообразностей, а во-вторых, веселым и верным другом, хотя немножко с язычком. Именно по долгу дружбы он и состоял давним и терпеливым поверенным немногочисленных тайн Извекова.

Было уже поздно, Борис Викторович лежал в кровати и держал прямо перед носом у себя обрывок газеты, в ожидании, покуда вчерашний суп разогреется на керосинке.

Было поздно, близ двенадцати уже. Сквозь оловянное стекло непреодолимой дремоты старался Коломницкий проникнуть в таинственный смысл некоторых слов, стоящих на газетном том клочке: ...экстра файн... 22.10... фулли — гуд — фер... 19.10... Конечно, — если бы не дремота эта самая, — несомненно, сразу же сумел бы он понять, что это просто-напросто сводка хлопковых цен на июль. Но дремота удаляла типографские знаки далеко-далеко, — верст на двадцать, и потом начиналось их обратное непреодолимое наступление, пока не заполняли всего сознания, пока не падала оцепеневшая рука... А спать было еще рано.

Тут-то и вошел Владимир Николаевич, и побежденный, скомканный клочок газеты полетел в темный пыльный угол, где желто-красный живот свой выпятила виолончель.

— Я, Борьк, к тебе, вот.

— Эге, понимаю. Кто она и сколько?

— Да нет, деньги у меня самого есть: получил сегодня... Тут вот книжку, которую ты разыскивал, принес.

— Купил?

— Купил...

— А когда покупал, — Коломницкий сурово поглядел на Извекова, но за серьезным взглядом его прыгали озорные черты безудержного смеха, — не спрашивал ли тебя приказчик: не задумал ли, мол, Коломницкий жениться?

Извеков руками всплеснул:

— Вот что значит одного тебя оставлять. Да ты, отец, совсем у меня свихнулся!

Тот сел на кровать и протер кулаками глаза:

— Угу, непотребно это, братик, одному быть! Каждый молодой, правильно сделанный мужчина обязан, понимаешь ли, когда-нибудь полюбить. Что есть человек без любви? — Коломницкий отвел указательный перст правой руки в сторону. — Микроб двуногий или глупая зеленая водоросль.

Коломницкий опустил выпуклые свои смеющиеся глаза вниз и тяжело вздохнул:

— Ты вот что, Володьк, — ты знаешь, какой слух ребята в консерватории про меня пустили?... будто я с виолончелью живу, понял? А тут девушка, умная, очень даже ничего себе, но ты не беспокойся: до свадьбы не познакомлю!

Владимир Николаевич загрюмился:

— Шахматы где у тебя, тарантул?

— Вон, в углу. Столик вчера опрокинула хозяйка, — разбежались, как тараканы... Поищи, коли нужда есть!

Владимир Николаевич заползал по полу, пошарил рукой под кушеткой, вытащил коня, стал расставлять фигуры.

— Борьк, тут пешки одной нет!

— Белой?

— Белой.

— В постоянном и безвестном отсутствии. Не огорчайся, замени пробкой... пустяки!

Владимир Николаевич начал с муциевского гамбита, выбросил слона, отдал коня и рокирнул... Коломницкий помычал, взглядом проскользнул зорко по доске и вот подошел, стал смотреть.

Извеков вел умело. Трах — ладья перескочила за борт, прямо в лужу вчера разлитого чая. Раз-два-три — белые слоны топчут правый фланг черных, король с d7 снова возвращается на d8 и опять выплясывает там свой убогий королевский танец на месте под кривыми кнутьями враждебных коней. Еще два хода — e4 бьет g5, — слон растаптывает пешку на пути ферзя, и вот...

Коломницкий был изумлен. Больше того, — он был подавлен и как-то по-собачьи ласково заглянул Извекову в глаза.

— Слушай, но ведь это же невозможно! Постой, слон бьет g5... Да ведь пойми ты, сам Филидор взлетел тут на воздух со чадами и домочадцами своими!.. Ведь это все равно что живую Венеру найти... паровоз изобрести! — Коломницкий был вне себя, восхищение как-то придавило его.

...Тихая начинала журчать поземка в улицах, разливалась луна, безбрежно и широко, — и, как острова в ледяном лунном половодье, торчали в черном небе метельные облака.

— Вот что, Извеков! Я четыре месяца добивался вот этой самой раскладки фигур. Мне давно уж казалось, что должно же и в шахматах быть такое положение, когда женщина изменяет только ради самой измены, в которой тайна и разная там магия... Да нет, — ты что, сон, что ли, видел шальной?.. ты, по крайней мере, понять-то меня способен?

Можно было бы рассказать все ясно и просто, утаив про записку, — и ничего бы не случилось тогда, но Владимир Николаевич предпочел показать ту самую записку, из другого плана, из деревянной шахматной клетки. Он протянул приятелю руку открыто, как протягивал сердце свое в течение долгих лет, и тот взял нерешительно.

Тут побледнел весь Коломницкий, и задрожала у него нижняя почему-то губа, и спросил, досадно и враждебно усмехнувшись:

— И ты с ней давно знаком?

— С кем?

— С Анкой...

— Кто?

— Ты.

— Да я совсем никакой Анки не знаю... Ты с чего нахмурился-то?

Тот перебил Извекова, и в голосе вздрогнуло нехорошо:

— Ты-то, конечно, ни при чем тут! Все дело в том, что записку эту писала невеста моя... вот про которую я тебе расписывал давеча. Здесь и буквы ее внизу: А. и Р., и почерк ее. Для меня это удар, признаюсь...

Извеков тупо глядел на приятеля, плохо понимая происходившее, но что-то уже начинало его раздражать. Потом догадался, покуда Коломницкий молча жевал папиросу, и принялся горячо, но сбивчиво рассказывать и объяснять приятелю и про то, как нежно пела флейта во вчерашней метели, и как записку уронила ему черная из шахматных полей королева, и еще подобную же чепуху... Говорил ис-

кренне, не скрывая ни слова, чуть не целых полчаса говорил. Но когда в котелке над керосинкой забурлило вдруг, Коломницкий встал, обрывая Владимир-Николаевичевой речи нестройный поток, зевнул и сказал:

— Я тебе не верю, потому что не верю ни в чох, ни в сон, ни в рыбий глаз, ни в какие чудеса не верю. И потом вот что: сейчас я буду ужинать, еды у меня на двоих не хватит, а потом я спать лягу.

Владимир Николаевич был очень душевный человек.

Он постоял еще минутку для приличия, надел не спеша шубу, вздохнул поглубже и вышел, не прощаясь, вон.

...В переулке со снежных гор, будто на весело хрустящих полозьях, соскальзывали лунные тени вниз. Было очень свежо и приятно. Выходило, будто луна пробивалась сквозь мех и знобяще прилегала к спине, — это бодрило походку. Хорошо, когда скрипят шаги по целине и собственная тень, как верная собака, бежит впереди, головой нащупывая каждую в дороге выемку.

Но плохо чувствует себя человек, возвращаясь после обидной неприятности в свое пустое, неприятное жилье.

III

Еще не раз, в вечерах, все той же метелью отмеченных, видел Владимир Николаевич, как оживала черная королева, обозначавшая себя в записке тонкими, без нажима, буквами: *А.* и *Р.* И всякий раз, когда ходом коня становился он на шахматную клетку рядом, успевал поймать один лишь ее беглый и ставший милым взгляд. Но едва усилием воли пытался продлить свое деревянное счастье, молниеносно делался треугольником неведомый квадрат, и распрямлялся некий угол иной математической яви, и выпадало тайное из цепи звено. Он просыпался из сна в наш, этот сон, и снова застревал в гуще житейских мелочей и воспоминаний неутоленной минуты.

И вот пришла тогда к Владимиру Николаевичу любовь, необыкновенная, как семибашенный дворец. И стала душа его жить в этом здании, и было ей очень хорошо.

...Днями бегал по урокам. Вечерами же иногда, если метель пушила, клал на раскрытую ладонь свою деревянную королеву и ждал, не расцветет ли дерево это под его горячими глазами цветами алыми или голубыми, подобно библейскому Ааронову жезлу.

Но чаще молчало все, не просыпалась в точеных изгибах вещи ее деревянная душа. Вечер проходил и записывался в памяти чернильным лиловым карандашом — пустота.

С Коломницким порвалось все само собой, раз не верил тот ни в чох, ни в рыбий глаз, а Извеков, выходило, верил. Из десятых уст слышно было, что тот пьет, из восьмых — разрабатывает какое-то невероятное шахматное контрположение, из четвертых — что сильно обтрепался и еще больше порыжел... Потом все стихло.

Покуда распевал то глуховатым баритоном, то медным тенорком самовар на столе, по-прежнему садился у окна и, когда начинали разбрызгивать снежную мусть тени белых, в синих яблоках, коней метельных, а флейта — петь, караулил минутку, когда возникнет вдруг из ничего тот тайный, радости пресветлой угол, который Коломницкий чоху и рыбьему глазу приравнял, — не вплетется ли в цепь знакомых и адски надоевших колец королевинаго пробуждения звено.

И в один из вечеров случилось большое горе: королева пропала. Ее не стало нигде — ни здесь, ни там, ни вот там... В тот вечер бомбой вылетел Владимир Николаевич на кухню, где стирала белье толстая ведьма Наталья.

— Она выходила отсюда, ты видела? — допрашивал Владимир Николаевич, стараясь заглянуть в глаза.

Ведьма ниже наклонилась к корыту и сумела только промычать:

— Да не-ет... никто вроде не выходил, не замечала.

Владимир Николаевич знал, как нужно с ведьмами разговаривать.

— Заходил ко мне кто-нибудь? — чуть руку ей не вывихнул Извеков.

— Тот рыжий, товарищ твой, был. Потом ушел, письмо тебе к стенке наколол.

— Долго пробыл?

— А кто ж его считал? Не раздевался...

— Купил он тебя, ведьма!

— А ты подсматривал?

Ну конечно, это был Коломницкий, — он и унес крошечный кусочек дерева, где спала королева душа. Извеков застонал тут особым проникновенным манером и, согнувшись, бросился в комнату искать записку. Она висела на стенке, приколотая к обоям ржавым пером:

«Ухожу вместе с ней. Нужно было на ф6, конем, чудило! Ты меня не разыскивай, — не вводи меня во искушение».

Владимир Николаевич раза четыре схватывался за голову, потом два раза за одну мысль дурную, которую родило отчаянье, потом за шапку и вылетел на улицу, оставляя за собой дребезг опрокинутого стакана, хлопок, откинутой наотмашь двери, на которой остался, вероятно, добрый след извековского локтя, и жалобный взвизг подвернувшегося по дороге пса.

...Влажные, слегка оттепельные сумерки действовали на него благотворно, хотя и медленно. Часа полтора он рассеянно скользил по переулкам, погруженный в разрешение какой-то задачи — шахматной, конечно, — смысл которой представлялся ему теперь смыслом всего его пребывания на земле. Эта убийственная растерянность не покидала Владимира Николаевича вплоть до той минуты, пока он не столкнулся с фонарным столбом. Плохо соображая действительность, он приподнял с извинением фуражку и направился домой.

Ночь подкрадывалась, как черная кошка, невидная, неслышная и близкая всем. По небу разлеглись низкие облака, похожие на кошачьи хвосты. На душе скребли кошки... У самого подъезда тощая черная кошачья тень скользнула через дорогу. Владимир Николаевич плюнул ей вдогонку, — снова такая гнусная тоска заполнила душу, впору хоть шахматную доску сгрызть.

Вошел в комнату, — Наталья неодобрительно и обидчиво выпатила губу, — бросился в кровать, схватил зубами подушку и продырявил новую наволочку насквозь. Горю его не было предела, а зубы были молодые и острые.

IV

И вот началось...

Добрая старушка, которая в письмах своих ласкала дорогого и единственного Володеньку своего старческими нескладными словами, как умела, не опознала бы его теперь: осунулось лицо, а нос заострился, а глаза стали подозрительными и

острыми, и щетка волос на подбородке придала всему облику его какой-то серый, бродяжий налет.

Вечера напролет упорно бродил он по сумеркам, перебегал улицу, заглядывал в темные лица встречающих, подглядывал в чужие окна, — искал. Не сомневался, что это совсем рядом, так что, если чуть волю поднапрячь, как при утерянном ключе вскрывают дверной замок, он сразу ворвется к ней в ту мнимую математическую даль.

Еще совсем недавно, четыре дня назад, встретил Владимир Николаевич ту, кого искал. Снова клубилась метель, самая большая в той метельной зиме, белые столбы шли очередями, и в каждом столбе глаза — выбирай! Вдруг она прошла мимо, а с нею два офицера, вплотную, как конвой, шли по сторонам. Один, конечно, Коломницкий, другой — тот шахматный, строгий, как секундант, потерявший-ся у Извекова недели еще три назад.

Они шли, как плыли. Прижавшись к стене, проводил их Владимир Николаевич глазами, слышал, как звонкие хлопы смеха королевина прореяли над его сердцем и растаяли в крутящемся столбе; деревянное лицо крайнего обернулось на мгновение и исчезло во мгле... И вот далекая, из серых, зыблящихся круч, опершихся в дрожащие крыши, донеслась поющая флейта.

Когда услышал, бросился вдогонку, но колючий вал мокрых, иступленно сомкнувшихся в призрачную лавину хлопьев залепил глаза и уши... Очнулся и опять ринулся было вперед, но синее и визжащее встало перед самыми его глазами на дыбы, простирая высоко над домами снежные когтистые лапы. Владимира Николаевича, по счастью невредимого, вытащили из-под колеса...

В другой раз видел ее на улице. У магазинной витрины, призрачным силуэтом отразясь в зеркальном стекле, поправляла шляпу.

...Потом однажды, поздно, она переходила улицу, близкая до боли, под руку с высоким стариком, а смех ее был как фарфоровый шарик на веселом серебре.

Тогда, сильные от морозца, попугивали запоздавших старушек автомобили на перекрестках и оглушительно звонили трамваи. Мучила навязчивая мысль, почему каким-то пятидесяти разнокалиберным людям потребовалось именно в этом трамвае именно в этот час ехать в одну и ту же сторону... Тогда зажигались на большой улице среди клубящихся метельных валов — дуговых фонарей молочные шары. И непонятно было, где была записана их идея до того, как они повисли в этой снежной высоте. Так потихоньку Владимир Николаевич сходил с ума.

V

В тот именно вечер пришла Извекову новая мысль. Он в подробностях представил себе шахматную расстановку, когда королева, играя с ближним офицером, Коломницким, не замечает угрозы от другого, тоже на ходе коня. И тут прояснилась наконец полная позиционная уязвимость его соперника.

...Извеков бежал домой, натываясь на прохожих, на встречного ветра живые валы, размахивал руками... Лишь в самых дверях остановился, вытер лоб рукавом, не раздеваясь присел к шахматам.

Вместо отсутствующего ферзя в клетку королевы встала притертая от графина пробка, вместо Коломницкого — огарок стеариновой свечи... дуэлянты встали по местам. Извеков криво усмехнулся кому-то, невиднo стоявшему у стены, подмигнул и кашлянул, игра началась.

Опять метелило в переулке. Заволокло окно морозной занавеской с той стороны, но смахивалась наотмашь от легчайшего прикосновенья торопившихся мимо теней. Иные приникали на мгновенье к самому стеклу в намерении заглянуть вовнутрь и, как-то так получалось, все теперь, не только один успех любовный, зависело от того, как растасуются фигуры на доске.

Белый конь вышел вперед. Стеариновый огарок отступил и телом своим прикрыл притертую стеклянную пробку. А8 сделала набег на а5, заворочались белые слоны... Королева уводит пешку с доски прочь. Конь убивает вторую пешку, и потом еще одну, и еще.

Владимир Николаевич не выдержал, — тому, кто незримо стоял у стенки, прислонясь к дверному косяку, просмеялся он тихо:

— Что же вы меня на простака-то ловите? Не раскаяться бы...

...Стало очевидным: нужно было изолировать королеву, удалить метким ударом Коломницкого с доски.

Извеков разогрелся и сбросил шубу с плеча, а голова работала все отчетливей. Противник отступал, метался, и — странное ощущение — с каждой мельчайшей передвижкой на доске менялись сочетанья каких-то более значительных узлов, перемещались где-то вдалеке глыбы времени и враждебных волей, и вот уже судьбой становилась пустяшная, казалось бы, игра.

Тут всклокоченный, над доскою, человек напрягся до последнего предела, — что-то грозило лопнуть... двадцать два, двадцать три. На двадцать четвертом ходу белый конь безошибочно шагнул на d6, а двадцать пятым ходом черная шахматная ладья, угрожая спрятавшемуся королю, опрокинула Коломницкого и... Все было кончено, трехходный мат был ясен, — филидоровская развязка!

...Вяло склонился в кресле, и сразу стала душа его как пустая зеленая бутылка, а глаза сомкнулись, будто стопудовая усталость опустилась на веки ему. Потом сдвинулись два разных пути, и обозначился угол... а возле самого уха заколебался близкой флейты свист. Потом все переместилось, и в тишине прорисовался только что выявленный оттуда женский тихий смехок...

Он повернулся так, что скрипнули все три кресловых ноги, раскрыл все свои сто тысяч глаз, и нестерпимая сладость вновь отвоеванной близости облила его холодным потом с головы до ног.

Она стояла возле, в черном вся — столько раз желанная, выигранная и не достигнутая никогда, метельные глаза остановив на нем. Сердце его потянулось к ней, он рванулся, он схватил ее руку, гладил точеную милую ее ладонь и пальцы, Глядел в глаза, в уме повторяя всю свою блистательную партию наизусть, бормотал ее, — одинаковое с начала и конца, — Анна, родное имя, — и еще какой-то причудливый любовный вздор, чудесно влетающий в пень флейт над головою. Партия была закончена, дальше начиналось счастье.

Почтительно раздавшись, взирали на них остальные фигуры с доски, немые от волненья, тронутые длительностью поединка, глубиной верности и чувства, заслуженно увенчанного победой. Для полного блаженства нужно было теперь только остаться навсегда в их кругу и все глядеться в очи любимой, покамест пальцы иной судьбы не разведут их, бедных деревяшек, для новой игры.

Едва подумал, тотчас же заостенело все кругом, прежде всего — остановленное блаженством время, и вот еще не изведанная немота стала вливаться в его затекшее тело. Живыми пока глазами смотрел он на свою, достигнутую, из облекавшей его тело древесины, — скованная рука уже не тянулась к ней...

Тут рывком потухающего сознания он раздвинул смыкавшийся угол, и тот послушно исчез на прямой. Деревянным смехом рассмеялись где-то за обозначившейся вдруг стеной уходящие флейты. И ничего не стало.

Владимир Николаевич раскрыл глаза, пощурился на окно, прислушался к самоварной песенке, в раздумье и не без сожаленья разжал ладонь — там лежал шахматный, деревянный, согретый его теплотой ферзь.

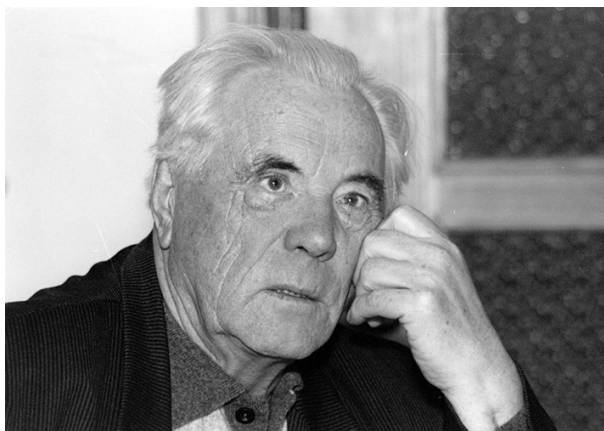
Зима еще пушилась снежным навесом в окне, но что-то успело измениться вокруг, и, если взглядеться попристальней, сквозь округлые сугробы внизу просматривались рябые от ветра талые лужи.

Вошла в комнату толстая ведьма Наталья:

— Там к тебе тот, рыжий, пришел...

Июль – август 1922 г.

ВИКТОР АСТАФЬЕВ



Деревья растут для всех

Из повествования в рассказах «Последний поклон»

Во время половодья я заболел малярией, или, как ее по Сибири называют, веснухой. Бабушка шептала молитву от всех скорбей и недугов, брызгала меня святой водой, травами пользовала до того, что меня начало рвать, из города порошки привозили — не помогло. Тогда бабушка увела меня вверх по Фокинской речке, до сухой россохи, нашла там толстую осину, поклонилась ей и стала молиться, а я три раза повторил заученный от нее наговор: «Осина, осина, возьми мою дрожалку — трясину, дай мне леготу», — и перевязал осину своим пояском. Все было напрасно, болезнь меня не оставила. И тогда младшая бабушкина дочь, моя тетка Августа, бесшабашно заявила, что она безо всякой ворожбы меня вылечит, подкралась раз сзади и хлестанула мне за шиворот ковш ключевой воды, чтобы «выпугнуть» лихорадку. После этого меня не отпускало и ночью, а прежде накатывало по утрам до восхода и вечером после захода солнца.

Бабушка назвала тетку дурой и стала поить меня хиной. Я оглох и начал жить как бы сам в себе, сделался задумчивым и все чего-то искал. Со двора меня никуда не выпускали, в особенности к реке, так как трясуха эта проклятая «выходила на воду».

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович (1924–2001). Выдающийся советский и российский писатель, драматург, эссеист. Родился в небольшом селе Овсянка Енисейской губернии (ныне — Красноярский край). В 1942 г. ушел добровольцем на фронт. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». В 1958 г. был принят в Союз писателей СССР. Лауреат пяти государственных премий СССР и РФ. Герой Социалистического Труда, лауреат Пушкинской премии фонда Альфреда Тепфера (ФРГ), Александра Солженицына (посмертно), премии «Триумф». Автор книг: «До будущей весны», «Тают снега», «Прокляты и убиты», «Перевал», «Звездопад», «Кража», «Где-то гремит война», «Последний поклон», «Слякотная осень», «Царь-рыба» и многих других.

У каждого мальчишки есть свой тайный уголок в избе или во дворе, будь эта изба или двор хоть с ладошку величиной. Появился такой уголок и у меня. Я сыскал его там, где раньше были кучей сложены старые телеги и сани, за сеновалом, в углу огорода. Здесь стеною стояла конопля, лебеда и крапива. Однажды потребовалось железо, и дед свез все старье к деревенской кузнице на распотрошенье.

На месте телег и саней коричневая земля с паутиной, мышинные норки да грибы поганки с тонкими шеями. А потом пошла трава ползунок. Поганки усохли, сморщились, шляпки с них упали. Норки заштопало корнями конопля и крапивы, сразу переползшей на незанятую землю. Я «косил» на меже огорода траву мокрицу обломком ножика и «метал стога», гнул сани и дуги из ивовых прутьев, запрягал в них бабки-казанки и возил за сарай «копны». На ночь я выпрягал «жеребцов» и ставил к сену.

Так в уединении и деле я почти одолел хворь, но еще не различал звуков и все смотрел-смотрел, стараясь глазами не только увидеть, но и услышать.

Иногда в конопле появлялась маленькая птичка мухоловка. Она деловито оципывалась, дружески глядела на меня, прыгала по конопляне, точно по огромному дереву, клевала мух и саранчу, открывала клюв и неслышно для меня чиликала. В дождь она сидела нахохленная под листом лопуха. Ей было очень одиноко без птенцов. Под листом лопуха у нее гнездышко. Там даже птенцы зашевелились было, но добралась до них кошка и сожрала всех до единого.

Мухоловка тихо дремала под лопухом. С листа катились и катились капли. Глаза птички затягивало слепой пленкой. Глядя на птичку, и я начинал зевать, меня пробирало ознобом, губы мои тряслись.

Я засыпал под тихий, неслышный дождь и думал о том, что хорошо бы посадить на «моей земле» дерево. Выросло бы оно большое-пребольшое, и птичка свила бы на нем гнездо. Я закопал бы плоды шипицы под деревом — шипица — дерево ханское, платье на нем шаманское, цветы ангельски, когти дьявольски — попробуй сунься, кошка!

В один жаркий, солнечный день, когда болезнь моя утихла и мне даже стало тепло, я пошел за баню и нашел там росточек с коричневым стебельком и двумя блестящими листками. Я решил, что это боярка, выкопал и посадил за сараем. У меня появилась забота и работа. Ковшиком носил я воду из кадки и поливал саженец. Он держался хорошо, нашел силы отшатнуться от тени сеновала к свету.

«Куда это ты таскаешь воду?» — маячила мне бабушка.

«Не скажу! Секрет!» — маячил я ей руками, будто и она была глухая.

Часами смотрел я на свой саженец. Мне он начинал казаться большой остроиглой бояркой. Вся она была густо запорошена цветами, обвита листвой, потом на ней уголочками загорались ягоды с косточкой, крепкой, что камушек. На боярку прилетала не только мухоловка, но и щеглы, и овсянки, и зяблики, и снегири, и всякие другие птицы. Всем тут хватит места! Дерево-то будет расти и расти. Конечно, боярка высокой не бывает, до неба ей не достать. Но выше сеновала она, пожалуй, вымахает. Я вон как ее поливаю!

Однако саженец мой пошел не ввысь, а вширь, пустил еще листья, из листьев — усики. На усиках маковым семечком проступили крупинки, из них вывернулись розоватые цветочки.

К этой поре я уже стал маленько слышать, пришел к бабушке и прокричал:

— Баб, я лесину посадил, а выросло что-то...

Бабушка пошла со мной за сеновал, оглядела мое хозяйство.

— Так вот ты где скрываешься! — сказала она и склонилась над саженцем,

покачала его из стороны в сторону, растерла цветочки в пальцах, понюхала и жалостно посмотрела на меня. — Ма-агушка. — Я отвернулся. Бабушка погладила меня по голове и прокричала в ухо: — Осенью посадишь...

И я понял, что это вовсе не дерево. Саженец мой, по заключению бабушки, оказался дикой гречкой. Обидно мне сделалось. Я даже ходить за сеновал бросил, да и болезнь моя шла на убыль, и меня уже отпускали бегать и играть на улицу с ребятами соседа нашего — дяди Левонтия.

Осенью бабушка вернулась из лесу с большой круглой корзиной. Посудина эта была по ободья завалена разной растительностью — бабушка любила повторять, что кто ест «луг», того Бог избавит от вечных мук, и таскала того «лугу» домой много. Из-под травы и корней сочной рыбьей икрой краснели рыжики и на самом виду выставлен подосиновик, про который такая складная загадка есть: маленький, удаленький, сквозь землю прошел, красну шапочку нашел!

Я любил пошариться в бабушкиной корзине. Там и мята, и зверобой, и шалфей, и девятишар, и кисточки багровой, ровно бы ненароком упавшей туда брусники — лесной гостинец, и даже багровый листик с крепеньким стерженьком — ер-егорка пал в озерко, сам не потонул и воды не всколебнул, да еще эта модница осенняя, что под ярусом — ярусом висит, будто зипун с красным гарусом, — розетка рябины. В корзине, как у дядюшки Якова, — товару всякого, и про всякое растение есть присказка или загадка, складная, ладная.

В корзине обнаружилось что-то, завязанное в бабушкин платок. Я осторожно развязал его концы. Высунулась лапка маленькой лиственницы. Деревце было с цыпленка величиной, охваченное желтым куржаком хвои. Казалось, оно вот-вот зачихкает и побежит.

Мы пошли за сарай, выкопали коноплю, крапиву и сделали для маленькой лиственницы большую яму. В яму я принес навозу и черной земли в старой корзине. Мы опустили лиственницу вместе с комочком в яму, закопали ее так, что остался наверху лишь желтый носок.

— Ну вот, — сказала бабушка, — глядишь, возьмется лиственка, правда, худо принимается от саженца, но мы ее осторожно посадили, корешок не потревожили...

И опять я начал видеть в мечтах высокое-высокое дерево. И опять жило на этом дереве много птиц, и появлялась на нем зелененькая, а осенью желтая хвоя. Но все же были у меня кое-какие сомнения насчет саженца.

И как только бабушка принималась за спокойную работу, садилась прясть куделю, я приставал к ней с одними и теми же расспросами:

— Баб, а оно большое вырастет?

— Кто?

— Да дерево-то мое?

— А-а, дерево-то? А как же?! Непременно большое. Лиственницы маленькие не растут. Только деревья, батюшко, растут для всех, всякая сосна в бору красна, всякая своему бору и шумит.

— И всем птичкам?

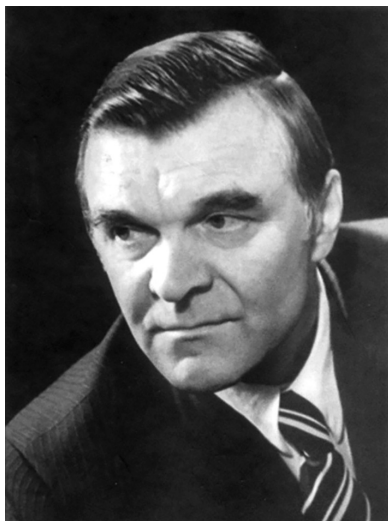
— И птичкам, и людям, и солнышку, и речке. Сейчас вот оно уснуло до весны, зато весной начнет расти быстро-быстро и перегонит тебя...

Бабушка еще и еще говорила. В руках у нее крутилось и крутилось веретено. Веки мои склеивались, был я еще слаб после болезни и все спал, спал, И мне снилась теплая весна, зеленые деревья.

А за сараем, под сугробом тихо спало маленькое деревце, и ему тоже снилась весна.

95-летие писателя Юрия Бондарева

ЮРИЙ БОНДАРЕВ



Ожидание

Из книги рассказов «Мгновения»

*Жизнь есть мгновение,
Мгновение есть жизнь.*

Лежал при синеватом свете ночника, никак не мог заснуть, вагон несло, качало среди северной тьмы зимних лесов, мерзло визжали колеса под полом, будто потягивало, тянуло постель то вправо, то влево, и было мне тоскливо и одиноко в холодноватом двухместном купе, и я торопил бешеный бег поезда: скорей, скорей домой!

И вдруг поразился: о как часто я ожидал тот или иной день, как неблагоприятно отсчитывал время, подгоняя его, уничтожая его одержимым нетерпением! Чего я ожидал? Куда я спешил? И показалось, что почти никогда в прожитой молодости

БОНДАРЕВ Юрий Васильевич — русский советский писатель и сценарист. Родился 15 марта 1924 г. в г. Орске. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», рядом польских наград. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Дебютировал в печати в 1949 г. С 1959 по 1963 г. являлся членом редколлегии, редактором отдела литературы и критики «Литературной газеты». В 1961–1966 гг. был главным редактором Объединения писателей и киноработников на студии «Мосфильм». Член Союза писателей СССР, член Союза кинематографистов. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР, награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени и др. Удостоен Большой литературной премии России, а также премий: «Древо жизни», «Ясная Поляна», Патриаршей литературной премии имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и др. Автор романов и повестей: «Батальоны просят огня», «Тишина», «Двое», «Горячий снег», «Берег», «Выбор», «Мгновения» и др. Многие произведения писателя были экранизированы.

я не жалел, не осознавал утекающего срока, словно бы впереди была счастливая беспредельность, а та каждодневная земная жизнь — замедленная, ненастоящая — имела лишь отдельные вехи радости, все остальное представлялось настоящими промежутками, бесполезными расстояниями, прогонами от станции к станции.

Я неистово торопил время в детстве, ожидая день покупки перочинного ножа, обещанного отцом к Новому году, я с нетерпением торопил дни и часы в надежде увидеть ее, с портфельчиком, в легоньком платьице, в белых носочках, аккуратно ступающую по плитам тротуара мимо ворот нашего дома. Я ждал того момента, когда она пройдет возле меня, и, омертвев, с презрительной улыбкой влюбленного мальчика наслаждался высокомерным видом ее вздернутого носа, веснушчатого лица, и затем с той же тайной влюбленностью долго провожал глазами две косички, раскачивающиеся на прямой напряженной спине. Тогда ничего не существовало кроме кратких минут этой встречи, как не существовало и в юности реального бытия тех прикосновений, стояния в подъезде около паровой батареи, когда я ощущал сокровенное тепло ее тела, влагу ее зубов, ее податливые губы, вспухшие в болезненной неуголовности поцелуев. И мы оба, молодые, сильные, изнемогали от неразрешенной до конца нежности, как в сладкой пытке: ее колени прижаты к моим коленям, и, отрешенные от всего человечества, одни на лестничной площадке, под тусклой лампочкой, мы были на последней грани близости, но не переступали эту грань — нас сдерживала стыдливость неопытной чистоты.

За окном исчезали обыденные закономерности, движение земли, созвездий, переставал падать снег над рассветными переулками Замоскворечья, хотя он падал и падал, будто в белой пустоте заваливая мостовые; переставала существовать сама жизнь, и не было смерти, потому что мы не думали ни о жизни, ни о смерти, уже не были подвластны ни времени, ни пространству, — мы создавали, творили что-то особенно главное, сущее, в котором рождалась совсем иная жизнь и совсем иная смерть, неизмеримые сроком двадцатого столетия. Мы возвращались куда-то назад, в бездну первозданной любви, толкнувшие мужчину к женщине, раскрывшие перед ними веру в бессмертие.

Гораздо позднее я понял, что любовь мужчины к женщине есть акт творчества, где оба чувствуют себя святейшими богами, и присутствие власти любви делает человека не покорителем, а безоружным властелином, подчиненным всеобъемлющей доброте природы.

И если бы спросили тогда, согласен ли, готов ли ради встреч с ней в том подъезде, возле паровой батареи, под тусклой лампочкой, ради ее губ, ее дыхания отдать несколько лет своей жизни, я ответил бы с восторгом: да, готов!..

Иногда думаю, что и война была как бы длительным ожиданием, мучительным сроком прерванного свидания с радостью, то есть все, что мы делали, было за дальними границами любви. А впереди, за пожарами задымленного, прорезанного пулеметными трассами горизонта, манила нас надежда на облегчение, мысль о тепле в тихом домике среди леса или на берегу реки, где должна произойти какая-то встреча с незавершенным прошлым и недостижимым будущим. Терпеливое ожидание длило наши дни на простреленных полях и вместе с тем очищало наши души от смрада висящей над окопами смерти.

Я помню первый успех в жизни и предваряющий его звонок по телефону, в котором было обещание этого успеха, долгожданного мною. Я бросил трубку телефона после разговора (никого не было дома) и воскликнул в приливе счастья: «Черт возьми, наконец-то!» И подпрыгнул молодым козлом возле телефона, и на-

чал ходить по комнате, разговаривая сам с собой, потирая грудь. Если бы кто-нибудь увидел меня в эту минуту со стороны, то подумал бы, вероятно, что перед ним сумасшедший мальчишка. Однако я не сошел с ума, я просто был на пороге того, что представляло важнейшей вехой моей судьбы.

До знаменательного дня, когда должен был я полностью удовлетвориться, ощутить собственное «я» счастливого человека, нужно было еще ждать не один месяц. И если бы опять спросили меня, отдал бы я часть своей жизни за сокращение времени, за то, чтобы приблизить желанную цель, я ответил бы без заминки: да, я готов сократить земной срок...

Разве когда-нибудь раньше я замечал молниеносную быстроту уходящего времени?

И вот сейчас, прожив лучшие годы, переступив срединную грань века, порог зрелости, я не испытываю былой радости завершения. И уже не отдал бы ни часа живого дыхания за нетерпеливое удовлетворение того или иного желания, за краткий миг результата.

Почему? Я постарел? Устал?

Нет, теперь я понимаю, что путь воистину счастливого человека от рождения до последнего растворения в вечности и есть тормозящая неизбежную мглу небытия радость ежедневного существования в окружающем мире, и я поздно осознаю: какая же бессмысленность торопить и вычеркивать ожиданием цели дни, то есть неповторимость мгновений жизни, данной нам единый раз как драгоценный подарок.

И все-таки: чего я жду?..

Свет в окне

Январская метелица, скрип мерзлых тополей в переулке, верховой ветер гремел железом, срывал снежную пыль с карнизов, нес ее вдоль побеленных заборов, над свежими сугробами, а оно, это единственное в ночи окно, светилось зеленым уютным пятном и, всегда одинаково яркое, теплое, занавешенное, притягивало к себе, вызывало приятное ощущение неразгаданной тайны.

Неизменно каждый вечер меня встречал в переулке этот домашний маячок в деревянном домике, загороженный занавеской огонек настольной лампы — и я представлял натопленную комнату, стеллажи, заставленные книгами, по всем стенам, потертый коврик на полу перед диваном, письменный стол, стеклянный абажур лампы, распространяющий оранжевый круг в полумраке, и кого-то, мило сутуловатого, в старческих добрых морщинах, кто одиноко жил там, окруженный благословенным раем книг, листал их ласкающими пальцами, ходил по комнате шаркающей походкой, думал, работал до глубокой ночи за письменным столом, ничего не требуя от мира, от суетных его удовольствий. Но кто же он был — ученый, писатель? Кто?

Раз прошлой весной (в набухшей сыростью мартовской ночи всюду капало, тоненько звенели расколотые сосульки, фиолетовыми стеклышками отливали под месяцем незамерзшие лужицы на мостовой) я глядел на знакомое, бессонное окно, на ту же, зеленовато-теплую, освещенную изнутри занавеску, испытывая необоримое чувство. Мне хотелось подойти, постучать в стекло, увидеть колыхание отодвинутой занавески и его знакомое в моем воображении лицо, иссеченное сеточкой морщин вокруг прищуренных глаз, увидеть стол, заваленный листьями

бумаги, внутренность комнатки, заполненной книгами, коврик на полу... Мне хотелось сказать, что я, наверное, ошибся номером дома, никак не найду нужную мне квартиру — примитивно солгать, чтобы хоть мельком заглянуть в пленительный этот воздух чистоплотного его жилья и работы в окружении книг, казалось, единственных его друзей.

Но я не решился, не постучал. И позднее не мог простить себе этого.

Нет, спустя два месяца ничего не изменилось, все было по-прежнему, а в тихоньком переулке была весна, майский вечер медленно темнел в глубине замоскворецких двориков; среди свежей молодой зелени зажигались фонари над заборами, майский жук с гудением потянул из дворика, ударился о стекло фонарного колпака, упал на тротуар, замер, потом задвигал ошеломленно лапками, пытаясь перевернуться. Тогда я помог ему, сказав зачем-то «Что ж ты?..» Он пополз по тротуару к стене дома, к водосточной трубе (она была в трех шагах от окна), почувствовал я какое-то внезапное неудобство, глянувшее на меня из майских сумерек.

Окно в домике не горело. Оно было как провал...

Что случилось?

Я дошел до конца переулка, постоял на углу, вернулся, надеясь увидеть знакомый свет в окне. Но окно сумрачно отблескивало стеклами, занавеска висела неподвижно, не теплилось на ней преоранжевое зарево, как бывало по вечерам, и в один миг все стало мертвенно неприятным, и показалось — там, в невидимой этой комнатке, произошло несчастье.

С беспокойством я опять дошел до угла, выкурил две сигареты и, уже подсознательно торопясь, вернулся в переулок. Я внушал себе, что сейчас вспыхнет зеленый свет на занавеске и все в переулке станет обыденным, умиротворенным...

Свет в окне не зажегся.

А на следующий день я почти бегом завернул по дороге домой в соседний переулок, и здесь неожиданное открытие поразило меня. Окно было распахнуто, занавеска отдернута, выказывая нутро комнаты, книжные полки, какую-то карту на стене, — все это впервые увидел я, не раз представляя моего неизвестного друга за вечерней работой.

Пожилая женщина с мужским лицом и мужской прической стояла у письменного стола, курила, смотрела в пространство отсутствующими глазами.

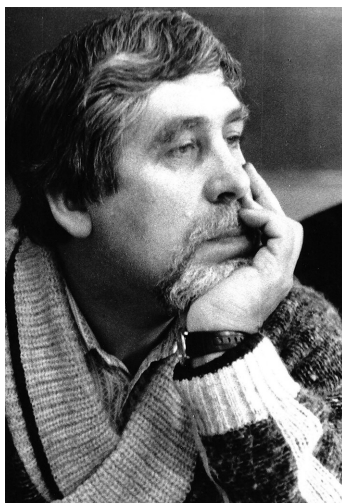
Тотчас она заметила меня, рывком задернула занавеску — и шершавый холодок вполз в мою душу. И дом, и переулок, и окно представились мне ложными, незнакомыми.

И я понял, что случилось несчастье, что мой воображаемый друг, тот седенький старичок с шаркающей походкой, к которому так тянуло меня душевно, был нужен мне, как близкий друг.

ПОЭЗИЯ



ВЛАДИМИР СКИФ



Среди тёмных столбов бытия

Стена

Смотрю из зимнего окна,
Ищу свиданья лет минувших,
А там возводится стена
Из наших чувств, давно уснувших.

Зачем стена? Зачем она
Ворочается в окна белых?
Зачем возводится стена
Среди деревьев индевелых?

Молчит стена, а в ней сполна
Тревог, событий самых разных...
Всю ночь возводится стена
Из слов и помыслов напрасных.

Моя в ней оторопь видна,
Твоя придуманность величья.
...И долго ходит у окна
Свинцовый холод безразличья.

СКИФ Владимир Петрович родился 17 февраля 1945 г. в пос. Куйтун Иркутской области. Автор 29 книг: «Зимняя мозаика» (Иркутск, 1970); «Журавлиная азбука» (Иркутск, 1979); «Живу печалью и надеждой» (Иркутск, 1989); «Копьё Пересвета» (Иркутск, 1995); «Над русским перепутьем» (Иркутск, 1996); «Золотая пора листопада» (Иркутск, 2005); «Письма современникам» (Иркутск, 2005); «Русский крест» (Сер. «Библиотека лирической поэзии «Золотой жираф». М., 2008); «Молчаливая воля небес» (Иркутск, 2012); «Все боли века я в себе ношу» (Иркутск, 2013); «Перевод «Слова о полку Игореве» (М., 2014); «Скифотворения» (Иркутск, 2014); «Где моей скитаться грусти» (Иркутск, 2015); «Байкальское Переделкино» (М., 2015); «Где русские смыслы сошлись» (Серия «Библиотека российской поэзии», СПб., 2016); двухтомник «Древо с листьями имён» (Иркутск, 2017); «Заброшенный сад» (Иркутск, 2018); «Зимняя ласточка» (Иркутск, 2018). В.П. Скиф — составитель и издатель трёх антологий: «Каменный цветок: Сто поэтов о войне» (2017), «Живём и помним. Воспоминания о Валентине Распутине» (2017), «Сцены звучащий глагол. Воспоминания об Александре Вампилове» (2018). Лауреат многих Международных и Всероссийских литературных премий. Лауреат Большой литературной премии России. Академик Российской Академии поэзии. Печатался в Америке, Аргентине, Канаде, Сербии, Болгарии, Венгрии. Стихи переведены на сербский, венгерский, болгарский языки.

* * *

Нельзя на свете — быть забытым,
Никчёмным быть никак нельзя.
Меня хотят увидеть битым
Враги, завистники-друзья.

А я стараюсь цветомыслить,
И свет, и цвет от жизни брать!
Меня нельзя из глаз отчислить,
Нельзя из памяти убрать.

* * *

Ты лиловая, ты фиолетовая,
На тебе фиолетовый цвет...
Ты из космоса, страсти, из лета ли,
Из земных фиолетовых лет.

Плыл над миром пожар фиолетовый
В фиолетовом море чудес.

Помню лето бормочущим лепетом
Прорывалось сквозь сумрачный лес.

Я навеки душой унаследовал
Посвист лета и трель соловья...
Заклубился и стал фиолетовым
Среди тёмных столбов бытия.

Петух

Так вот он — царь мой деревенский,
Взлетевший на престол зари,
Блюститель времени вселенский
С часами точными внутри.

Оранжевый, зелёно-синий,
Кричащий нам: «Вставать пора!»

Встающий ночью над Россией,
Поющий в пять часов утра,

Несущий, как корону, гребень...
Ты, царствующий во дворе
И пребывающий на небе,
Совсем забыл о топоре.

Мясник

В его руках топор тяжёлый,
Он к туше ласково приник
И хряснул так, что у монголов
В степях летучий смерч возник.

Среди гремучего базара
Топор значение обретал,
И звук свистящего удара
До континентов долетал...

Орда проснулась Золотая,
Залопотала вдалеке,
В иных веках, не забывая
О грузном русском мяснике.

Топор вздымался на полсвета,
На небе пряталась Луна...
И Вашингтону мнилось: это
Летит ракета «Сатана»!

* * *

Я видел снег. Он в небе длился
Как нескончаемые дни,
Он распадался и двоился,
И на земле гасил огни.

И вдоль земли перемещался,
Мерцал в пристанищах лесных.

Он в небесах не умещался,
Вращался на путях стальных

Мне слышался небесный ропот,
Шуршанье ангельское крыл.
Я слушал снег и этот шёпот
На свой язык переводил.

Прибой

Ударяется в сердце прибой Достоевский,
В даях дыбится Лермонтов — дикий прибой,
И стремительный Пушкин
 выходит на Невский,
Расшибая дуэлей прибои собой.

Бьётся Тютчев-прибой
и тревожно, и бурно,
Блок-прибой рассыпается снежной крупой...
Разбивает Есенин чугуны Петербурга
И молчит в «Англетере», как стихший прибой.

Ганина яма

Памяти убиенной
царской семьи

Тёмный лес, тёмный бор,
темень тьмушая
Потекут, как из сердца печаль.
Прялка неба, века наши ткущая,
Опояшет безвременьем даль.

Запоют перепёлки, бекасы ли,
Закричат журавли в облаках.
И тесины окажутся ясные
У Архангела в сильных руках.

Он построит земную хоромину
Для святых, что явились из ям,
Где сожгли их, едва захороненных,
Царских деток, оставленных нам.

К яме Ганиной мчится Заступница,
Чтоб к спасению не опоздать.
И земля перед нею расступится,
И Царя не посмеет предать.

* * *

Я вижу неподвижные деревья,
Они смогли во сне захолонуть.
Весь в грёзах лес за спящею деревней,
Туда ведёт мой заповедный путь.

Слетают с неба хлопьями вороны,
Немеей дней осенних череда.

Пустеют лица и пусты перроны,
С пустых небес свисают холода.

Уже цветы упали в день вчерашний,
Пожухли травы, обмелела даль.
И сумерки бегут по чёрным пашням,
Как поздняя осенняя печаль.

* * *

Молчит сосна, молчит осина, У леса — обнажённый вид. И за околицей рябина Бягряной ягодой кровит.	И ярко-красная боярка Иглой впивается в меня. Спешу за осенью из лета, Лечу вперёд или назад. Как выстрелы из арбалета — За мною ласточки летят.
Но всё ещё восходит ярко Сноп поднебесного огня,	

Байкал

И развернулся, расточил Байкал Свои немислимые воды. В нём столько глуби, донных скал, И столько ветреной свободы.	Бессмертные роились сны, Шли волны, будто бы на дыбу, И когти молнии-блесны Кромсали тучу, словно рыбу.
В нём кочевали облака, Из века в век свой дом искали, И застревали на века, Чтоб белой пеной стать в Байкале.	И несмотря на битвы гроз, В Байкале нежились бакланы, И волн целебный купорос Залечивал у тучи раны.

* * *

Спросонок выйду в молодую осень, В ней золота и алости сполна. Поёт синица или хлеба просит, Подсолнуха ей брошу семена.	И почернел, как будто занедужил, Торчащий у заплота молочай.
Ещё калитка в лето приоткрыта, Малиной опадающей манит. Дорога к солнцу в небесах прорыта, Под ней Байкала синего магнит.	Ещё в Байкале радуга искрится, Когда в затон моторка пробежит. В пустом гнезде скукоженная птица День уходящий будто сторожит.
Ещё ничто не предвещает стужу, На солнце сушит лапки иван-чай.	Хотя и камень, и земля нагрета, Я дров несу и крепкий чай варю... В лесу прошла рябина мимо лета И на прощанье запеклась в зарю.

Говорящий камень

Упала ночь у моего порога,
Не ходит дом и не скрипят полы.
Звезда глядит в моё окошко строго,
Высвечивая тёмные углы.

Вон в том углу я обживал разлуки,
В другом углу я целовал тебя.

Внутри огня сплетались наши руки,
Друг друга пасть в объятья торопя.

Из дома шла пустынная дорога,
По ней судьба отмеренная шла.
По ней пытались мы дойти до Бога,
Но к камню нас дорога привела.

К нему в ночи мы обратили взоры,
Он оживал, оглядывая нас,
Потом сказал:

— Здесь раньше были горы,
Теперь один я с вами в этот час.

Вдали вам счастья вечного не будет,
Берите всё, что ныне вам дано.
Вы оступились, вас любовь рассудит,
Ей быть судьёй —
единственной — дано.

И замолчал. Мы трогали руками
Его окаменевшее чело.
Но не сказал нам говорящий камень,
В немом пространстве — больше ничего.

А дом стоял — забытый и печальный —
В начале нашем и в конце пути...
И в нём тоска, как будто на причале,
Ещё не успевала к нам сойти.

...Дорогу дом отмеривал шагами,
Которую мы, кажется, прошли.
Сплотился с домом говорящий камень,
Где мы соединиться не смогли.

* * *

Мы разные, мы разные, мы разные.
Мы — серые, мы — белые, мы — красные.
В Гражданскую мы были рысаками,
Но только никуда не прискакали.

Война, как Молох века, полыхнула,
Навстречу нас друг другу развернула.
Достали мы винтовки и наганы,
Друг другу стали вечными врагами.

Мы разные, мы — чистые, заразные.
Мы — белые, зелёные и красные.

Как раньше мы друг друга окрыляли!
А нынче мы друг друга расстреляли!

Заботливо мы целились друг в друга,
Чтоб сбиться в центре солнечного круга,
Мы все убиты, но теперь мы — солнце,
У каждого на солнце есть оконце,

Откуда мы на грешный мир взираем
И никогда на солнце не сгораем.
Здесь нет зелёных, красных нет и белых,
Замёрзших нет и нет заиндевелых.

В одежде мы не ходим арестантской,
Мы все убиты на войне Гражданской...
Себя и вас мы вовсе не забыли,
Тогда зачем друг друга мы убили?

Марина Цветаева

«Красною кистью рябина зажглась...»
Боли и крови — попробуюсь всласть.

Выспрошу — Прагу, Париж и Москву,
Как и зачем я на свете живу?

С первой любовью — застыну в мирах,
Вызвездит небо — любимого прах.

Страх не видится. Душно — душе,
Но и она — затвердела уже.

Осень. Елабуга. Злая земля,
Где лишь — надёжною стала петля.

Море-Марина... Я выбрала мель.
Здравствуй, могила!
Прощай, Коктебель!

В Тарусе

С Цветаевой я встретился в Тарусе,
Она с цветами мимо дома шла,
Пришла к реке.

Там пролетали гуси,
Там Мур летел из дальнего села,

Где пал в бою, снарядом рассечённый,
И вот на юг летел, не умирал...
С ним чёрный гусь.

Наверно, Саша Чёрный,
Который с Муром маленьким играл.

Цветаева рванулась, опоздала
На небо крикнуть: «Мура береги!»
Рукой махнула, будто бы взлетала,
Кольцо упало у неё с руки.

А небо опустевшее синело,
Бессмертием тянуло от реки...
Цветаева в тот день окаменела
На берегу стремительной Оки.

* * *

Рыдает цыганская скрипка
В байкальской моей стороне.
Ах, зыбкое время! Как зыбко
Мне плыть по житейской волне.

Срываться, как будто скрываться
По тёмным углам бытия.
Меж мной и тобой разрываться
И думать: где ты и где я?

Мне так неохота двоиться,
Свой облик искать вне себя...
И там, где двойник мой таится,
Там вдруг обнаружить тебя.

Ах, жизнь, ты такая поганка!
Весь век заставляешь страдать.

Быть может, поможет цыганка
Самих нас — в себе разгадать.

Какому такому тирану
Мы отданы были с тобой?
...Цыганка сердечную рану
Нашла и теребит струной.

Скорей погадай нам, цыганка!
Скорее печаль отними!
Но смотрят тиран и тиранка
Друг в друга, так посмотримся мы...

...Забрезжит улыбка подранка —
Твоя ли, моя — в стороне...

Мы ждём, но пропала цыганка
Русалкой — в байкальской волне.

Коршун

Вот ласточка. Вот коршун.
Между ними
Волна широких, как земля, небес.
И каждый здесь соседствует с другими,
Имея свой излюбленный насест.

Нырять в небо ласточка. И ветер
Её не может над землёй догнать.
Но коршун в небе ласточку приметил
(Он может в небе точку распознать).

А ласточек сегодня изобилие,
Куда бы лютый коршун ни взглянул.
Он мощные распахивает крылья,
И вот он в мягком небе утонул.

Пробив крылом тумана оторочку,
Он высоту собою измерял,
И ласточку, как маленькую точку,
На дальней высоте не потерял.

Там, древнему инстинкту на потребу,
Всё разгонялось, как смертельный вал.
И падал коршун, будто камень с неба,
И ласточек бессильных убивал.

А эта — знойной высоты вкусила,
Остановилась в призрачном окне
И понеслась (в ней было столько силы!)
Ко мне, внизу стоящему... Ко мне!

Я видел: мир тревожно изогнулся —
И вспыхнул надо мною горячо,
И замер: дерзкий коршун промахнулся,
А ласточка мне села на плечо...

* * *

Мне снилась осень в полусвете стёкол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку тебе...

Борис Пастернак

Что делать с сердцем? Как его умерить,
Чтоб не частило, чтоб нашло зазор
Меж сном и явью. Блок себя проверил,
Обжёгшись, бросил сердце с белых гор.

И так всегда. Как больно жить поэтам
В тисках любви и в зонах нелюбви.
Жил Пастернак и тьмой, и полусветом,
Купая сердце в жертвенной крови.

Любовный быт, отчаянный, московский,
На части рвал поэтов сердца...
Разбился, словно поезд, Маяковский,
С любовью воевавший до конца.

Поэтов путь и вправду не изменен,
Тоска — она стреляет на излёт...
Из прошлого вздымается Есенин:
Во лбу дыра, а в сердце — чёрный лёд.

Цветаева всем сердцем восходила
К желаниям, не свергнутым собой.
Не с небесами счёт она сводила,
А с сердцем, разворванным судьбой.

Стонал Рубцов, а в небе стыла дверца,
Открытая, как тёмное окно...
Он вздыбил жизнь и пробуравил сердцем
Российское незыблемое дно.

* * *

Над розовым морем вставала луна,
Во льду зеленела бутылка вина...

Георгий Ива́нов

А мир неизменен. Смотрю из окна.
Во льду зеленеет бутылка вина.
Но только вино до сих пор не раскрыто...
Серебряный век, твоё сердце разбито.

Георгий Ива́нов, мой друг дорогой,
Вы жили тогда на планете другой.
А той, о какой вы в Париже мечтали,
Не стало давно, да и мы не застали.

Вернуться в Россию уже не дано,
Хоть рублено было в Европу окно.
Вы были когда-то великие франты,
Поэты России, потом эмигранты.

Вы жили тогда на планете другой,
А нынче её уже нет никакой.
Нет вашей России, России-планеты,
И нет эмигрантов, и Родины нету.

Весь мир изменился. Смотрю из окна,
Где выстрелом сбита бутылка вина...



ЛЕОНИД БОРОДИН



Лютик — цветок жёлтый

РАССКАЗ

Наверное, мне было шесть лет, потому что помню, что в школу ещё не ходил и был очень вольным человеком, то есть мог целыми днями мотаться по посёлку и за посёлок, у реки или около леса — в лес не разрешалось. Послушным ребёнком я не был, но был трусоватым, а думали, что послушный, потому не убегаю в лес и не теряюсь, как другие мальчишки...

Зато у реки, и в речке на песочной мели, и в камышах у деревянного моста, и под мостом, где часто отлеживались на камнях речные змейки, — их не боялся, — там в хорошую погоду мог проторчать с утра до вечера, не вспомнив про обед. На берегу, что не спускался к воде, а просто уходил под неё будто бы вовсе без всякого наклона, на прибрежном лугу цвели жёлтые цветочки, несчитанное множество жёлтых цветочков — издалека весь берег до самой воды виделся жёлтым, — цветки назывались лютиками, и до известного времени ничего необычного в их названии мне не слышалось, потому что ещё раньше, чем в шесть лет,

БОРОДИН Леонид Иванович (1938–2011) — прозаик, поэт, публицист. Родился в Иркутске в семье сельских учителей. Учился на историческом факультете Иркутского госуниверситета. За православно-русские взгляды отсидел в советских тюрьмах и лагерях 11 лет. С 1992 г. (с небольшим перерывом) был главным редактором журнала «Москва», который под его руководством стал одним из лучших изданий страны. Автор книг: *«Повесть странного времени»* (1978), *«Год чуда и печали»* (1981), *«Третья правда»* (1981), *«Расставание»* (1984), *«Ловушка для Адама»* (1994), *«Без выбора»* (2003), *«Посещение»* (2003) и др. Награждён премиями: Всероссийской Пушкинской премией «Капитанская дочка», «Умное сердце» имени Андрея Платонова, Большой литературной премией Союза писателей России, Литературной премией «Ясная Поляна» и др., а также Орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.

знал, что если корова нажрётся лютиков, то запросто подохнет. Лютик — от слова «лютый». Лютая зима, к примеру. Это такая зима, когда кто-нибудь из деревни-посёлка не дошёл до железнодорожной станции и замёрз, и лежал потом у дороги прямой, как палка, будто ему вообще холодно не было.

Значит, в то лето мне было шесть лет. Я бежал на речку вдоль улицы, попутно разгоняя гусей, уток и куриц, дразня собак, тех, что на привязи, кинув камень в забор, если забор, и палкой помахав перед носом, если дом без забора, а таких было несколько, недавно отстроенных; деревня подтягивалась к речке, что текла не вдоль деревни, как в хороших деревнях, а поперёк, в стороне, отчего и деревня называлась Худобино, хотя, кроме неправильно текущей речки, ничего худого в нашей деревне не было.

Итак, я бежал к речке и у предпоследнего дома, у которого не только забора, но и палисадника ещё не было, увидел «козявку» — так обзывались девчонки. Козявка сидела на корточках под окном без наличника ещё совсем рыжего дома и что-то строила из сосновых щепок — рядом их целая куча. Самолётом раскинув руки, я спикировал в её сторону, одним ударом ноги разнёс кривое щепочное строение и притормозил лишь на минуту, чтоб дожидаться, когда она заревёт, как положено. Она же, не поднимаясь с корточек, только голову подняла и не посмотрела, а стала внимательно разглядывать меня. Была козявка моего возраста, но смотрела, как смотрят взрослые, такие оказались у ней глаза, в них не было ни осуждения, ни злости, она рассматривала меня, будто решала для себя — я вообще плохой или только сейчас. Она смотрела, а я стоял как дурак и сопел от недоумения, и долго бы ещё сопел, но вдруг был сшиблен с ног и, кувыряясь, закатился аж на самую кучу сосновых щепок. Прежде чем захныкать от боли в плече, на которое упал, я должен был узнать, кто это со мной так...

А снёс меня Вовка, сын глухонемого кузнеца, мог бы и шибче, потому что был телом похож на бычка, весь такой квадратный, голова прямо из груди росла, ноги толстые, на руках мускулы, как у большого, а старше меня всего на год, хотя в школу тоже ещё не ходил, это я точно помню. Вообще-то Вовка в драчунах не числился. А были у нас такие, что не дай Бог! Мимо не пройдёшь. Вовка же нет. И почему-то этот факт был особенно обидным, и я захныкал. Козявка поднялась, подошла ко мне, сползшему с кучи щепок, опустилась передо мной на корточки и спросила тихо: «Тебе сильно больно?»

Целая жизнь прошла с тех пор, но я помню этот эпизод, как вчерашний. Вот что было в её вопросе: ты поступил нехорошо, тебя наказали, но не было ли наказание большим, чем следовало? Ей-богу! Именно таков был смысл вопроса шестилетней девочки. До конца дней своих я буду помнить эту фразу и голос, её произнесший...

И опять она смотрела на меня своими громадными взрослыми глазами, а я корчился в муках уже не физической боли, а по стыду, но не за содеянное, а от неспособности выйти из ситуации, как говорится, с наименьшими потерями. Она поднялась и мне подняться не помогла, но дождалась, когда я, наконец, оказался на ногах, словно удостовериваясь, что со мной всё в порядке. Потом вернулась на своё место, присела и стала собирать щепки, что я разбросал. И Вовка присел рядом с ней и молча помогал, подавал ей щепки, а она начала громоздить их друг на дружку ребром и плашмя, и что-то похожее на дом получалось с Вовкиной помощью, а я стоял и пялился на всё это и не мог уйти... И в это время женщина, её мама, конечно, откуда-то из-за дома крикнула звонко: «Лютик! Ты где? Лютик!»

Козявка поднялась, чуть заметно улыбнулась Вовке и, проходя мимо меня, и мне улыбнулась, ну совсем чуть-чуть, одними губами и бровками-дужками, и, отряхивая платице в синий горошек, ушла за дом.

Мы уходили с Вовкой плечом к плечу, будто ничего промеж нас не было, и разошлись молча в разные стороны. Я пошёл к речке... И больше про этот день в памяти ничего. Нет! Есть. Помню, я пытался понять, что может быть общего у девчонки с жёлтым цветком, от которого дохнут коровы.

* * *

— Итак, продолжаем знакомиться. Лиза Корнева! Кто у нас Лиза Корнева?

— Меня зовут Лютик.

Все мы с первых рядов крутанули шеями туда, где за последней партой среднего ряда стояла девчонка в белом передничке, с белой лентой в светлых волосах. Рядом с ней сидел тот самый Вовка, весь такой чистенький — раньше-то вечно рожа перемазана бывала, — в жёлтой рубашке, рукава были закатаны по самые локти, и руки чистые и без ссадин и царапин...

— Лютик? Это же цветок такой. Разве имя бывает — Лютик? А у меня вот здесь написано Лиза...

— Если меня так зовут, значит, бывает, — отвечала девчонка. Кинув взгляд на нашу молодую учительницу, я враз понял, что и она, как я тогда, не может запросто отвести взгляда от глаз этой странной девчонки, которая не хочет быть Лизой, но хочет быть ядовитым цветком.

— Ну ладно, — сказала учительница, как-то не по-настоящему улыбаясь. — А, ребята? Будем называть Лизу Корневу Лютиком, если она так хочет? А что? Лютик — красивый цветок.

— Жёлтый! — крикнул кто-то.

— Солнце на закате тоже жёлтое. А за окно взгляните, сколько осенью жёлтого цвета. Пушкин из всех времён года больше всего любил осень. Кто знает, кто такой Пушкин? Только не кричать. Когда я спрашиваю, надо поднимать руки. Вот так. Лютик, ты тоже знаешь, кто такой Пушкин? Может, и стих какой, а?

— Только не про осень, — отвечала девчонка своим необычно спокойным голосом. — Про зиму.

— Тогда прочитай нам про зиму...

*Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...*

Читала она тихо и, как говорится, без особого выражения, но и теперь, спустя жизнь, мне кажется, что я не слышал более проникновенного чтения этих строк. Похоже, и учительнице тоже было не по себе. Она потом ещё долго не могла войти в роль, что-то бормотала про Пушкина, а ещё половина учеников не была опрошена по процедуре первичного знакомства...

К четвертому классу уже вся наша тогда ещё небольшая школа знала, что учится в нашей школе не только самая красивая девочка в мире, но и самая умная, потому что Лютик была абсолютной отличницей. Не «круглой», заметьте, но абсолютной — существенная разница в том, и в оправдание этой разницы могу только сказать, что «круглых» отличников, как правило, не очень-то жалуют в классах. Лютик же — совсем другое дело. Она была нашей всеобщей гордостью ещё задол-

го до того, как в районной газете появилась её фотография, а в девятом — это после «укрупнения», когда наша деревня стала «столицей» колхоза, — на обложке самого популярного в стране журнала «Огонёк» она, наша Лютик, вручала цветы самому Никите Сергеевичу Хрущёву в драмтеатре областного города, куда её, Лютика, специально привозили и отвозили на длинной чёрной машине.

Мать её работала в колхозе бухгалтером. Как много позднее стало известно, их выселили с бывшей оккупированной территории где-то в Белоруссии и предписали жить у нас, в нашем колхозе, и если б мы знали об этом самом факте с самого детства, то уж как благодарны были бы тем, кто переселил...

Детство наше — или, по крайней мере, моё — было счастливым. Мы знали только себя, а нам много ли нужно было для счастья. Конечно, у кого-то мужики не вернулись с войны, но семьи их, наверное, горевали в своих домах, когда их никто не видел и не слышал, а на людях и взрослые, и дети были как все, и у детства к тому же есть счастливая способность не спотыкаться на худом, но пробегать мимо вприпрыжку... Худое обнаруживается по мере взросления, и, взрослея, мы говорим, что жить хуже стало, раньше-то разве так было — совсем не так! Мы в детстве не спрашиваем родителей, счастливы они или нет. Они просто обязаны быть счастливыми хотя бы уже потому, что у них есть мы — и смысл, и цель их жизни. И я вспоминаю своё детство как время всеобщего, поголовного счастья, потому что в своей деревне горя не видел или не замечал, а за пределами деревни, во всей стране, по кино и киножурналам судя, везде было ещё лучше, чем у нас.

Зато у нас была Лютик. К пятому классу она стала такой красивой, что мальчишки перестали в неё влюбляться. В нашей семилетке в шестом классе она была уже председателем пионерской дружины, и на пионерских линейках председатели пионерских отрядов рапортовали ей о всяких хороших делах: о килограммах собранного металлолома, о количестве вёдер древесной золы (ходили по домам и собирали золу на удобрения), о колосках, собранных на полях и сданных «в колхозные закрома», о шефствах над матерями-одиночками (это у кого мужей убивало, а не у кого дети рождались сами по себе).

В шестом классе Лютик перестала ходить на уроки физкультуры. То есть она приходила, но только смотрела, как мы прыгаем, бегаем, лазаем по канатам, и мы старались вовсю и — подумать только! — знали же, что освобождена, что с сердцем у неё какие-то неполадки, но, в сущности, не верили в это, полагали, что ей, такой, какая она есть — умная и красивая, влюбленная в Павку Корчагина и Овода, — ей не к лицу прыгать через всякие рваные «козлы» и «кони» и болтаться на канате.

Книгу «Овод» она, кажется, знала всю наизусть. На свободных уроках — это когда мы всем классом уходили в лес — она рассказывала последнее письмо Овода к Джемме, на её прекрасных, иногда голубых, а иногда серых глазах выступали слёзы, некоторые девчонки вообще ревели, а мальчишки хмурились и швыркались носами, изображая насморк.

В седьмом классе мы вступали в комсомол, и не все подряд, а лучшие, и, конечно, первым нашим школьным секретарём была Лютик.

К тому времени деревня наша выросла вдвое и переползла через речку. Теперь мы жили не в Худобино, хотя это название осталось на столбах с двух сторон деревни, а в центральной усадьбе колхоза «Октябрьский». Нам отстроили новую школу, которая стала десятилетней.

В семьях механизаторов, что зарабатывали больше всех, появились первые

мотоциклы «Иж-49», мощнейшие машины — дикая зависть всех неимущих мальчишек. Тогда-то и произошло первое ЧП общешкольного масштаба.

Дело в том, что отцы лишь разрешали своим сыновьям иной раз покататься на мотоциклах. Но Вовка, тот самый, сын глухонемого кузнеца, заимел собственный «Иж». Как, на какие шиши — о том мы могли только догадываться. Вовка помогал в кузнице отцу, который его боготворил, — жили они вдвоём, жили тихо, мирно и как бы за спиной у деревни. Оба молчуны, один по природе, другой по натуре, с деревенскими общались мало... Возможно, каждая копейка шла в копилку, если однажды Вовка объявился на главной деревенской улице на сверкающем и неистово ревущем «Иже».

Он объявился не просто на главной улице, но у дома, где жила Лютик. Мальчишки, случалось, катали девчонок на мотоциклах, но никому не приходило в голову предложить покататься ей, нашей богине, никто просто не мог представить её обхватившей руками кого-то, с развевающимся подолом платья, со спутанными волосами и запылённым лицом...

Тут же кто-то увидел и рассказал всем, что из дома выбежала радостная Лютик, уселась на заднее сиденье, запросто обхватила Вовку за грудки, и они умчались за деревню, оставив деревне только мутно искрящийся шлейф пыли.

За годы, то есть с первого класса, мы привыкли к тому, что Вовка всегда при ней, просто при ней, как телохранитель, что ли... Ничего такого со стороны Вовки не замечалось, с её стороны тем более, да и смешно предположить было, что Вовка, вовсе не первый ученик и уж совсем не красавец, смел бы иметь надежды на что-то большее, чем просто «быть при...». Но вот подкатил и увёз неизвестно куда, и это повторилось через день и потом ещё и ещё...

Если бы кто-нибудь взял бы и унёс статую Ленина, что напротив правления, и установил бы в палисаднике своего дома... Нечто подобное совершил Вовка. Он стал для нас не только узурпатором, но и дискредитатором — мы ведь, к примеру, не могли представить себе, чтобы Лютик играла с нами в лапту: её дело смотреть, справедливо судить, выносить похвалы и порицания, но никак не носиться по поляне за мячом...

И первого сентября сначала весь наш восьмой класс, а потом и вся школа объявили суровый бойкот Вовке, сыну глухонемого кузнеца. В этой нелепой жестокости я лично принимал самое активное участие, и если бы потом, через год, не случилось бы ещё большего безобразия, то эти дни я мог бы считать самыми позорными и постыдными в своём детстве, хотя четырнадцать лет — это уже и не детство, это уже почти жизнь...

Лютик сначала не могла понять, что происходит, а когда поняла, возмутилась и пыталась воздействовать на нас всякими красивыми примерами из литературы, но разве может Бог увидеть себя со стороны, невдомек ей было, что Вовка покусился на образ, который мы сотворили в своём сознании и каковой был нам и дорог, и нужен, и, разрушившись, чего доброго, мог подломить нам коленки; она, Лютик, не имела права быть другой, мы бы этого не пережили, мы все сами стали бы хуже — так нам чувствовалось, — пусть все мы по уши во грехах, но кто-то должен быть и оставаться чистым, кто-то же должен своей чистотой и правильностью тыкать нас мордой об стол, и разве это не удача, если такой есть... Мы не отступили. Отступила она. Однажды в воскресенье Вовка как подъехал к её дому, так и уехал ни с чем. Лютик вышла к нему, но на мотоцикл не села, только простояла у калитки, пока Вовка не исчез за поворотом.

А ещё через месяц глухонемой кузнец с сыном перебрались в другое отделение колхоза, где ещё оставалось много лошадей и в кузнице было больше надобности — так говорили. Но мы-то знали. Вовка не пережил бойкота. Мы сжили его с нашего свету. Сжили и забыли о нём по причине несоизмеримости утраченного и сохранённого.

В другое лето после восьмого класса Лютик с матерью впервые покинули нашу деревню — им разрешили посетить родные их места в Белоруссии. А когда незадолго до начала нового учебного года Лютик снова объявилась в деревне, все мальчишки без исключения пережили шок... Уезжала из деревни девочка, а вернулась девушка. И дело не в том, что стала Лютик ещё красивее, чем была, мы, мальчишки, — даже смешно вспоминать об этом — были поражены тем, что у неё, небесного создания, за одно лето выросла грудь, обычная грудь, как у других девчонок, у которых она выросла ещё раньше. И... со спины... Лютик тоже изменилась, и нам понадобилось некоторое время, чтобы свикнуться с новизной образа...

Конечно, у всех у нас к тому времени уже были свои девчонки, с которыми мы, как говорилось, «ходили», что, собственно, и отражало существо отношений. Деревня хотя и стала центральной усадьбой, но все ещё в вопросах морали оставалась патриархально строгой. «Щупать» девчонок мы начали с восьмого класса. Прижмёшь где-нибудь в темноте и сопишь, прорываясь сквозь кордон сплетённых рук к мягким шарикам, девчонка подвизгивает, хихикает, сопротивляется будто бы изо всех сил, но, куда деваться, уступает, потому что мнение у них, девчонок, такое, что от этого дела груди растут быстрее. До десятого класса даже толком не целовались — такие уж мы были недоразвитые. Но что бы мы ни проделывали со своими девчонками, всё это было «втайне» и «втемне» и, значит, понималось как стыдное, чем нельзя хвастаться перед кем попало, разве только двум-трём самым близким друзьям в полусшёпот: девчонок берегли от позора, нам-то что...

Притом мы были уверены, что Лютик, как и учителя и родители, даже не подозревает о наших проделках, что у самой у неё обо всём таком и мыслей не существует и не возникает и что если у неё и спереди, и сзади всё стало как у других девчонок, так это своеобразное несовершенство природы, которая так уж устроена, что не может соответствовать необычному, а может только по закону: свинью режешь — шкуру сдай, положены девчонкам груди и попка — растут, даже если не надо.

Именно в девятом классе Лютик вышла, как говорится, на всесоюзный уровень. Не сразу, конечно. Сначала в колхозе: вручение грамот — Лютик, переходящее Красное знамя — она же. Никто не спрашивал, почему секретарь райкома не сам вручает, а передаёт красивой девушке в школьной форме, и она уже и принимает, и в руки председателю колхоза подаёт, и при знамени остаётся. Тут её и «застукали» фотокорреспонденты — и районные, и областные, — тогда-то и случилось: приехали за ней на длинной чёрной машине и увезли в область за тридевять земель. А потом журнал «Огонёк», и там наша Лютик с Никитой Сергеевичем, и у Никиты Сергеевича на лице полный обалдеж от нашего Лютика. Это ему не какая-нибудь Фурцева! Был слушок, что привязался к ней в области известный киношник и уговаривал Дездемону играть и будто Лютик послала его подальше, в переносном смысле, конечно. Ещё не хватало, чтоб её какой-то негр душил!

Но пора мне уже рассказать и о самом чёрном дне моих — и вообще наших — школьных лет. Чёрным, понятно, он стал позже, и для каждого из нас по-разному,

но тогда, в тот день, всё свершалось, без сомнений, по велению чувства, названия которому так не нашёл и по сей день.

По обмену художественной самодеятельностью приехали к нам в деревню старшеклассники школы соседнего района. Был отдан нам на это мероприятие новый белокаменный клуб, на сцене которого гости играли для нас «Горе от ума». Чацкого играл этакий черноволосый красавец, играл, что говорить, здорово, как настоящий артист, и слова произносил по-особому, как в театрах принято, и жесты, и позы, и мимика — заглядишься и заслушаешься. Особенно это знаменитое: «Карету мне, карету!..» Мы, когда на уроках рассказывали, если кто с выражением, кто на горло брал, кто без выражения — проборматывал. А он сказал слова тихо, будто не карету просил, а пистолет, чтоб застрелиться, аж мороз по коже.

Лютик вручала цветы главному артисту. Нам уже тогда не понравилось, какой улыбкой он оскалился на неё. Ещё нам показалось, что Лютик, с достоинством вручая цветы самому Хрущёву, тут, перед этим прилизанным, будто бы засмутилась и даже голоском дрогнула едва. Возможно, уже с этого мгновения, с этой минуты напряглись все наши парни девятого и десятого классов. Потом были танцы. Лютик никогда не танцевала! Говорю об этом и содрогаюсь. Она не танцевала, потому что никто её не приглашал, как никому не пришлось бы в голову пригласить на танец присутствующую учительницу. Что были наши танцы? Под «Рио-Риту» мы попросту дрыгались, под «Брызги шампанского» топтались и раскачивались, под польку дурачились, и только вальс танцевался, потому что под вальс иначе нельзя. Хотя бы на вальс-то могли бы приглашать её, всегда сидящую у всех на виду, но в стороне, ведь она же умела танцевать, мы убедились в этом, когда однажды директор школы пригласил её и закружил, а все остановились и потом хлопали — с директором другое дело. Странно, что и учителя словно подыгрывали нам в сотворении идола из обычной сперва «козявки», потом девчонки, потом девушки.

Первым был вальс, и «артист» пригласил её, покрасневшую щёчками, засверкавшую глазками. Как они оба смотрелись! Будь «артист» чуть менее самоуверенным и чуть более внимательным, укололся бы взглядом любого из нас. Но где там! Мы-то обычно как: кончилась музыка, парень в одну сторону, девчонка в другую. А этот довёл её до места, где она сидела, держа за руку, усадил и, что, как помню, мгновенно взбурлило мою скабарскую кровь, этак чуть заметно поклонился, и она, Лютик, тоже этак едва головку вбок, а на лице улыбка — Боже мой, обычная глупая улыбка! Это у Лютика-то!

Но потом! Потом было танго. И он, гад, посмел прижать её к себе, и она не воспротивилась, и лицом к лицу, и глазами в глаза, и вот уже рука его с длинными пальцами на сантиметр, на два нарушила, пересекла границу допустимого, дальше, правда, не пошла, но уже всё! Он, этот хлыщ, не имел права жить, десятки глаз приговорили его, а он, уже приговорённый, продолжал вырисовывать всякие танговские кренделя...

Вспоминая, поражаюсь, как гибко сумело организовать наше маленькое стадо жрецов. Ведь никто ни с кем и словом не перемолвился. Но кто-то, не сговариваясь, вызвал-пригласил «артиста» покурить. Мести жаждали все, но всем выйти нельзя, заметят. Вышли несколько, человек десять, но как вышли: один из одного угла, не торопясь, другой из другого, незаметно, друг за дружкой. Я вышел одним из первых. Когда «артиста» аккуратно оттеснили от крыльца, тогда только он почуял неладное, заволновался, башкой закрутил. «В чём дело, ребята?» Во

дурной! Да разве кто-нибудь знал, в чём дело! Кто-то первый молча ударил его в лицо, не шибко, словно пробой проверяя правильность действия. И тут-то он, умник, совершил непоправимое — закричал с писклявым удивлением в голосе: «Да вы что, ребята, из-за девки? Да нужна она мне! Вы что...» Наверное, он ещё что-то мог сказать такое, чего мы не смогли бы пережить, потому враз все кинулись на него. Били по кругу, не давая упасть. Бить лежачего всегда считалось в деревне «заподло». Лично я ударил два или три раза — сколько смог попасть, удары были неточными, и я не был удовлетворён, всё рвался и рвался в кучу... Как мы не убили его, и поныне дивлюсь! Почти бездыханного, его сперва оттащили к ближним кустам, потом кто-то из десятиклассников подогнал мотоцикл с коляской и увёз его, как я узнал после — на самое крыльцо поликлиники подбросил, постучал в дверь и смотался.

Отмыв руки от крови, мы все так же молча, все так же по одному вернулись в клуб, где танцы были в самом разгаре. Лютик сидела на своём месте около стола с радиолой, как всегда, чуть улыбаясь, глазами искала его, гада, отрёкшегося от неё по первому удару. Сперва искала, потом глаза её прекрасные будто притухли, а на губах всё та же судорога улыбки — она страдала, и я готов был выскочить, найти и снова бить, бить... До смерти!

Потом была милиция, разборки, допросы. Ещё бы! ЧП областного масштаба. Дело закрыли, потому что мы все молчали, как утопленники. Целую неделю Лютик не появлялась в школе. Мы боялись её потерять, то есть мы боялись, что она придёт другой, какой мы её не хотим, мы очень боялись, и мы боялись молча.

Тогда не понял и теперь уже не понять, как она, Лютик, как она сама понимала свою роль в нашей жизни. Что она была идеалисткой в самом высоком смысле слова — это так. Но идеализм — весьма хрупкая штука, подчас вдребезги разбивается от столкновения с грубой реальностью, иногда с самым малым проявлением её...

Как бы там ни было, через неделю Лютик появилась в школе, и все мы вздохнули облегчённо, не обнаружив в её поведении никаких изменений. Правда, через некоторое время она нас всех удивила и даже встревожила. Очередное сочинение на тему «Мой любимый литературный герой». Мы ожидали, что она напишет про Овода или Корчагина... Лучшее сочинение — а лучшее всегда было её — зачитывалось вслух самой учительницей, и мы были ошарашены, услышав о Базарове, о призванности к великому труду, о неспособности его уклониться от долга и обречённости на одиночество и нелепую преждевременную смерть. Мы этого самого Базарова не шибко-то жаловали, и на перемене я поделился своим недоумением с девчонкой, с которой тогда «ходил». И она, эта визгунья и ломака, вдруг отстранилась от меня враждебно и сказала с презрением в голосе и взгляде: «Что б ты понимал, дурак!» И демонстративно пошла к Лютику, обняла её и что-то шептала на ухо, в мою сторону даже не глянув.

Что до девчонок нашей школы вообще, то они особым бабьим чутьем ещё сызмальства усекли, что Лютик им не соперница, и возлюбили её по-своему — нежно, а над нашим отношением к ней часто посмеивались и ехидничали, а мы их ехидства не понимали и думали, что они просто завидуют и ревнуют. Это от них, от девчонок, узнали мы уже только в десятом классе, что сердце нашей богини поражено какой-то очень опасной болезнью, из-за которой она всё чаще и чаще пропускала уроки, что, впрочем, никак не отражалось на её успеваемости, и никто не сомневался, что золотая медаль ей обеспечена так же, как и филфак Москов-

ского университета, куда как будто бы Лютик собиралась поступать. Ей, золотой медалистке, открывались все дороги, по-другому и не могло быть...

От выпускного вечера в моей памяти осталась только процедура вручения аттестатов, да и не могло ничего больше остаться, потому что именно в те дни завязались у меня первые настоящие мужские отношения с молодой разведёнкой — дояркой, и, получив аттестат, я тотчас же умчался в доярочное общежитие, что при ферме в километре от деревни, где у ней была своя отдельная комната, и «проуехался» там до самого утра. И последующие полмесяца пробалдел, ни о чём другом не думая, пока в деревне не поползли слухи. И однажды отец не шибко, но внушительно стукнул кулаком по столу: «Так что? Жениться будем или поступать в институт?»

Ничего, кроме взаимного удовольствия, не связывало меня с моей мягкой доярочкой, я будто очухался, засобиравшись в дорогу и вскорости исчез из деревни, не попрощавшись ни с учителями, ни с Лютиком: слухи о моём распутстве наверняка не миновали их. Мне было стыдно...

Но через год, после первого курса, я приехал в деревню победителем — студентом!

Лютик никуда поступать не поехала. Теперь она была заведующей нашей колхозной библиотекой. Я нанёс ей визит и был принят сердечно. Лютик искренне радовалась моему успеху, с удовольствием слушала рассказы про студенческую жизнь — я ведь думал, что я первый из нашего выпуска, кто объявился в деревне со студенческим билетом в кармане. Позже узнал, что был вовсе не первым, но каждый, кто приезжал, непременно приходил в библиотеку и уезжал, как я, с уверенностью, что поработал светлым лучом в тёмном и скучном деревенском бытии; не от хорошей жизни осталась Лютик в деревне — все та же болезнь сердца, но мы потаённо радовались тому, что наша богиня по-прежнему принадлежит только нам и никому больше...

Шли годы, свершались наши жизни, и все удаchi, что случались или достигались, уже с привычной обязательностью фиксировались нами в крохотном кабинете заведующей библиотекой имени Павки Корчагина. Теперь понимаю, что систематичность наших посещений родительских гнёзд во многом стимулировалась фактом присутствия её, дивной женщины с самозванным именем Лютик. Более того, с годами потребность встречи с ней необъяснимо возрастала: жизнь корёжила нас каждого по-своему, кто-то озлоблялся, кто-то опошлялся или отчаивался... Посещения библиотеки, конечно, не исправляли нас, но как бы притормаживали развитие того дурного и гиблого, что вызревало в наших душах под воздействием опасной неоднозначности всего тогдашнего общественного бытия.

Лютик же, она будто бы и за двери своей библиотеки не выходила — она не становилась «взрослой», оставаясь всё той же романтической идеалисткой, какой была в «пионерстве» и в «комсомольстве». Умом людей, познавших жизнь, мы понимали дикое несоответствие её душевного мира миру реальности, и тем не менее, нуждались в её суждениях и приговорах. Она восторгалась подвигом целинников и строителей всяких ГЭС, буквально сияла, пересказывая газетные вести о достижениях космической науки, всерьёз обсуждала очередные решения партии и правительства, и, ни на йоту не изменив наши собственные мнения обо всем этом, она, однако же, что-то определённо положительное поселяла в наших умах — некий остро дефицитный принцип взаимоотношения с миром, всё более теряющим в наших глазах привлекательность...

И жён мы привозили в свою деревню не столько на показ родителям, сколько на представление ей, умеющей оценить наш выбор непременно с какой-то неожиданной стороны...

Надо было видеть, как каменели наши жены при первой встрече с Лютиком. Не менее получаса требовалось им, чтобы особым женским чутьём просечь специфику культа...

Моя жена, помню, долго молчала после того, как мы покинули библиотеку, потом сказала: «Знаешь, она не настоящая... Таких не бывает. Может, она инопланетянка? Но тогда чем это ваша деревня заслужила?»

В последующие приезды уже не мы, а наши жёны спешили навестить библиотеку и нас туда сводить, как в баню или как в церковь. Отчего-то уверены бывали они, наши жёны, что Лютик благотворно влияет на нас, ненадёжных, с годами всё более страдающих «косоглазием», — это по поводу чужих жён и очень свободных женщин. И когда я однажды дал «левака» — в тот год и ещё год после в деревню не ездил...

Я поменял квартиру «на улучшение» и долго осаждал всякие инстанции по вопросу установки телефона. Вызов на переговоры на почтамт не на шутку встревожил. Отец тем летом пережил инфаркт... На почтамт прискакал за час до срока, истоптался у подъезда, изъёргался на стуле ожидания. В переговорную кабину ринулся по приглашению, чуть не сломав дверцу.

Мать спрашивала, как я живу, какая у меня теперь квартира... Я почти прокричал: «Мама, ты чего звонишь-то?» Она вдруг замолчала, не меньше трёх раз я «проалёкал», пока она, кашлянув, откликнулась: «Знаешь, Лютик умерла... Сегодня похороны... Ты, наверное, не сможешь, да?...» Теперь я молчал, а она «алёкала»... Информация не постигалась. «Вот так, сынок, — говорила мать еле слышно, — осиротели мы... Хорошо умерла. Не проснулась, и всё...»

В деревню я мог попасть не раньше утра следующего дня. Я заподозрил, что мать специально позвонила поздно, отчего-то не хотела она, чтоб я присутствовал на похоронах. Будто берегла... Всё-то она знала про меня, мамулька моя. Я не хотел видеть Лютика мёртвой и понимал, что не увижу, даже если сию минуту помчусь на вокзал. Решил, что не поеду, но, проторчав в квартире не более получаса, вдруг заметался, засуетился, похватал кое-какие дорожные вещи, позвонил жене на работу и через пару часов уже сидел в вагоне поезда, лишь на минуту притыкающегося на станции, что в пятнадцати километрах от нашей деревни...

Свежую её могилу увидел сразу. Вся она была завалена уже повядшими цветами наших полей. Ни одного искусственного венка. Над могилой развесистая берёза...

Я смотрел на пёстрый холмик и говорил себе: «Там её нет. Там её не может быть. Я не видел, как её закапывали, и имею право верить, что она, Лютик жизни моей, ушла, просто ушла от нас всех, потому что устала служить нам. Она имела право уйти и ушла...» Я смотрел на могилу и слышал голос: «Меня зовут Лютик. Если меня так зовут, значит, есть такое имя».

Услышав шорохи за спиной, оглянулся. Плечистый косматый мужик в джинсовом костюме с маленьким букетиком лютиков подходил к могиле. На меня, не глянув, сказал глухим басом:

— Ты тоже опоздал? — И положил лютики отчего-то не на могилу, а рядом с ней, будто не хотел смешивать простенькие жёлтые цветочки с прочими цветами, неизвестно кем принесёнными.

— Вы кто? — спросил я.

Он поднял голову, глянул на меня недружелюбно, и я узнал его. Это был Вовка, сын глухонемого кузнеца. Он не ответил, словно догадался о моём узнавании.

— Я её всю жизнь любил. По-настоящему. Не так, как вы, дебилы. Это вы все загнали её в могилу. Она давно уже умерла от вашей тупости. Валил бы ты отсюда.

Я послушно попятился от него и от могилы, хотя не был согласен с ним принципиально. Я бы мог сказать ему, что красота спасёт мир, и многое что ещё мог бы сказать в возражение, говорить я, слава Богу, научился, ибо жил в эпоху поголовного трёпа...

Через пятнадцать лет после смерти Лютика эпоха завершилась катастрофой, но в моём сознании эти пятнадцать лет спрессовались в некую безвременную плотность, и теперь, когда глотну рюмку-другую, утверждаю упрямо и категорично, что как только Лютик умерла, так всё сразу и рухнуло, а все прочие причины вторичны, и, кажется, что, думая так, просто легче выжить...



АЛЕКСАНДР КОБЕЛЕВ



Русской речи чистая мелодия

Лапта

Мячик «свечкой» ушёл в высоту,
и бегут, догоняют друг друга
ребятишки, играя в лапту
в шумном сквере за Домом досуга.

Рядом — мрамор пригрела весна,
тополя, как в поклоне, согнулись.
Этот мрамор хранит имена
тех солдат, что с войны не вернулись,

полегли, но я вижу порой,
как они все стоят у ограды
и любуются детской игрой,
и весеннему солнышку рады.

КОБЕЛЕВ Александр Афанасьевич родился 5 апреля 1955 г. в пос. Залари. В детстве проживал с родителями в сёлах Нукутского района — Шалонинск, Шарагул, Зунгар. Александр Кобелев писать начал в зрелом возрасте, его стихи печатались в Иркутске, Бурятии, Москве и на Украине, в таких журналах, как «Сибирь», «Доля» и «Пять стихий» (Украина), а также в коллективных сборниках «Иркутский альманах», «На перекрестке», «Дарю тебе мой стих», «Белая радуга». Его стихотворения переведены на украинский, польский и английский языки. Лауреат Международного поэтического конкурса «Звезда полей» имени Николая Рубцова 2010 и 2011 годов и победитель 2012 года. Автор трёх поэтических сборников: «*Леший*» (2010), «*Дорога на Балтай*» (2012), «*Вещий камень*» (2012). Член Союза писателей России. Живёт в Новонукутске.

Ночь покаяния

Почему-то сегодня я спать не хочу.
Эта ночь бесконечна.
Про какие долги вспоминаю, шепчу?
Не про деньги, конечно.

Может статься, и нет этих самых долгов,
зря я краски сгущаю.
Всё равно, настоящих и мнимых врагов
я сегодня прощаю.

Жаль, что жизнь, как кино, не открутишь назад,
нет годам возвращенья.
И кому-то уже не посмотришь в глаза,
не попросишь прощенья.

Почему-то сегодня я спать не хочу.
Ночь всё длится и длится.
Надо в церковь сходить и поставить свечу,
да за всех помолиться.

Марии Надеевой

Спой, Мария, песню об Унге,
речке, что дала название краю,
о степи бескрайней, о тайге.
Я ту песню слыша, замираю.

Спой, Мария, по-бурятски мне,
хоть опять я не пойму ни слова.
Жаворонком звонким по весне
пусть звучит твой дивный голос снова.

Спой, Мария, песню о любви.
Я вернусь к душевному уюту.
Песней мою юность позови,
пусть она придёт хоть на минуту.

Спой, Мария, песню. Просто — спой.
Спой мне своим голосом чудесным.
Пусть летит, Мария, голос твой
прямо в небо к Ангелам небесным.

* * *

Куда идём мы, правый Боже,
сквозь мрак, туманы и дожди?
Куда, сумняшеся ничтоже,
Ведут нас новые вожди?

Когда прозреет Божьим словом
люди православный на Руси?
О Богородица, покровом
укрой наш храм и нас спаси!

* * *

Май. Легко мне дышится.
Кончился апрель.
Скоро ли услышится
жаворонка трель?

Вешнею водицею
окроплён ковыль.
Мчится вольной птицею
мой автомобиль.

Над моей дорогою синева небес. Как мне душу трогают поле, речка, лес,	первые подснежники, баловни весны. Еду, еду мимо я на стальном коне, Родина любимая греет душу мне.
старые валежники около сосны,	

Зарок

Сказали светлые умы:
не зарекайся от сумы,
не зарекайся от тюрьмы,
 не зарекайся.
А если что наговорил,
плохое дело сотворил,
не ту дорожку проторил —
 приди, покайся.

Не зарекаюсь от сумы,
не зарекаюсь от тюрьмы,
но в жизни, с детства знаем мы,
 бывает всяко.
Вот вышел вдруг на скользкий путь,
хотел ли, нет — не в этом суть,
но что прошло, то не вернуть.
 Беда, однако.

Но если я собоюсь с пути,
скажу: «Господь, меня прости
и подскажи куда идти.
 Я постараюсь».
Пусть Бог меня накажет, пусть!
От Бога я не отрекусь.
И в этом я вам не клянусь,
 а зарекаюсь.

Петухи

Не проспят и минутка в минутку, когда только проклюнется день, заиграют крестьянам побудку вековые часы деревень.	Здесь осталась опора Союза, юность прежняя прежней страны, что теперь государству обуза, раз к работе уже не годны.
Старикам вы играете что ли? Ведь сбежала давно молодёжь. За копейки горбатиться в поле добровольцев уже не найдёшь.	Вековые пасынки власти, не пойму за какие грехи... Вы им утро бессонное скрасьте, вы попойте для них, петухи.

Мальчик на крыше

Он уселся птенчиком
прямо на конёк,
зазвенел бубенчиком
детский голосок.

Прадед гонит борова,
семенит смешно.
Что на крыше — здорово,
позабыл давно.

Там на крыше чудится:
потянись слегка,
и желанье сбудется —
схватишь облака.

Мальчик ветром тешился —
весело, свежо!
— Ты куда утрёшился?!
Жвахнешься ужо!

* * *

Срок у жизни очень строгий.
Я к концу своей дороги
стану дряхлым и убогим,
по ночам хандрить начну.

И не справившись с тоскою,
я (с фамилией такою)
выйду в поле за рекою
да завою на луну.

Старшеклассница

Собирать подснежники в лесу
убежали все твои подружки.
У тебя экзамен на носу,
и на нём же милые веснушки.

Смотришь на подснежников букет,
мыслями с утра летаешь где-то.
Выучи хотя б один билет,
почитай вопросы и ответы.

Ищешь ты совсем другой ответ:
«Кто же на мансарду влез как кошка
и вот этот маленький букет
положил в открытое окошко?»

На книгу Геннадия Гайды «Посмертное»

От книги вдруг бессонница,
снотворным не помочь.
Хотел лишь ознакомиться,
а просидел всю ночь.

Слова обыкновенные,
обычный строй строки,
и мысли сокровенные
понятны и близки.

Он патриот Отечества
до кончиков волос.
Сказать мне больше нечего,
но есть один вопрос.

Мне не понять, наверное,
поэту от сохи,
как в сборнике «Посмертное»
бессмертные стихи?

Дому писателей имени П.П. Петрова

Дом писателей. Конечно,
знаю, знаю, этот дом.
Вот он, видишь, друг сердечный,
морды львиные на ём.

А повыше этих кошек
лица каменных девчат.
Видишь — вон, поверх окошек
ихни головы торчат.

Сам откуль? С Новонукутска?
Не бывал там, но слыхал.

Двести с гаком до Иркутска
на маршрутке отмахал?

Ну, даёшь! С тобой всё ясно.
Прикатить в такой мороз!
А приехал ты напрасно,
писанину зря привёз.

И без нас добра такого
понапишут — будь здоров
в доме этого Петрова.
Кстати, кто такой Петров?

Людмиле

Я вспоминаю до сих пор
быль-небыль эту.
Июльский день, иркутский двор
и сигарету.

Изящно пальчиком своим
ты сбила пепел.
И как же близко мы стоим!
И день как светел!

Я молча на дымок гляжу
и в нём витаю.

Ну, почему я не скажу
о чём мечтаю?..

Врата мечтаю распахнуть
земного рая,
чтоб словно факел полыхнуть
в любви сгорая,

чтоб смерть пришла, косой звеня:
«Ты где, придурок?»
А там остался от меня
один окурочек.

* * *

Это что такое?
Нервы сдали что ли?
Всё люблю живое,
чувствую их боли.

А сегодня к ночи
боль добавил нервам —
комара прикончил.
Но он начал первым.

Электричка

Вокзал, платформа, в город рейс,
локомотивов перекличка.
И застучала электричка
колёсами о стыки рельс.

Растратил годы я, простак,
свободно, щедро, без печали.
Колёса мне «тук-тук» стучали,
теперь стучат «тик-так, тик-так».

Гляжу в вагонное окно
под стук летящей электрички
и вспоминаю по привычке
года, минувшие давно.

Средь пролетающих огней
мелькают вёрсты, годы, лица,
и жизнь, как электричка, мчится
к конечной станции моей.

* * *

Я бегу за синей птицей,
пот солёный на ресницы,
пыль дорожная клубится,
только искры от камней.

Уж пора уgomониться,
не поймать мне синей птицы,
всё равно мне не сидится,
всё равно бегу за ней.

* * *

Снова стряпает указ
наша власть-процентщица,
и уже в который раз
наш доход уменьшится.

До каких же это пор?
Может, надоест кому,
он возьмётся за топор...
...Всё по Достоевскому.

* * *

Я люблю читателей и люблю читательниц —
жён, невесток, тещ, сестёр, тёток, матерей,
снох, племянниц, кумушек, вдов, невест, своячениц,
крестниц, мачех, падчериц, внучек, дочерей,
свах, золовок, бабушек — все их поколения,
сватьюшек, свекровушек... Всех назвал, кажись.
Представляю в книге вам все свои творения,
но не про любовь они, а про нашу жизнь.

* * *

Нету, дед, махорки, только семечки.
Может, лучше сядем под рябиною.
Мне так любо слушать на скамеечке
речь твою певучую, старинную.

Вспомни свою жизнь обыкновенную,
власти помянув иносказательно,
вспомни свою молодость военную,
про охоту вспомни обязательно.

Как обычно, малость приукрась его,
свой рассказ бывалого охотника.
Жалко нет тут Гали Афанасьевой¹,
доброго научного работника.

Вы бы с ней о чём-нибудь поспорили,
по-сибирски просто побалакали.
Ты б поведал грустные истории,
мы бы с нею слушали и плакали.

С речью современной мне не дружится,
с той, что на саму себя пародия.
Говори, дед. Пусть над миром кружится
русской речи чистая мелодия.

Ангара

Ах, вы думы мои, думы малохольные,
вечно кем-то или чем-то недовольные.
Хватит! Утренней порою
праздник я себе устрою —
полечу над Ангарою
птицей вольною.

Надо мною синий тенгрий Тушемилова,
подо мною разноцветье края милого.
Вот раздолье для поэта,
хоть давным-давно всё это
у Распутина воспето
и Вампилова.

А река всё о плотины спотыкается.
Время кончилось грешить, пора нам каяться.
Сквозь засоры и заторы
песней бабушек Матёры
наша совесть на просторы
пробивается.

Мои дети — стихи

Я бреду тропой знакомой,
неприкаянный поэт.
Нет ни дерева, ни дома —
не женился — сына нет.

¹Галина Афанасьева-Медведева, учёный, доктор филологических наук, собирательница многолетнего собрания сибирских говоров.

И богатств не приумножил,
быт семейный не сложил.
Так до старости и дожил
(или правильней — дожил).

Пересчитываю снова:
недописанный стишок,
недосказанное слово,
незамоленый грешок...

Так живу на белом свете,
только вирши сочинив.
«Для поэта это — дети...»
говорит Владимир Скиф.

Срок кончается, похоже,
созиданий и страстей.
А поэты всё моложе,
а читатели всё строже.
Я молюсь: «Не дай мне, Боже,
пережить своих детей».



ЕЛЕНА ЧУБЕНКО



На море-окияне

РАССКАЗЫ

О русской глубинке замолвила слово

Если ты, уважаемый читатель, взял в руки эту книгу, то ты непременно дочитаешь её до конца. В этом я уверен! Не отложишь на половине, не оставишь на потом, а прочитаешь, даже отложив все дела на потом. Потому что эта книга расскажет тебе о тебе самом и твоих близких.

Частенько говорят, что все мы вышли из шинели. Кто-то говорит про гоголевскую шинель, кто-то про сталинскую. А я уверен: все мы вышли из старомодного ветхого бабушкиного шушуна, воспетого Есениным. Почти каждый из нас — урождённый сельчанин. Не во втором, так в третьем, четвёртом, пятом поколении. Этот бабушкин шушун стал чем-то вроде обетованной земли нашего детства. И хотя мне по причине сиротства не довелось ощутить, как заботливо и с любовью кутает тебя бабушка в свою одежду перед тем как вывести на

ЧУБЕНКО Елена Ивановна родилась и выросла в Улётовском районе Забайкальского края. Предки — староверы (семейские), пришедшие в Улётовский район из Красного Чикоя. Юрист по образованию. Автор шести сборников рассказов: «Дешуланские покосы», «О тех, кого я помню и люблю», «Вот так и живём», «Мы живём, потому что их нет», «На море-окияне», «Солнцем поцелованные». Член Союза писателей России. Публиковалась в журналах: «Слово Забайкалья», «Невский альманах», «Литературная галактика». В 2017 г. стала лауреатом премии «Имперская культура» имени Эдуарда Володина в номинации «Проза» (Союза писателей России, Фонда Святителя Иоанна Златоуста) за книгу «Вот так и живём». Сотрудничает с Улётовским народным театром, который поставил две пьесы Елены Чубенко: «Деревенские байки» в 2016 г. и «Солнцем поцелованные» в 2018 г.

морозную улицу прогуляться перед сном, читая эту книгу, я словно наяву себе это представил. За что очень благодарен автору книги — члену Союза писателей России, моей забайкальской землячке Елене Чубенко.

Когда читаю рассказы Елены Чубенко о детстве, словно сам становлюсь тем ребёнком, который сидит с бабушкой близ натопленной русской печи. Прямо как в рассказе «На море-окияне», где печка названа спасительницей. Печки-матушки да наши бабушки веками спасают нас на окаянных пронизывающих российских ветрах. Спасают не только от телесного холода, голода, недугов, но и врачуют души наши под звуки сказываемой бабушкой сказки, когда мы засыпаем на печи...

И хотя по возрасту я Елене Чубенко во внуки и сыновья уж никак не гожусь, но как автор в отношении меня, читателя этой книги, она выступает этой самой спасительницей и утешительницей, согревающей душу своими рассказами.

Согреваешься сердцем, молодеешь душой, светло грустишь о том русском укладе, что не вернуть никогда нам, польстившимся на цивилизацию и прогресс. Такие писатели, как Елена Чубенко, сегодня особенно необходимы русскому человеку, потому что таких писателей мало. Мало способных сохранить и увековечить гармонию и красоту русского уклада, и русской речи.

Не сказать, что этот наш русский уклад идеален. Никак не сказать, что живут-поживают герои этой книги в тихой заводи. Страсти кипят в судьбах героев этой книги, в каждой судьбе — по-своему. Пасторальность рассказа о внучке, что гостит у бабушки и греется на русской печке, неожиданно оттеняет повесть «Мамина Вера», по которой вообще можно снять фильм про русских цыган и русскую особенность приручать даже блуждающие народы. Русский уклад в «Маминой Вере» не просто соприкасается с укладом цыганского кочевья, но как бы прирачивает и приручает к русскому миру непоседливый цыганский мир.

Чем приручает? Любовью и состраданием. Только этим и можно, вспоминая Тютчева, срастить и спаять такой разный мир огромной России. И вот уже молодая цыганка Вера, которая познакомилась с русской старушкой в больнице, куда обе угодили вовсе не при лучших жизненных обстоятельствах, искренне рыдает у неё на плече. Рыдает и горюет по умершему мужу этой старушки, ставшей ей почти матерью. А муж молодой цыганки в один из визитов своей кочевой жизни привозит этой старушке подарки.

Нет в этой книге посторонних и наблюдателей. Русская дочь старушки, от лица которой ведётся повествование и в образе которой явно проглядывает автобиографичность, помогает, как сострадательный равнодушный человек, то одной, то другой цыганке. То паспорт выправить, ведь негоже человеку, даже кочевому, без паспорта. То от ненавистного замужества с нелюбимым спасти...

А русская бабушка настолько спустя годы проникается к цыганским странникам, что каждый раз, заведя на улице табор, бросается к окну: «Уж не наши ли цыгане приехали?» В этой книге все — наши. Разные, но наши! Даже дикорастущие при родителях-алкоголиках дети — не чужие сельской общине. Сердобольный народ помогает им чем может...

О неизбежных трагических жизненных ситуациях своих героев Елена Чубенко рассказывает нам светло, сочувственно и сострадательно. И потому после чтения столь реалистических её рассказов, где явно проглядывает документальная основа, не остаётся на душе безыходности. Загадка — как автору этой книги при её неженской профессии удалось сохранить в себе веру в людей! Ну и уж раз речь зашла о профессии автора книги...

...С Еленой Чубенко мы познакомились на праздновании знаменательного для Сибири и всей России юбилея. Пятидесятилетие минуло с тех пор, как отишумел в моей родной Чите литературный праздник «Забайкальская осень». Полвека пронеслось со времени состоявшегося тогда же знаменитого Читинского семинара молодых писателей, открывшего новое и даже сверхновое имя в литературе — Валентин Распутин. А ведь на момент участия в Читинском семинаре и момент нашего знакомства у будущего русского классика Распутина даже книги ещё не было! А теперь вот пишем мы книги о нём...

На юбилейных торжествах мы, гости юбилейной «Забайкальской осени», не только перед читателями активно представлялись. Мы ещё участвовали в работе творческих семинаров, где, как и полвека назад, обсуждались произведения авторов. Из тридцати человек семинара прозы, в который я попал в качестве одного из руководителей, я особо выделил для себя прозу Елены Чубенко. Впрочем, другие руководители семинара тоже отметили её яркий и самобытный русский язык, прекрасно украшенный сибирским старообрядческим наречием. Такой язык стал редкостью в современной русской литературе. Творчество Елены Чубенко произвело на меня немалое впечатление. Потому я не удивился, что вскоре Елена Ивановна была принята в Союз писателей России.

Елена Ивановна не просто юрист. Закончив юридический факультет Иркутского государственного университета, она многие годы работала следователем, потом судьёй. По роду своей работы видела немало людских непростых судеб, видела людей в тяжких жизненных ситуациях, когда особенно ярко раскрывается характер человека. И уж конечно, и судья, и следователь обязаны быть психологами, знатоками человеческого характера. Иначе как? Выйдя на пенсию, Елена Ивановна начала сотрудничать с редакцией районной газеты Улётовского района Забайкальского края. И вот вы держите в руках её новую книгу...

Благодаря этой книге вы сможете войти в мир настоящей глубинной России. Эта книга, словно машина времени, переносит нас на десятилетия назад. Несмотря на первородство языковой старообрядческой среды, в которой Елена Ивановна выросла, проза её звучит ничуть не архаично, а очень даже современно. Читаешь и ясно осознаешь — не потеряли мы Россию. Россия живёт в наших душах, потому наше сердце так живо откликается на то, что пишет автор этой книги.

С особым интересом я всегда читаю о том, что и как пишут поэты и прозаики о своём детстве. Как писатель, писавший в своё время для детей, понимаю, все мы всегда остаемся детьми. Неважно, сколько нам лет. Важны лишь те сказки, что мы слушали в детстве. И те выводы, которые мы из них сделали, ведь сказка — ложь, да в ней намёк...

Частенько в произведениях Елены Чубенко главными персонажами бывают дети. Порой и с трагической судьбой — сразу вспоминается выросшая в непутёвой семье алкоголиков Катя, «Богова невеста», сирота при живых родителях, но не сирота при всех тех людях, которые её окружают и каждый по-своему о Кате заботится... Автор этой книги хранит способность смотреть на мир детскими глазами — чистыми и не тронутыми горечью разочарования в людях. Этот взгляд соединён с чистотой и мудростью. Оттого и говорят в народе, мол, устами ребёнка глаголет истина. Оттого и веришь Елене Чубенко и её персонажам как своим, как родным.

Тема сиротства в России — тема особая. У нас сиротами становятся не только в результате войны с внешними, но и с внутренними врагами. А врагов не

счесть. Тут и никудышнее управление страной, и отчаяние обманутого в очередной раз народа, вытекающее в пьянство и поножовщину...

И хотя у самой Елены Ивановны крепкая семья — муж, сын, дочь, тема сиротства нашего народа, наших детей очень сильно звучит в этой книге. Но ещё непобедимее звучит тема веры в русского человека. Веры в то, что не безродные сироты мы в этом мире, а наследники всех наших славных предков. И широта души русской вместит не только боль, но и любовь, заботу об осиротевших детях. Да разве только о детях, если по селу ходит осиротелая лошадка, о которой каждый в меру сил считает своим долгом заботиться. Зовут лошадку Сиротка. Кто знает, может эта Сиротка — наша русская глубинка, которая с такой художественной силой запечатлена в этой книге? И которую не хотят ещё более сиротить сельчане, потому и вопреки всему продолжают жить на земле своих предков.

Эдуард Анашкин

Я ждал тебя, Мотя...

Когда тебе лет за семьдесят, и две трети из этого, а то и больше, ты месила ногами в литых сапогах навоз на скотных дворах фермы, то уж чем-чем, а статью да здоровьишком не похвастаешься.

Вот и Матрёна Николаевна из этих, «ферменных». В сенцах есть уголок, где ещё висят пара халатов-спецовок и лоснящаяся на животе фуфайка. Если прижаться к ним в потёмках носом, то ещё можно уловить запах силоса. Тот ещё продукт консервации! Бывало, раз на пять-семь платки простираешь, занесёшь их с мороза домой, ломкие и льдистые, оттаять да досушить, а они испустят на радостях силосный дух на всю избу...

И хоть видно в окошко, что на месте фермы теперь пустырь, только старая хребтина от склада ещё маячит, обозначая в крапивных зарослях бывший колхозный участок, фуфайка в сенцах нет-нет да напомнит запахом о ранешнем...

А уж артриты, да кто ещё там мудрёный, что накрепко прицепились к рукам, к ногам да к коленкам, те и дня не дадут позабыть приснопамятные «три тысячи кэгэ надоев от каждой коровы», будь они неладны.

Поглядывая на занемогшего деда, Матрёна достаёт из посудника старую жестяную банку из-под чая и вытаскивает оттуда документы.

— Сможешь один завтра без меня-то? — больше для успокоения собственной совести спрашивает у деда.

Тот только вздыхает. Отёчной пятернёй чешет когда-то знатное пузцо.

— А чо нам теперь мочь-то... В уборную пойдёшь. Вроде гонит. Придёшь туды, думаешь — чо пришёл?.. От жизь! Молодой, горячий. С вечера в штаны надую, утром — сухой, — одышливо балагурит больше для Матрёны, чтоб со спокойной душой ехала из дому.

Понимает, что день без её ворчания, терпеливых подношений таблеток по часам, чаеваний за столом, куда он пока в состоянии подходить, покажется длинным. А Матрёна, прицепив расшатанные оглобли старых очков к ушам, выскивает паспорт, справки и ещё какие-то важные бумажки, без которых врач нынче и глядеть не станет.

Собрав весь свой архив в пакетик, для верности перевязала его шнуровой резинкой и положила в ещё один. Туда же поставила поллитрочку сметаны, и в другой пакетик — вчерашних тарочек с черёмухой. Зайдя в спальню, наказывает:

— Помногу не лежи, ходи помаленьку. А то опять отечёшь, как колотушка, никакой фуросемид не поможет. Чай варить будешь, дак про чайник не забудь.

— Што я, дурак уж совсем...

— Да обои не умные... Я вон позавчера не долила, да включила. Ладно, сразу вспомнила! Каво теперь обижаться, раз уж чудные на голову стали. На двор-то пойдёшь, дак кухвайку одевай, ты сырой да потный весь, сразу же просквозит. Хиусок холодный. Руки сразу терпнут, — продолжает она поучать старика, проворно подсобируя платье, кофту понарядней, и доставая из шифоньера почти не ношенную стёганую куртку.

По-хорошему бы и ехать никуда не надо... Голова, пожалуй, полжизни проболела, не до лечения было. Понятно дело, ветром продувало. Дорога к ферме через кукурузное поле, а он там гулял, ветер-то, только завихренья ходили! На ферме до поту наломаешь хребтину, домой скорей. Опять ветер в затылок, перебирать влажные завитки, голову студить. Это себе Матрёна такой диагноз выставила. Может, и другая причина, да кто ж её искал...

А тут новая хворь приключилась, у стариков же почти каждое утро новая хворь. Как кончился список, считай, помирать можно. Заболели вены на ногах, будто тянут невидимые электрики жилушки по ногам в разные углы, места найти невозможно, а под коленкой вовсе вырос бугор с ладошку, брусничного цвета.

Утренний автобус в восемь уж подсобрал редких пассажиров — кого в «безработицу», кого по врачам, и Матрёна, зажав между коленок свой пакет, досыпала у стылого окошка утренний сон. Снилось ей, что она проспала на дойку. Бегают по дому, собираясь. Иван, ещё молодой и крепкий, уже надёрнул свои вещи — пиджак, кепку. И два раза уж возвращался от машины — поторопить её. Покрикивает. А она бы рада, да рука как будто отнялась, не даёт возможности одеть фуфайку. За окном снова засигналила доярочья машина, и она проснулась. Оторопело огляделась на пассажиров, тоже нехотя просыпавшихся перед райцентром. Дорогу переходили унылые утренние коровёнки, которых нелёгкая гнала по весенней голой степи, с которой только сошёл снег. Автобусник раздражённо засигналил второй раз, и Матрёна окончательно проснулась, растирая одеревеневшую во сне, видимо, от долгого сидения руку.

Через три часа Матрёна Николаевна уже посиживала у старой подружки, которая укочевала из деревни в райцентр к внукам. Сидя за столом, принаравливалась есть левой рукой:

— Правая-то как отерпла в автобусе, и что-то в ей заклинило, — жаловалась она подружке.

— Ты б зараз показала хирургу, раз с венами обратилась!

— Шибко я им нужна! Думала, можа, схлопочу инвалидность. Всё какую таблетку задаром дадут. Рассказываю ему, жалуясь, он пишет и пишет, головы не подымая от гумажек. Мои все перебрал, свои пишет. Потом подаёт гумажку — вот, мол, написал вам, какая мазь, два раза в день мажьте. А я осердилась, мужик хворый день дома один лежит, а он меня даже не потрогал! Мазь-то я и без него мажу. Говорю, вы хоть у меня под коленкой-то пошарьте!

Обе старых телятницы расхохотались.

— Погоди-ка, — Анна бросила улыбаться. — А ты правой рукой вообще не можешь исъ?

— Нет. Я ж тебе говорю. Отерпла в автобусе.

— А чо у тебя шти из рта проливаются?

— Да тороплюсь, они поди и льются, душа уж домой вся едет, к Ваньке, а я все ещё тут.

— Погоди, погоди... Однако тебя паларизовало! У моего так же рот покривило и рука неладная была.

На такси Матрёна снова добралась до врачей. По совету подружки сразу заявила, что у нее парализация, и загребела на пару недель в терапию.

Просилась домой за халатом и тапками, чтоб деду наказы сделать да няньку ему найти, да куда там — сразу в коридоре завалили на носилки. Лежала, очуманевшая от капельниц, и переживала за деда. Хотела было сходить на телефон — приравкнули, чтоб не вставала.

К старику в деревню приехала внучка, сердито погромыхивала вёдрами и чайниками, злясь на неспешный хворый мир и тоскуя о стремительной круговерти своей здоровой девятнадцатилетней жизни. И хоть зла с её стороны особо не было, дед чутьём понимал свою ненужность. Интерес к жизни потерял и всё реже стремился поймать глазами за окном воробушков, что прилетали каждое утро на черёмушную ветку.

Казалось, что без Матрёны воробьи стали не весёлые, а нахохленные, злые, ссорились между собой. Небо как назло было серым, непроглядным и никак не могло разродиться ни снежком, ни солнечными лучами. Внучка, приехав ухаживать за ним, коротко бросила: «Положили бабу в больницу. Парализованная она, хоть бы отошла!» От этой ломкой пугающей фразы стало Ивану ещё хуже. Ни вставать, ни пить таблетки не хотелось. Смысла лежать тут, ожидая, когда на соседнюю кровать привезут Матрёну, не видел. Парализованные в деревне были, повидал за свою жизнь. Ни рукой, ни ногой шевельнуть толком не могут, старой колодой повдоль койки лежат. Представить такой свою Матрёну не мог. Жмурился зло, пытаясь отогнать такие мысли, смахивал едучие слёзы, которые то и дело скатывались в овражек возле щёк.

— Дён двенадцать, поди, будут лечить? — спросил однажды внучку, загибая седьмой листок на числиннике.

— Не знаю, — коротко буркнула она, мусоля пальцем по сотовому телефону.

На исходе второй недели Матрёна приехала домой — похудевшая, растерянная. Издалека заглядывала на окна, на герани за стеклом, с множеством пожелтевших листочков и осыпающимся цветом. Хоть и дорога от остановки до дома короткая, а ноги едва донесли, тяжело с непривычки, после двух недель лежания на больничной кровати.

Распахнув двери, глянула в передний угол, на чёрную доску иконы, лика на которой давно уж было не разобрать.

— Слава тебе, Господи, — и бросила на пол пакет с бумажными причиндалами.

— Иван, живой тут? — и тихонько прошла за печку к кровати.

Стаявший, как свечка, муж улыбнулся слабенько.

— Дай-ка скорей руку... Я ждал тебя, Мотя...

Присев на кровать, Матрёна взяла исхудавшую руку, прохладную, будто не она, а он шёл по стылому огороду к дому.

— Ты чо это, мой бравенький, чо это! Холодный-то такой... — расплакалась и, взяв мужевы ладони в свои, стала торопливо растирать и согреть их своим дыханием. — Потерпи! Щас я печку ладом натоплю, чаю с тобой напьюсь. Стоско-

валась я по нашему чаю, несладкий он там, в больнице, — торопилась высказать она сокровенное в мужевы руки,

— Думала, не дождусь, покуль оттуда выпустят, да с автобуса бегом к тебе...

— Ходишь сама?! Слава тебе Господи! А я думал, не дождусь. Не хворай так больше... — едва слышно сказал он и, последний раз погладив жену по ладошкам, улыбнулся. Слезинка покатилась в неопрятную серую щетину и сгинула там...

На море-окияне

Новогодняя сказка-быль

Зима, упав нынче добрым снегом к началу декабря, выдалась мягкая, безветренная и со смешным, по нашим меркам, морозом. Всего под двадцатник. Иду потемну домой и вдруг под скрип унтов возвращаюсь в декабрьские вечера моего детства, которые были хоть и лютые по морозам, но такие добрые...

Вечер. Валяюсь на кровати, прижавшись боком к печке-спасительнице. Дом у нас вечно холодный, потому что огромный, переделанный из старого клуба. Пока печка топится — тепло. Недаром зимой в самые лютые морозы заносили «буржуйку». Ревматически изогнутое колено её трубы запускали в дымоход отогреваться, и печка шумно гудела, пожирая листвяк, опасливо пламеня щеками И первое слово «жижа» (горячо) было именно об этой зимней спасительнице.

Лежу у печи, полируя её спиной. Листаю очередное сокровище из библиотеки, к которым прилипла лет с семи. Мама дверь на крючок не закрывает: «Поди, бабушка придёт» И точно, ближе к восьми, а то и девяти вечера приходит моя бабулька. Шаль в куржаке, брови в инее.

«Ох, и стууужа!» — выдыхает. Мороз, тискавший бабушку всю дорогу, бессиленно упал на пол клубком пара и потерялся в углах дома. Бабушка, сбросив верхонки у порога, сразу садится к печке спиной. Мама, уставшая и ещё толком не согревшаяся после работы, вздыхает:

— Охота тебе идти по морозу!

— Да одной неохота ночевать, — виноватится она. — Думаю, можа, ночлежника своёва сомущу... — бабушка смотрит в мою сторону, и я запоздало пытаюсь принять сонный вид.

Мама, взглянув на меня, тут же «сдаёт»:

— Не спит, токо и знат шуршать книжкой! Подсобирывайся пока, — командует мне мама. — Мы с бабушкой чай покуда попьём.

Мама наливает чай, пододвигается к столу сама, и бабушка присоединяется, нехотя отлипнув от печкиного бока. Попив накоротке чаю и обговорив домашние новости, бабушка начинает на меня поглядывать — я ведь могу сыграть смертельно уставшую и засыпающую внучку.

— Пойде-ё-ё-ём, у меня тёпленько, не то што у вас, и молоко топлёное, с пенками...

— На улице стужа, баб! — ломаюсь я, хотя коричневые пенки — весомый аргумент, против которого я точно не устою.

— А я ж не одна, я с пальтом!

Она действительно вошла в дом с пальто, накинутом поверх фуфайки. Сейчас оно, безвольно раскинув рукава, блаженно греется на спинке стула у печи.

Нехотя начинаю собираться, глядя на маму, которой и меня жалко, и бабушку, тащившуюся за мной по холоду. Мало-помалу принимаю своё обычное состояние (которое бабушка характеризует «соловей в попе, петь не поёт, и сидеть не даёт»). За пять минут натянув на себя всякие «теплушки», подхожу к бабушке. Та одевает поверх моего пальтеца своё пальто. О-о-о! Это не пальто, а сказка. Оно длинное, до пола, из чёрного драпа, на вате. Не на вшивеньком продуваемом ватине, а на вате. Лет этому пальто, наверное, двадцать, а то и тридцать. А венчает эту цитадель тепла воротник. Не крошечный лоскуток из «чебурашки», как в моём пальто, а массивный Воротник, прикрывающий и плечи, и часть спины. Он из котика, если верить бабушке. Мне жутко жаль этого «котика». Наверное, это не котик, а котяра, судя по размерам. Но он так ласково льнёт к щекам и подбородку, и не колет, в отличие от маминой шали, которую она называет «под вид пуховой». Обожаю этого Котика! Пока идёт к бабушке, он даже не успевает нахолодиться от мороза и просто ластится к лицу, погреться моим паром изо рта. Сверху моего тёплого платка меня ещё и завязали и перепоясали маминой шалью.

Мы выкатываемся из ворот, как два колобка. Тени от фонаря причудливо нас растягивают — сначала до обычного человеческого роста, а потом и вовсе в великанов, и мороз становится не таким страшным. Хотя он такой, что провода жалобно воют на столбах какую-то свою нескончаемую песню. Снег скрипит и скрипит под валенками. Я иду как в тёплом шалаше, придавленная пальто. Со стороны вижу, что бабушке холодно.

— Баб, ты не замёрзнешь без пальта?

— Нее, доча, у меня кухвайка тёплая и шаль! — как можно бодрей отвечает бабушка и почаще семенит ногами. Я тоже бодрей начинаю перебирать ногами в своём шалаше. Она, чтобы отвлечь меня от лютой стужи, говорит:

— Щас бы шли-шли — раз! и кукшин нашли! С золотом! Чо бы мы с ём сделали?

— Купили бы шоколадок!

— Не-е, доча, мы б уехали туда, где тепло! Там всё время трава растёт. Косить её будем!

— И заправдешную пуховую шаль маме, чтоб ей не холодно было на работу ходить!

Продолжая транжирить свалившееся на нас богатство, доходим до бабушкиного дома, прикрывшего уже глаза окон ставнями. Дом её шестой по счету от нашего, но эта зимняя дорога, попутная Млечному Пути, откуда нам подмигивали озябшие звёзды, казалась мне такой длинной!

Кое-как дотащив на себе это пудовое пальто, я вваливалась в дом. Холодным стожком стояла у порога, пока бабушка, включив свет, не начинала меня распаковывать. Расстегнув, развязав, раскутав, усаживала на кровать, и дальше я уже сама сдёргивала с себя свои одежды.

У бабы куда теплей, чем у нас! Домик махонький, но тёплый. По пути к столу бабушка задвигает вьюшку в печке — протопилась уже, торкает вилку чайника в розетку. Перед сном мы выпиваем ещё по кружке чая с топлёным молоком, до которого я с малолетства охотница из-за шоколадно-коричневых пенек. Нагло выловив пенку, съедаю её, запив чаем. А потом — на печку! Ставни закрывают домик от порывов ветра и назойливого гудения проводов, и печка — самое то после нашей прогулки! Раз уж бабушка привела, то, значит, просто обязана разрешить мне там спать. На чувал кочуют и мои валенки — прогревать промёрзшие подошвы и смотреть тёплые сны...

А бабушка рада-радехонька «ночлежнику». Подставив табуретку, потушив свет, кричит и гнездится рядышком. Вот он, этот момент, за который можно простить и 40 градусов мороза, и даже полуночное шатание по улице! (Представляю сейчас, как было больно её бокам на жёстких кирпичках!)

Дедова шуба просто топит в запахах зимы, дров, дымка. От начавшихся прогреваться валенок всюду уже несёт прелым духом растаявшего снега и шерсти. Сковородки, засунутые в нишу над плитой, добавляют шкварочный дух, от которого скорей хочется утра с горячими блинами.

Я, отдышавшись от запахов, начинаю канючить:

— Баб, расскажи сказку!

— Ой, доча, да я пристала.

— Но хоть маленечко, ба-а-а-б!

Бабушка сдаётся и начинает, уютно придвинув меня к себе: «На море-окияне, на острове Буяне. Не на небе, на земле, жил старик в одном селе. Было у него три сына. Старший умный был... детина... средний...» — Дыхание бабушки успокаивается, а потом и вовсе теряется в завитках шубы.

«Баб! Чо дальше-то?» — тереблю я её за плечо.

Встреппенувшись, бабушка заводит снова да ладом: «На море-окияне, на острове Буяне, не на небе, на земле... жил старик в одном селе... Было у него три сына... Старший умный был...»

Дальше третьего сына мы с ней не уходили, и обе счастливо засыпали. По ночи уже бабушка уходила от меня на свою кровать дать отдых нагретым косточкам.

Домой, к маме

Выходной! С первой же утренней попуткой тороплюсь в свою родную деревушку, что притулилась на плёсе Ингоды. Глазами впереди машины — так охота скорей домой! Вот уже и вербочки у поворота махают своими юбками на июльском ветерке. Ещё один поворот — и вот он, мамин домик, с лучистыми стёклами окон в черёмушных ресницах!

— Ой, глянь-ка, приехала! Чо по молчанке-то? Брякнула бы с вечера, я бы квашню поставила, хлеба свежего спекла да каких-нибудь тарочек... Ставь чайник, вари чай, щас ись будем. Ташши с сенцев калач либо колобашку. Там, на столе, под рушником лежит свежий, Нюра принесла... Выскочь за луком, огурец в тине поищи, да аккуратней, не сломай! Они нынче хлипкие, не дожидаться никак! Редиска там уж выросла вторая, первая-то чо-то в дудку ушла, видно, холодно ей было. Щас... Щас тюрю сделаем, ты ж любишь... У меня сыворотка свежая есь.

От беда, вечно второпях, не спросясь, не скажась... А ты чо это одела, это што за штаны? Жинцы? Пошто старые-то, чо люди скажут? Как новые? Ты их когда купила? Так с нова и с дырками? Скоко стоят? Скока-скока?

Ой, нету у вас ума! И што, што мериканские? Всучили вам ношенные штаны, а вы и рады! А они коляные, не приведи Господь! На банный угол скроены!

Ешь давай лучше. Я тебе дам, не буду... Нашла об чём говорить — фигура! Дурь каку-то придумали! Вон к Катке Анька приехала — едва в ворота входит — вот это хвигура! Обратно поехала, села в «Жигули», они чуть боком не стали. Бравая стала Анька, чо и говорить... Токо голову-то зря покрасила... Страмота!

Взяла да выкрасила их в сивый свет! Но есь ум или нету? Глазы намазала, и так черная, как головёшка, да ишшо раскрасилась...

Вон кака молоденька, а волосси уж сивые! Не успеют оне поседеть. Спробуй токо, спорти голову, я с тобой чикатца не стану, космы-то расчесу! Вы ж когда родитесь, Бог-то зазря што ли на вас глядит: кому чо личит, тому и дась — кому беленьки волоски, кому череньки, кому рыжи... А вы берётесь да ломаете! Паря, природой всё умно предусмотрено — лучше своёво свету ничо не придумаешь!

Да расстегни ты пуговку-то! Этак и приломиться можно — так брюхо втянуть! ...Конешно, куды тебе ись, он же к спине у тебя прилип, желудок-то! Ешь, да сымай эту дерюгу! Ой, чижолые, коляные — как их можно носить! Подай-ка вон там в передней избы, платте моё... Да не етот, а вон тот, светастый! Во... По Галиному намёту сшила, погляди, как рукав ловко! Куды вашим жинцам тягатца с моим платтем!

...Щас ночовку занесём с казенки, муки насеем, а завтра квашню творить будем. Хочь покормлю тебя два дня. С чем пироги сладим — с капустой или с морковью?

Сепаратор складывай, да молоко щас отобьём, штоб сливок свеженький был... А то завтра с квашнёй свяжесся, и не до отбивання будет...

...Вы почо мне таку клеянку гадкую купили — с бухарашками. Ись сяду, погляжу — оне кругом ползают. Аж залихотит... На капусте тумаром сяки разны, да ишо на столе! Дык придумают же таку гадось... Были раньше клеянки в клеточку — самы бравы для кухни — не маркие и ноские. А эти с каково-то гомна сделаны — на второй день уши вверх скрутютца, ни вида, ни полвида... У ей же снизу не товар, а кака-то промокашка ранешна ...

...Вы вчера глядели телевизор-то? Да про этих, про фараонов рассказывали. Поздно шибко, но мы доглядели с дедом. Дык, до чо поганый люд! Чо их копать? Каво там искать? Вон кака хворь там зарытая — нет, лезут туды, как дурные! Чо ими трясти — мёртвый человек! А им никакой жизни от людей нету! А ишо каково-то люду там набальзамировали, дивно, восемьдесят тыщ! Хоронить нельзя было — речка их подымала, и из их в мумии делали. Дык, чо удумали — костную муку с их делать! Ето рази мыслимо! И што, што оне старинные — люди же, рази можно их на муку...

...Избу ж как-то надо собиратца мыть. Не придумаешь, как насмелитца. Раньше за день выбелишь и кухню, и переднюю. И шторы к вечеру повесишь, штобы окошки пустые, как у переселенцев, не были. И в пять на дойку убежишь...

А щас — горе одно. Посудник с бухветом прибрала — и затрясло, чай надо с конхветкой. До беленки ишо и дело не дошло, а уж хвораю. Беда...

...Ты мой пока посуду, да ладом. Я чо-то пристану с этим огородом, да со скотом, как собака, ни до чего! Кажинная шшепка с ног роняет... Возмёсся за посуду, она за тебя в три чёрта берётца... Пашто-то же в руках силы никакой не стало, всё валитца... Да потише ты летай, опять чо-нибудь расколотишь. Ой, чудная же ты! Куды ты вечно торописся, как на пожар! Ты ж вот как возмёсся в стенке мыть посуду, сразу же расколотишь кружку али бы рюмку... Да ишо самую бравую! Што ты у меня за косорукая такая... Домыла? Во, а я уж и муки насеяла... Падай, поспи...

И я, переодетая уже в цветастое широкое мамино платье, падаю на кровать и пропадаю в исцеляющий ото всего сон на родной койке.

Благодать

В душе растёт паника и тревога. Дым из-за сопков. Весенние ещё пожары перерастают в летние. Всепроникающая пыль. Земля в огороде, как пепел. То ли садить всё, то ли махнуть рукой.

И вдруг — радость. Гроза! Тучи! И вот уже первые капельки дождя робко по металлической крыше «Тук-тук-тук?»

— «Да! Входи!!!»

Скорей с божницы взять икону и на улицу — мыть распятие под первыми каплями, как бабушка учила. Торопливо шепчу всё, что знаю, скорей, скорей, пока редкие капли не иссякли, лихорадочно договариваюсь с Богом:

«Дай маленько хоть дождика земле, спаси, Господи, люди твоя!» — Торопливо произношу полузабытые бабушкины молитвы, растирая ладошками потемневший крест.

А дождик, сначала робкий и застенчивый, набирает мощи. В паре с громом, молодецкато громыхающим по металлическим скатам деревенских крыш, набрал силушку да как да-а-а-ал!

Вода льётся с небес радостно, буйно, падая в оголодавшую без дождей землю. Почти мгновенно огород мокнет, покрывается мелкими лужицами, в которые летят новые и новые уже не капли, а струи дождя. И земля, радуясь каждой травинкой, каждым листком, встречает эту дождевую симфонию аплодисментами, вскидывая вверх крошечные мокрые ладошки в каждой лужице. Пьёт-пьёт земелька водицу, улыбаясь мокрыми листьями малины, кабачков, которые иногда лишь уворачиваются от хлётких струй, а больше-то счастливо умывают свои зелёные лица.

Стою у окна на веранде, глядя, как струи дождя расчерчивают весь огород в косую линейку. А молнии расписываются вверху это небесной тетрадки. Вижу пузырьки воды в лужах — верный признак того, что дождь надолго. Хочется от восторга кричать. Вспоминаю, что вообще-то уже бабка, и просто улыбаюсь, прижавшись носом к стеклу.

А наутро иду по привычной тропе в степь, где хожу всю весну, с первых солнечных тёплых дней.

А степь-то тоже, как человек, радуется. Лютики маленькими солнышками счастливо тянутся к большому родственнику на небе. Подснежники, вылезшие в самую жару, так и не набравшие толком росту, давно отцвели. Украшены теперь не знаменитой сиреневой вергулькой, а седым пучком волос. Радостно кивают почтенной сединой, благославляя на рост каждую травинку, что дождалась этой благодати. Пырей торопливо тянется вверх, с начала июня даже расти не особо пытался, скручиваясь в колючий гвоздик от сухости, а теперь вот прикрывает прошлогоднюю ветошь — и степь уже не узнать. Цветущая, пружинящая под ногами, дурманит своими степными ароматами!

Жаворонок торжественно транслирует с небес симфонию вчерашнего дождя, томительно и щемяще выводя каждую нотку, купаясь во всей этой неоглядной синеве.

И кажется, только тут начинаешь понимать, что такое благодать и как остро хочется в ней жить...

Придумал тоже — «любовь»

— Дед, а дед! Ты вставать будешь или нет? — поза и интонация у бабы Кати, как у сержанта-сверхсрочника.

Кто духом послабей, и дрогнул бы. А дед бровью не повёл, пристально разглядывая заупрямившийся ремешок от часов: какого-то рожна сегодня вредничал, никак не попадая в свои скрепочки. Насупонив ремешок на запястье, дед поворочался и сел в кровати поосновательней. Сетка её провисла почти до пола.

Насобирав из «джентльменского набора» четыре таблетки, баба Катя бережно несёт их в одной ладони. А в другой руке — стакан с водой.

— Да я же сёдни пил, — вяло начинает дед, но старушка обрывает:

— Каво ты врёшь! Пил он! Я уж курей накормила и печку подтопила, а ты ишшо и вставать не думал. Пей, давай! Смотрю, смотрю, не косись! — Подталкивает его под отёчную колотушку руки, заставляя засыпать таблетки в рот. Проглядит — и в иранку сбросить может.

Глаза у него стали чудные: то вроде без проблеска жизни, безучастные, а то вдруг заиграют какой-то детской хитринкой. В этот момент он потихоньку шкодит: прячет таблетки, считая, что его уже перекормили всякой химией. Разум тоже играет в прятки. То он есть, и дед обсуждает новости из телевизора и радио, вспоминает родню до пятого колена. То вдруг какой-то сквозняк по мозгам, который выдул последние двадцать лет, и он с утра засобирается на работу, с которой распрощался давным-давно, убеждая супругу, что опаздывает.

Дед честно запивает таблетки, ворча:

— Сколько их можно пить! Ничо ж не болит.

— Потому и не болит, что пьёшь! Вставай, умывайся да чайвать будем.

Подав руку, баба Катя подтягивает тучного супруга своего к центру кровати. Тот, зевая и почёсываясь, потихоньку вываливается из объятий своей старинной кровати, как из люльки, и, нахлобучив тапки на отёчные тоже ноги, по-медвежьи переваливаясь, плывёт в другой край избы — к рукомойнику.

Баба Катя терпеливо ждёт за уже накрытым столом. Под полотенцем паруют стопкой блины, исходят паром две чашки: большая — дедова, поменьше — бабкина.

— Хошь доктора в телевизоре и ворчат, что вредно, но как вот поись-то, без блинов, без сала, — продолжает спорить с невидимыми профессорами баба Катя. — Врут всё, штоб мы поскорей с голоду помёрли. И пенсию платить не надо. А я не поем, так и заснуть не смогу.

При подходе деда к столу успевает и стул поудобней поставить, и тарелку из-под широкого локтя убрать, и торжественно открыть румяную горку.

— Когда уж успела блинов-то напечь? — совсем по-детски удивляется дед, протягивая руку к самому горяченькому, сверху.

— Дак не все ж лежебоки, койку мнут! — парирует бабка, пододвигая ему ближе вазочку со сметаной.

Утренние посиделки с разговорами затянулись на добрых полчаса, пока дед не начинает ёрзать в поисках опоры для руки.

— Пристал? Но щас помогу, — поднимается со своего табурета бабка и опять подаёт ему руку.

Взявшись за её маленький кулачок, тоже, к слову, отёчный, дед начинает подыматься. С третьей, а то и с пятой попытки ему это удаётся, и он потихоньку пускается в обратный путь.

— Погоди! — опять по-сержантски останавливает бабка. — А гимнастика? Ты вчера ещё сулился, что будешь шевелиться. Разве ж ты не понимаешь, што я тебя не смогу поднять, если ты совсем сляжешь? Давай-давай, занимайся, — на всякий случай добавила голосу и, обогнав деда по пути в комнату, встала наперерез.

— От же ты зу-у-у-да! — машет головой дед. Прислонившись к косяку двери спиной, марширует на месте. Так, вероятно, ему кажется. На самом деле ноги, обутые в растоптанные чуни, походили на ленивых цирковых медведей, которые не хотели шевелиться и подымались на дыбы только под резкий окрик дрессировщика.

Суровая бабка-сержант, взглянув на старательные попытки «гимнастики», неожиданно покатила со смеху:

— Ты гляди, не схудай! Разошёлся, Аполлон Полведёрский...

Деду только этого и надо. Буркнув «хватит», плывёт в сторону своей коечки, по пути опираясь то на угол кресла, то на угол печи, и, подойдя к кровати, пере-хватившись за её головку, тяжело заныряет в её спасительную глубину, как в гамак.

А баба Катя, присев у окна, пододвинула к себе другой лекарственный коробок, вытасила свои таблетки и выпила утреннюю дозу. Устало посидела, грустно поглядывая на дедову стопочку таблеток. А потом, спохватившись, опять пошла обратно:

— Но чо, недвижимость моя? Улёгся? Дай-ка гляну, носки не тугие? Не пережимают ноги? Не болит ничо? Дай я маленько ноги разотру.

— Да чо их шевелить. Нормальные.

— Да они уж ничо не чувствуют, «нормальные»... — растирает осторожно отёчные лодыжки, пугающе холодные под рукой, встревоженно глядит в лицо деда. — Давай носки тёпленьки оденем. Щас я с печки подам. Совсем у тебя кровь-то не ходит, ишь, замёрзли ноги.

Укутав деда, снова села за стол напротив божницы, позабыв про немытую посуду, и, подняв глаза к иконе в углу над столом, перекрестилась. Помнит, как крестилась в первый раз, размазывая по лицу сажу и кровь. Чего уж тогда она наговорила молчаливой иконе, не помнит. Не до того было. Было ей тогда 28 лет.

Ветер в тот день гудел, как сумасшедший. Морок раскинулся над деревней дырявым смурным плащом, в котором от порывов то тут, то там появлялась новая рванина. Песок несло над деревней, и на зубах песок этот скрипел, и глазам было больно от вьедливых соринок. Казалось, никогда не кончится этот ветренный день. После утренней дойки, повязав пониже платок, чтоб защитить глаза от хлестких ударов ветра, торопилась она домой с фермы. Издали увидела вдруг, что у дороги столб с проводами завален, а под ним лежит что-то, зеленеющее на фоне серой земли.

А потом заглодело вдруг внутри, и ноги чуть не отказали: в этом зелёном узнала она мужев мотоцикл. Не помня себя бежала к столбу, к клубку спутанных проводов, среди которых он корчился, пытаясь выползти. Одежда на шее и на ногах тлела, разгораясь на ветру. Глянул на неё полубезумными от боли глазами, шевельнул рукой, на которой трепыхалась неопрятными лоскутами тлеющая фуфайка с коричневой дымной ватой, пытаясь отогнать её этим жестом от смертоносных проводов.

Не обращая внимания на провода, которые опасно искрили в местах соприкосновения, подскочила к нему и, не касаясь руками, ногами в спасительных резиновых сапогах выталкивала его из смертельного клубка жалящих проводов в кювет. Молча, сжав зубы, размазывая по лицу слёзы, упрямо толкала и толкала ногами

его подальше от смертельной опасности, превратившись в бесчувственную машину, не давая воли сердцу, чтоб не упасть рядом с ним там, обхватив его руками.

И потом только, поодаль, рухнула на коленки, сняв свою фуфайку, и гасила его тлеющую одежду, осторожно пыталась стянуть её, а потом увидела, что на помощь бегут люди.

Домой его вели под руки. В порванной полуобгоревшей рубашке он шёл, качаясь как пьяный, из-за шока, вероятно, не чувствующий боли. Огромный ожог был на шее, на руках, на ноге виднелся сквозь дыру в штанине.

Дом, испуганные глаза ребятишек, поиски ножниц, куда-то запропастившихся. Срезанные полусгоревшие лохмотья одежды на полу. И её торопливые молитвы к Богу, как будто оттого, насколько быстро она их прочтёт, зависела скорость «скорой помощи».

Из больницы его выписали только через четыре месяца, в августе. Сожжённая под шеей кожа срослась рубцами, будто к шее кто приложил огромную короткопалую паяльницу. Чужая уродливая паяльница по-хозяйски обхватила горло, сдавливая его при каждом неосторожном движении. Второй шрам был на ноге, выше колена — огромный поджаренный блин, больше четверти в диаметре.

Раны только-только затянулись молодой кожей, любая одежда причиняла боль, и ходил он по ограде в широченных трусах и майке, широко расставляя ноги, как моряк во время качки, чтоб не причинять боль одеждой.

Спасительный преднизолон, которым снимали в первые недели боль, и стал теми дрожжами, на которых стройный её Николай и стал «подниматься», сначала до 80, потом до ста, а потом и поболее килограммов. Конечно, на килограммы и глядеть не стала — лишь бы одыбал и ожил. С годами затянулись все раны, даже рубцы стали не такими пугающими. А самым страшным сном много лет был сон о том, как она его вытаскивала из искрящихся проводов.

Вспомнилось, как однажды ночью, в декабре, приехал из соседнего села, где временно работал сменным, и постучал в дверь, уже в ночи. Шесть километров шёл с трассы домой, обындевел, как Дед Мороз. Испугалась, ругала, оттирала, отпаивала горячим чаем. Растирала задубевшие ноги. Бог отвёл. Даже не чихнул назавтра... «Затосковал да и поехал», — улыбался он ей оттаявшими губами.

Много чего вспоминается Катерине. Как за всю их жизнь ни разу, считай, не расставались — роддом да ожог не в счёт. Свадьба вспоминается — и смех и грех. Отправили его в соседнее село работать. Затосковали друг по другу, а работа — никуда не денешься. У неё — почти неделя отпуска. Вот и поехала в гости. Пожила там у него четыре дня, собралась домой, а паспорта в сумке нет. С собой ведь брала. А он сидит рядом с сестреницей (квартировал у неё), улыбается тихонько. Потом подаёт из кармана своего пиджака. Берет она паспорт, листает, а там... штамп о браке!

— Это што такое?

— Ничо. Пошёл в сельсовет (в одном помещении с клубом, где он работал). Говорю, моей некогда прибежать, распишите нас. Вот и расписали.

Время — обед. Хозяйка, взглянув на «молодую», споро стала наставлять на стол горячее с плиты: картошку жареную, карасей, щи.

— Саня-я-я! Иди, свадьбу гулять будем! — смеётся, подзывая с ограды своего мужа. Пообедав вчетвером, стали уж планы строить, что дальше делать. Перебралась Катерина в Новониколаевку, три года там и прожили, а потом в свою деревню вернулись с двумя народившимися уже малышами.

— Эта... иди-ка сюда! — позвал из спальни дед.

Баба Катя снова сорвалась с места. Стоя у изголовья, глянула пытливо:

— Чего?

— А щас утро или вечер?

— Утро, конечно! Ты ж блины со мной ел.

— А сама-то таблетки пила? Или токо меня травишь?

— Пила, пила, не переживай.

— Запереживаешь тут! Тебе вперёд меня никак нельзя. Я ж даже с койки без тебя не вылезу, — и глаза деда глядели в этот раз вполне осознанно и серьёзно. — Ты бы телевизор, что ли включила. Картина можа какая идёт, про любовь, — улыбнулся он, переключившись с хмурой мысли.

— Придумал тоже, «любо-о-о-вь»... Разве она есть? Сказки. Дурь одна в этом телевизоре. Давай-ка я лучше тебя побрею, — и, поднявшись с кресла, привычно включила бритву и стала сбривать щетину, сбавляя нажим на месте старого шрама на шее, а потом аккуратненько протёрла лицо влажной салфеткой.

— Вишь, ты ишо и молодой, — улыбнулась она и пригладила неровно ею же остриженный чубчик.

Нечистая сила

В детстве, лет этак в десять-двенадцать, я была полнейшим атеистом и материалистом. Даже после такого ужасика, как «Вий», в темноте влетала в ограду как пуля. И если какая-то нечисть и таилась в тёмных уголках двора, ей бы попросту не поздоровилось. Я неслась в дом с такой скоростью, что, скорее всего, просто бы её затоптала.

Правда, страшновато было идти после фильмов про фашистов и пытки. Расстрелянные и повешенные гестаповцами вдруг вставали перед глазами в самых тёмных уголках двора, и я двигалась дальше, стараясь производить побольше шума, даже просто «лялякая» какое-то музыкальное непотребство.

Однажды вечером я, по своему обыкновению, после окончания сеанса ходко рванула домой. По обыкновению — потому что домой мне было предписано приходить раньше папы-киномеханика.

Фильм был из разряда нестрашных, и беды ничего не предвещало. Беда, собственно, ждала сразу же — лужи после прошедшего во время фильма дождя. Они имели коварное свойство показывать другой оттенок, чем просто дорога. Прыгнешь с одного сухого островка на вроде бы сухой по цвету кусочек — оказывается, в луже. Прыгая вроде шахматного коня, я двигалась по дороге к переулку. И тут вдруг услышала сзади торопливые шаги! Странно было то, что догонявший молчал. Подружки, да и соседские пацаны, окликнули бы: «Ленк!» А тут какой-то зловещий молчок.

Я ускорила шаги. Шаги сзади тоже ускорились. Я прибавила ещё — и там не отставали. Мало того, разрыв между нами стал сокращаться. Меня охватил панический ужас, и я рванула! Мне было уже плевать, лужа впереди или дорога. Шаги не отдалялись, наоборот! Но страшило даже не то, что расстояние становится короче. Пугало это упрямое молчание. В голове мелькнули страшилки про командированных в деревню строителей из южной республики. Мужики были работающими. На строящемся объекте торчали с ранней весны — «грачи прилетели». Я решила, что, вероятно, за мной гонится какой-то не в меру страстный любитель

женского тела. И хоть это было смешно (от женского тела у меня пока были только длинные волосы, ну и так, по мелочам), а в целом ни кожи ни рожи, и весу около сорока килограмм. То есть «женским телом» меня можно было называть с большой оглядкой. С обрывками таких мыслей я влетела с прямой от клуба в спасительный проулок.

К моему ужасу, забег я проиграла. Догоняющий меня мужчина — я уже не сомневалась, что это был мужик, меня настиг и уже дышал в ухо! Сердце колотилось так, что я слышала его в своих собственных ушах. Не оглядываясь, отчаянно махнула рукой назад, чтоб хоть чуть ещё оттолкнуть его от себя. И тут обнаружила самое дикое: он дышал мне в ухо, то есть его голова была рядом с моей. А под рукой, куда я махнула и где должны быть шея и торс, было пусто. И тут я поняла, как сердце проваливается в пятки!

Господи! Мне поплохело до пота между лопатками! Я уже не могла бежать и, остановившись, безнадежно махнула рукой назад. И снова дыхание его было у уха. А... шеи не было. Мало того, этот урод слюнявыми губами дотронулся до мочки уха! Обезумев от ужаса, я развернулась рывком назад и на фоне более светлого неба вдруг увидела изящную голову... жеребёнка. Уфффффффффф!

— Сиротка! Чтоб тебя волки съели! — обессиленно, на дрожащих ногах я прислонилась к заплоту.

У Сиротки потерялась мамка, и новорожденный жеребёнок стал игрушкой для деревни. Её подкармливали все, кому не лень, особенно ребяшня. А жевание ушей было её любимой забавой.

Я обняла Сиротку за шею и заревела — от пережитого страха, от осознания, что всё хорошо, и от того, что я такая непутная трусиха!

Успокоившаяся от бега Сиротка, прижавшись ко мне тёплой атласной шей, виновато дышала в ухо, а потом уже спокойно потопала со мной в улицу. Выйдя из переулочка под яркий круг фонаря, мы, совсем уже спокойные, шли с ней по ночной деревенской улочке. В карманах плащика у меня было пусто, Сиротка обшмонала их раза на три. И теперь просто поцокивала рядом, провожая домой, доверчиво подставляя то шею, то голову для моих ладошек. Я гладила её и тихонько ворчала: «Дурочка ты! Бегаешь по ночам, а если кто колом поперёк спины огреет за твои пужанки?» Сиротка нервно, с хлопком, подёргивает ушами. Видимо, перспектива дрына ей тоже кажется страшной. На фоне неба уши смешно трепещут тёмными треугольниками с длинными лохматушками изнутри. У дома погладила Сиротку ещё раз: «Подожди!» — и нырнула в тепляк. В темноте нашарила в шкафу буханку хлеба, отломил щедрый ломоть и посыпала сахаром, из нащупанной по очертаниям там же на полке сахарницы. Выходя, не удержалась и куснула кисловатый кусочек пшеничного хлеба. То ли со страху, то ли просто к ночи уж есть захотелось, но хлеб показался таким вкусным! Вернулась, отломил и себе кусок, смелее макнула его в сахарницу и выскочила к Сиротке. Та, терпеливо переступая длинными ножками, доверчиво ждала у ворот. Присела на скамейку, подала один кусок ей и захрустела сахаром сама, наворачивая второй ломоть.

Смолотив кусок, посмотрела на Сиротку:

— Погоди! Там же есть... — не договорив, я снова метнулась в тепляк, отломил нам обоим ещё по куску хлеба. И, скорее по запаху, определив, где стоит ведро с малосольными огурцами, занырнула рукой под большую тарелку, которой были придавлены вчерашние огурцы. Вытащив из ведра остро пахнущих черёмушным листом и укропом два огурца и прихватив хлеб, снова метнулась за ворота. Есть после «погони» хотелось невероятно, аж руки тряслись.

Немногословная подружка прядала ушами, ловя звуки моих шагов и не видя ещё, уже потянувшись своим плюшевым носом к хлебу. Мы уплетали с Сироткой по второму куску хлеба, захрустывая его огурцом, поглядывая на небо. Больше всего на свете мне не хотелось бросать её тут одну.

— Жалко, ты не разговариваешь, и к нам тебе нельзя... — обняла я её ещё раз за такую тёплую, льнущую к руке ласковую шею. Она была горячая, со дня ещё нагретая солнышком, упругая и доверчивая. Ластилась ко мне, прижимаясь в темноте, понимая, видно, что я сейчас от неё убегу.

В ягодах

Нонешна ягода всю округу с ума свела. Сколь лет её не было такой, сумасбродной. По одной, по две бубочки висит, да и та на землю падает, как ветки коснётся, — от жары. Сварилась вся на корню! А нынче благодать! Вот бабы одна другой и хвастают: в Естихворихе голубица шибко бравая. Другая — не, в Багадашихе — о-о-о-ой, куды с добром!

Тётка моя маме звонит: «Галька, ты знаешь, какая нонче голубица в Падях, такую сроду даже не видала, не то што брала! Приезжай, пока люди всю не схватили! Поналетят, как век не евши, да стопчут, как бараны!»

Усидеть после этого мама просто не могла. И если б я её не повезла, она бы эти восемьдесят километров просто пробежала, брякая вёдрами. Приехали к тётке. Посидеть за столом, чинно почайвать — никакого терпения нет. Обе аж все обутки под столом сширкали — скорей обеим надо в ягоды. Братан подогнал свой грузовичок, уселись они в кузов шестьдесят шестого и довольные поехали за речку. Ингода мелкая тот год была, перебрались по перекату на ту сторону, ровнехонькой дорогой мимо арок берёз двинулись к ключу. У ключа спешились, братан поехал дальше, на свой покос, а мы, брякая посудой в котомках, споро шагнули через покосную падь, изрытую дикими свиньями, — к горе. Ягодникам моим лет — лет, да и года пошли, — на двоих почти сто сорок годочков! Но бабульки мои про гипертонии мгновенно забыли, через чушачьи рытвины вперёд меня несутся, глазами уже и сопку справа и слева оббежали, хоть до неё ещё с полкилометра ладом. Тётя Нюра потоньше, попрогонистей, а мама за каждый лишний килограммчик сейчас про себя, поди, материт. Пару раз то одна, то другая оступятся в мягкие рытвины, завалятся. С кряхтеньем встают, пересмеиваются: «Видал, ходоки! Ишо и ягод не видали, уже заваливаемся, как кобылы старые! Каки теперь с нас ягодники...»

А по глазам вижу: зря прибедняются, зря присбирывают — сейчас не удержишь ни одну, ни другую. (В ягоды-то с обеими с малолетства ходила, помню, что никто их по лесу догнать не мог.)

Падушкой между сопок углубились. Красота кругом... Золотистые пуговицы девятильника оторачивают лесные наряды. Оголили коленочки берёзы и осинки, колокольчики по самые эти коленки поднялись, щекочут ласково. Багульник болотный пьянит, голова сразу кругом. Цветы, трава на ключевинке — ковром, зубровка томительно пахнет, в детство запахом покосным манит — на покосе то всегда ею пахло. Ноги во мху пружинят, вперёд нас вскачь несут.

Господи! Такой голубицы и вправду сроду не видели. Она была сплошным синим ковром: справа, слева, впереди, сзади. Сам-то, мой, нас, дурочек, изучил уж вдоль и поперёк, ступил в голубичную поляну, выбрал лесину повыше, раскупонился под ней, выдавив в пригоршни мазь от комаров. Намазался деловито,

свернув с тропы, просто прилёг на бочок и начал собирать ягоду. Мы, как баранухи с пригона, — табунком вправо, влево. Остановились, начали брать. А ягоду даже трогать жалко: крупная, в сизом тумане! А уж сладкая — не оторваться, если начал её пробовать.

Тёткины корявые руки мелькают привычно, как на дойке. Приглядываюсь, точно движения доярки: обеими руками споро «выдаивает» ветки вокруг себя, незаметно перемещается правее и правее. Мама — то же самое, только влево подаётся. Струйки ягод текут и текут в набирники. Вот уж первые литры ягоды аккуратно переливаются в вёдра. Оханье по поводу невиданной голубицы утихает, разговор перетекает плавно в бытовое русло: «Сколь нынче скота поукрали, не приведи Господь! Руки бы поотрывал по самую ж...у этим ворюгам! Прямо чуть ли не в деревне застрелили три головы, стёгны вырубил и бросил, собаки бесовестные!»

Мирный разговор незаметно становится громче и громче — собеседницы отделились друг от друга. Ещё пять-семь минут — и помалкивают.

Обираю кружок под рукой, поднимаю голову — не видать ни одной, ни другой.

— Мам! Мам, мама-а-а-а!

— Каво надо? — издалека кричит.

Схватив свои посудины, бегу туда.

— Ой, но тут бравые ягоды! Да сладкий кружок! — восторгается мама. Припав на коленку, начинаю обирать рясный куст, второй рукой разминаю успевшую уже онеметь поясницу. Не успею толком перевести дыхание, маму уж как ветром понесло в другую сторону.

— Куда? Давай тут соберём! — пытаюсь протестовать.

— Давай, давай... — а саму уже за чепурильником не видать. Куда деваться! И я следом, так как в этих местах сроду не была и боюсь отстать. Мамино ведро стремительно, несмотря на ужасающие скорости, наполняется. Меньше часа ещё не прошло, ведро полное. Плетёмся к выбранной нами лесине, где отаборились. Развязав котомки, достаём свободные посудины, набранную ягоду в ведре аккуратно платочками сверху обвязываем, выбирая запавшие на ходу веточки, шишечки и багуловые листочки.

— Глянь, Нюрка то уж была! Ведро-то во стоит! Это сколь же она обсвистала?! — удивляется мама наполненной посудине своей сестры.

Глотнув холодного чаю с бутылки, снова углубляемся в ягоды. Сам пытается нас урезонить: «Не бегайте, берите тут!» Но куда там! Удрали.

Возле сломанной поваленной лесины снова присели, натрапив¹ на рясный² кружок. Мама, устав, осела вроде надолго. Я тоже усаживаюсь поосновательней. Кажется, весь мир соткан из тускловатой зелени голубичника и синевы ягод. Туманность с наступлением жары сходит с ягод, прячется у самых корней нежной прохладой. Звенящая тишина только усиливается звоном комарья, облюбовавшего свеженинку (нас то есть)...

Глаза смотрят на мир уже из-под порядком искусанных век, которые не особо хочется раскрывать. Сбоку на нас из-под чепуры налетает тётя Нюра. Семиминутная «сидячая» идиллия разрушена!

— Вы каво тут берёте? Но, паря, вон там-то шибко уж бравые ягоды! Каво у вас тут? У меня крупней, — и убедительно бидончик под нос нам суёт. Ягода как

¹Натрапить — угадать.

²Рясный — обильный.

ягода, тех же размеров, во всяком случае, наша ничуть не мельче. Обращаю внимание на её глаза, увеличенные под очками, смеюсь:

— Тёть Нюр, ты очки-то сыми!

Та, сняв очки, обезоруженно смотрит на содержимое своего бидончика, затем решительно водружает очки на нос и убеждённо говорит:

— Но уж! В очках-то крупней...

Снова убегает на свой «золотоносный» кружок. Мама, не утерпев, едва разогнувшись, с низкого старта уносится в ту же сторону, тихонько ворча при этом, что Нюрку сами черти не удержат!

Поняв, что я однозначно проиграю своим «хворым» старухам, плетусь к табору. Примостившись возле уютного бока мужа, начинаю смиренно собирать ягоду, поглядывать на его довольное лицо. Он тоже в первый раз попал на такой ягодный год. Усевшись неловко, как медведь, обставил себя посудой и потихоньку набирает её, удивляясь прыткости тёщи.

— Как вы не понимаете, что она везде одинаковая? Зачем ноги бить, когда можно не сходить с места, — вразумляет меня.

Согласно киваю. Услышав с лесу: «Ленка-а-а-а, ты каво там берёшь?», срываюсь и улетучиваюсь к маме, подозревая, что она снова нашла голубицу с бычий глаз!

Набрав по два ведра и по пятилитровому бидончику, собрались у табора перекусить. Усевшись на землю, расставив отёчные ноги в калошках, мы устанавливали между коленок зыбкие бутылки с чаем, доставали узелки с яйцами, пирогами, огурцами, луком. Варить чай на костре — время жалко, обошлись домашним, уже прохладным. Промаялись, набегавшись по чепурильнику³, и припасы быстренько подсократили. После обеда снова, как ерничной⁴ настёганные, сорвались в бега. Мой даже фразу договорить не успел, а нас уж ветром сдуло. Вполне приличные дома лица от комариных укусов в лесу превратились в какие-то лепешкообразные личины. Веки нависают не под, а над очками, смех и грех, только медведей пугать! Часам к четырём я взмолилась: пойдёте к ключу! Сил нет! Пока доплетёмся, там уж машина наша подъедет.

Обратная дорога оказалась, вопреки всем законам, в сто раз длинней. Запнувшись об каждую кочку, попав в каждую рытвину и зацепившись за любой мало-мальски заметный корешок, тащили свои черепки к ключу, где была намечена встреча с транспортом. Ягод получилось у каждой по два ведра, по два-три бидона, короче говоря, только в зубах ничего не висело.

— Почо вот, почо по столь хватали? — сокрушалась мама, едва переставляя ноги. — Пропаду ить завтра, вся спина отнялась, ноги отнялись от самой спины! Отходилась, паря! Сроду больше не пойдём...

Ключ встретил весёлым говорком. Под зелёными подолами берёз, среди почерневших корневищ весело бурлил, с каждым корешком наособицу здоровался и торопился к Ингоде, где каждый камушек его ждал и знал... Расставив у дороги свои котомки, скорей стали опускаться в ключевинку. Обжигающая вода была немислимо вкусна, смывала следы комариных пиршеств и размазанную по лицу и рукам голубику. Я черпала воду пригоршнями и жадно пила, смывала зудящие укусы. Казалось, усталость стекает меж пальцев и уносится торопливыми струйками...

— Но вот, ожили помаленьку, слава те Господи... — перекрестилась тётя Нюра и тут же, забывши о том, как каялись, что ходили в последний раз, добавила: — Завтра можа опять пойдём...

³Чепурильник — непролазный подлесок, чаще всего багул и ерник.

⁴Ерничина — ветка карликовой берёзы.



МИХАИЛ РЯБИКОВ



А душе всё больней и больней

Старик

Подражание Юрию Кузнецову

Читал газету на скамейке
Старик с бородкою седою.
И трещинка, как смерти змейка,
Была придавлена ногою.

От ветра старости нередко
Тряслась газета, шелестела.
В тени берёзы, словно в сетке,
Вопросом древним гнулось тело.

Скаканье правнука Витальки
Стоухо слушала берёза,
И рядом ласточки летали.
— Так отчего на веках слёзы?

Был взгляд его печально-светел,
Как будто вглядываясь в годы:
— От пыли, сын, — он мне ответил, —
От пыли, что слепит народы!

РЯБИКОВ Михаил Михайлович родился 1 января 1945 г. в дер. Зорчино Смоленской области. С шестнадцати лет жил в Братске. Работал учеником электромонтёра, плотником, строил трассу Братск — Усть-Илимск. Первая поэтическая книжка «След» вышла в составе поэтического сборника «Бригада» в 1981 г. Михаил Рябиков — лауреат областной конференции «Молодость. Творчество. Современность» (1979), награждён дипломом I степени. Печатался в коллективных сборниках: «Синь моя, Усть-Илим!», «Байкальский меридиан», «Усть-Илим продолжается», «Усть-Илим — судьба, мечта и счастье», журнале «Сибирь», «Иркутском альманахе». Один из первостроителей Усть-Илимска, он пишет о том, чем живут, чему радуются и о чём переживают работающие и живущие рядом с ним люди. Живёт в Усть-Илимске.

Утром на ЛЭПе

В провисах проводов, как в гамаках,
Спят облака, бока зарёй прикрыты.
День в синеве, тайгой уже пропах,
Идёт со мной по просеке, залитой

Прохладой тишины. Лишь влаги блеск,
Слепя, с травы гирляндами свисает.
И проводов гудяще-нервный треск
В зарю кустов шиповника слетает.

Взлёт глухарей, свист рябчиков слышны,
Ведь просека для птиц сейчас — жировка.
И робко, как по нервам тишины,
По веткам кедра прыгает кедровка.

Дорога заросла и чуть видна.
Как тяжело на сопку подниматься,
Туда, где даль заманчива, ясна,
Где хочется мне с ветром обниматься.

Где я, уставший от ходьбы и дум,
На спиленное дерево присяду
И долго буду вслушиваться в шум
Тайги. И в гуд машин на трассе — рядом.

Смотреть, как солнце льётся по горе,
Как облака, проснувшись, в кучу сбились...
И, глядя в завтра, думать о добре
На этой синей улице Сибири.

Поэзия

Она — и дождик, и пурга,
Мираж в пустыне, и криница...
Моя поэзия — тайга,
Где можно жить... и заблудиться.

Утром

Уходит ночь неведомой тропой...
На тихий двор небес издалека
Рассвет на поводке зари багровой,
Как пуделей, выводит облака.

И лай болонки — сколько в лае лиха! —
Спугнул покой дремавших тополей...
Жена лежит задумчиво и тихо,
И внук головкою прижался к ней.

И мне давно, давно уже не спится
В тисках житейских козней и задач.
И даже в песнях утренних синицы
Мне чудится: я слышу чей-то плач.

Гнетут долги за свет и за квартиру,
А быть в долгу я сроду не люблю!
Восход на окнах золотым пунктиром
Путь намечает дню и кораблю.

Душа болит о сёстрах и о брате,
Об одиноком старце за стеной.
Я о грядущей думаю расплате,
Что встанет над измученной страной...

И нет мне покоя

Как будто открылась военная рана,
Заныла — и я допоздна не усну,
Когда, как набат, с голубого экрана
В квартире услышу опять про войну.

Услышу — и дрожь пробежится по сердцу,
До гроба, как видно, не жить с ней в ладу.
Хоть снайпер в меня и не целил усердно,
Родился на свет я в Победном году.

Но в снах, где не крикнуть и помощи нету,
Фашисты к оврагу толкали меня.
Быть может, и папку вот так же к кювету
Вели на излёте кровавого дня...

И смерть миллионов, разруха да голод —
То горе народов, а значит, моё.
И чьё-то сиротство — в жару или холод —
Скребётся в моё и сегодня житьё.

И нет мне покоя, хоть в разум я верю:
Планету безумцам вовек не поджечь!
Дай Бог, чтобы снова в разбитые двери
Дома не студила захватчиков речь.

Осень

Ветер щиплет стылый лес, Как охотник птицу. Лист пером то там, то здесь, Покружив, ложится.	И в траве, как будто кровь, Мокрый лист осины. Красных листьев больше всех. Видно, спозаранку Осень шла под первый снег По тайге подранком.
В гари стих горячий зов, Гона зов лосиный.	

Бытовка дорожников

На потёртых колёсах в дождях и в снегах,
Словно память дорожникам-предкам,
Ты стоишь у дорог, и внизу, на углах
Механизмов и времени метки.

Перекошена дверь, зыбкий трапик под ней,
И лопаты грустят у порога.
Ты — потребная пристань обыденных дней
И души моей чуткой тревога.

На скамейке твоей в духоту и в мороз
Сердце наполнилось болью и песней.
Спотыкался о чёрствость, как будто о трос,
И обиде в груди было тесно.

На дороге в бетоне под скрежет лопат
В сапожищах я вяз по колено.
И под крышей твоей был до косточек рад,
Когда дружно работала смена.

И с годами, конечно, острее сознаю:
Не ценить тебя просто не в силах —
Над трубою дымок и печурку твою,
И безмолвье помятых носилок.

Даже женская ругань судьбе моей впрок,
Лишь к начальству в душе укоризна...
Не забыть никогда твой суровый урок,
Словно заповедь милой Отчизны...

В гостях в деревне

Сергею Берестеню

С крыш дымы в огороды слетают, От поленниц зубчатая тень.	Поднялась голубиная стая С покачнувшихся грабель антенн.
--	---

Март оплавил сумётов верхушки,
Лай собаки неистов и груб.
Душу тешат квохтаньем несущи,
Вкусно жареным пахнет из труб.

Шлейф за лайнером тянется гулкий,
Дальних сопок синеет сукно.
Пахнет сеном и хлебом в проулке,
Смотрит древность старушкой в окно.

Кот сибирский у стайки хлопочет,
Куст черёмухи к ставне приник.
Во дворе кукарекает кочет,
Новой рамой сверкает парник.

С незабытой ребячьей сноровкой
Я, как в детстве, спешу на крыльцо,
Где прищепки на белых верёвках
Мне всё кажутся стайкой скворцов.

В ноябре

Не ищите меня в ноябре
В городской суете и в постели!
Снег разлёгся уже на дворе,
И морозы с небес прилетели.

И, как лайки, бегут облака
За взъерошенной тучею-зверем.
Пар реки за клубился слегка,
Как в зимовье раскрытые двери.

Не звоните из библиотек —
Зло, ревнуя, жена вам ответит.

Я уж там, где охоту навек
Полюбил несказанно на свете!

Где в ведре с ледяною водой
Облачками мне кажутся льдинки,
Как в небесной тиши золотой,
Там стрижами мелькают хвосты.

...И душе всё больней и больней
За страну... И лихие порубки,
Где природа средь хлама и пней,
Словно нищенка, — в порванной шубке...

Во время охоты

Однажды замер резко у речушки,
Охваченный явленьем красоты,
Когда в закате лиственниц верхушки
Горели, как церковные кресты.

И небо над тайгой, как свод великий
В высоком храме света и веков,
Где виделись мне будто чьи-то лики
В мозаике тончайших облаков.

И сосны в позолоте, словно в ризах,
Свершали свой таинственный обряд.

И ёлочки у тропки, что поближе,
Как прихожане, выстроились в ряд...

Во всём, пожалуй, есть святая сила —
В ручье, в траве и в снеге, что скрипуч..
И Бог, как будто дивное кропило,
Макает в сопку золочёный луч!

И лес, и высь, любуясь, долго слушал
В чудесной этой паузе большой,
Чтоб разговор ходьбою не нарушить
Меж лесом, небом, Богом и душой...

В зимовье

Николаю Чемелю

Лает Дик. Наверно, чует зверя,
Или стукнул в елях ветерок.

Горностаем из прикрытой двери
Прыгает с порога холодок.

Духоту и копоть, дым табачный
Свежесть прижимает к потолку.
Дед вздохнул, послушав лай собачий,
И налил по кружечке чайку.

И за чаем, словно полночь, чёрным
Знаю, местным, чудным говорком
Он расскажет, как в верховье Чёрной
Добывали белку плашником¹.

Про тайгу — кормилицу в те годы,
И устои древние в селе,
Что недавно в этом же уголье
Было больше птицы и лосей.

И опять собакой любопытной
Подойдёт к оконцу темнота.
Будет дед завидовать открыто
Промыслу в нетронутых местах.

И не будет верить он, конечно,
Мне, строителю лесных дорог,
Что и я хочу, чтоб жили вечно
Бор, речушка, Соболиный лог.

Чтоб с тропой виднелись, как искони,
В кедрачах с затёсками круги,
Что мне душу остро беспокоят
Новые хозяева тайги.

Старый охотник

Недоеденный скудный обед
Дед под деревом высыпал Найде.
Вот и всё. Отохотился дед.
Ничего ему больше не надо.

Он с угодьем простился, как мог:
Все капканы захлопнул вдоль речки,
Пол в зимовье подмёл, мусор сжёг,
Бересту положил возле печки.

И сквозь слёзы на нары смотрел,
Шкуру лося, как прошлое, трогал...
Он родился в деревне, вырослел
И старел на охотничьих тропах.

А теперь по таёжке родной
Разливается вырубок море.
Механизмам канадским порой
Бензопилы германские вторят.

И деревня попала под снос.
Завтра дочь увезёт его в город...
Вот и всё. За порогом, как пёс,
Ожидало то смертное горе..

Прозябание ждало — не жизнь
Без избы и отцовской тропины...
Он в рюкзак, плача, вещи сложил
И из жизни ушёл... до кончины...

Весны истоки

Обкусывает кромку льда
Незримым зверем март сибирский.
Туда, где шепчется вода,
Опасно приближаться близко.

Кипит течением река,
Промчав сквозь ГЭС по водоводам.
Вода губами ветерка
Парок вздувает к небосводу.

И в сини дыма, в порах льдов
Уже видны весны истоки.

Сквозь пудру вьюг и холодов
У сопок розовеют щёки.

В ладонях ряби кое-где
Белеют льдинки, словно чайки.
И у шивёрки на воде
Расселась пена птичьей стайкой.

А у залива — так легки,
Порой ныряют в пенной мели —
Сетей рыбацких маячки,
Как будто утки прилетели!

¹Плашник — плашка, плашки — самодельная деревянная ловушка на белку, соболя, куницу, горностая.



АНДРЕЙ ХРОМОВСКИХ



Санёк-мотылёк

Из полуавтобиографической повести
«ЗАПИСКИ СЕЛЬСКОГО ТАКСИСТА»

Душным майским утром среднерослый мужик, обладатель могучего тулова грузчика, обтянутого густо-синей зимней рабочей курткой с выведенной на спине надписью «Газпром», несоразмерно коротких кривоватых ног, обряженных в вытертые добела джинсы и обутых в зимние же чёрные сапоги «Аляска», то мечется по гравийной площадке возле двери кафе «Антоника», то вдруг принимается выписывать на ней малые эллиптические орбиты. Едва завидев подкатывающую Коломбину, мужик заканчивает свой несколько нервический утренний променад, сдёргивает с головы (оказавшейся лысой, шишковатой, с глубокою вмятиною надо лбом) летнюю сетчатую бейсболку и, размахивая ею, сияя лазоревыми глазами, выделявая ногами мудрёные антраша, широко осклабясь и жутковато являя при этом единственный длинный кривой и жёлтый зуб, поспешает в мою сторону. Шлёпнувшись на сиденье, ребячески поёрзав, мужик располагается как можно вольготнее, затем протягивает крупную мягкую ладонь, отрекомендовывается Саньком, спрашивает моё имя, восклицает: «О! Эндрю!» — и бодро частит:

ХРОМОВСКИХ Андрей Анатольевич, прозаик. Родился в 1962 г. в Братске. В 1965 г. семья переехала в пос. Жигалово. Окончил Иркутский кооперативный техникум. Первая публикация состоялась в районной газете «Ленинская правда». В 2006 г. издал литературный альманах «Разбег», составленный из произведений жителей Жигаловского района. Создал районное общественно-литературное объединение «Разбег» и стал его председателем. В 2011 г. выпустил авторскую книгу стихов «Зазеркальная птица». Делегат 1-го съезда писателей Иркутской области. Публиковался в журналах «Наш современник», «Сибирь», «Иркутский писатель», «Северо-муйские огни», «Иркутский альманах», в коллективных сборниках «На перекрёстке», «Дарю тебе мой стих». Живёт в Жигалово.

— Значит, так, Эндрю. Слушай во все уши. Сейчас мы с тобой едем в банк за деньгами, потом сначала в один магазин за продуктами, потом в другой, где всякие разные тряпки продают, ага; там я футболку куплю, стельки и носки. Потом... а куда потом? *(Вздёргивает брови, отчего чистый выпуклый лоб избороздается морщинами, раздумчиво постукивает кулаком по колену.)* Да, потом в гостиницу! Там я оставляю продукты, а потом мы едем обратно, я тебя кофе с шоколадкой угощу. Всё, Эндрю, погнали! — Санёк набирает в грудь воздуха, порывисто взмахивает руками и голосит неожиданно музыкально: «А волосы твои до плеч! Глаза большие в пол-лица!» Шизгалес! Короче, шизгалес! У-у-яй!! *(Теноровый вопль удивительно смахивает на взвизг цепи бензопилы, натолкнувшейся в бревно на кованую скобу.)* Погоди, Эндрю! — обеспокоивается Санёк. — Куда мы едем?

— В банк.

— Точно! Ведь у меня в бумажке всё как есть записано, куда ехать и что купить. Я, пока в вахтовке в Жигалово ехал, её наизусть выучил, а тут что-то забыл... Эндрю, музыка есть? Включи. О, «Битлы»! *(Санёк восторженно подпрыгивает на сиденье.)* Сто лет их не слушал! Йестудэй, тра-та-та-та-та-та йестудэй! У-у-яй!!

В левом ухе начинается свербёж, словно бы туда влетел майский жук... Вот же Орфей новоявленный, лирою бы тебя по голове...

— Санёк, кричи потише! Извини, но я, как и Остап Бендер, не терплю самодеятельности.

— Да ты чо, Эндрю?! Я на Ковыкте целый месяц один в балке сам с собой толковал! Чуть не одикарел! Да я сейчас наговориться не могу! У-у-яй!!

Оглядываю своего голосистого пассажира. Занимательный субъект: лицо неизношенное, морщины едва обозначены, кожа будто разглажена превосходным кремом (таковая физиономия часто принадлежит бездеятельному чиновнику), его с некоторою натяжкой можно посчитать свежим, если, конечно, не замечать несчастный однозубовый оскал и лысину, уверенно добавляющие пару десятков лет. Надо узнать его доподлинный возраст, заодно озадачить любым вопросом: пускай говорит, но не кричит.

Шутливо интересуюсь, не молотобойцем ли трудится Санёк на Ковыкте.

— Ну, ты, Эндрю, загнул! — поражается Санёк. — Сторож я! Ты чо, не знал? Всю жизнь сторожу, ага. А начинал подметальщиком, когда мне четырнадцать стукнуло. В токарном цехе стружку мёл. — И поясняет: — Жрать-то что-то надо было.

— Почему на токаря не выучился?

Спрашиваю безлюбопытно, однако Санёк не отделяется ответом односложным.

— Я не то чтобы, но — да, как будто хотел, а мне сказали: у тебя, парень, голова не совсем в порядке. Не знаю, из-за чего так. Да мне-то чо. У-у-яй!!

— А годков тебе сколько?

— Так пенсионер я, Эндрю, уже второй год как пенсионер! У-у-яй!! — упоённо кричит Санёк, подскакивая и вертясь на сиденье за всю младшую детсадовскую группу, покуда я произвожу несложные подсчёты: $2016 - 61 = 1955$. Значит, родился он в 1955 году, в 1969 году, подростком, начал работать, причём от нужды. Это удивительно: в СССР неприкрыто неимущих или же обездоленных — как сейчас — не было, мне, во всяком случае, таковых наблюдать не доводилось. Быть может, он из детдома? Но тогда его отправили бы учиться в ПТУ, а не убирать стружку в токарном цехе. Да и на детдомовского он не походит ни распахнутым взглядом, ни повадками.

Тем временем Санёк, не подозревая, как прочно его особа завладела моими мыслями, разливается утреннею птицею: «„Так вот какая ты! А я дарил цветы!“ Так, как же там дальше-то... Ага, вот: „А я с ума сходил от этой красоты!“ У-у-яй!!» — и энергично размахивает сжатыми кулаками, отчего в салоне поднимается ошутимый сквозняковый ветерок. Пусть, недолго ему шалить — вот и банк.

— Приехали! У-у-яй!! — Санёк выпрыгивает из машины на испещрённую мелкими лужицами площадку перед банком и принимается выжидательно постукивать сапогом об сапог, переминаясь по хлюпающему гравию. Спрашиваю, не жарко ли ему в зимних сапогах. — Это здесь лето вовсю, а у нас на Ковыкте — снег по колено, — рассеянно отвечает Санёк и, ещё притопнув раза два ногою, весь словно бы замирает, выкатывает на меня изумлённую лазурь очей: — Эндрю, ты чо расслаживаешься-то? Пошли давай в банк! Поможешь — я без понятия, как из газпромовской карточки зарплату вытащить.

Делать нечего, иду за пассажиром, бормочущим: «Так, я ещё чо-то хотел... ведь вроде бы недавно чётко помнил, чо ещё-то...», боясь предположить, что ещё он не умеет делать, утешая себя надеждою, что — немногое.

Санёк внезапно останавливается, крепко и звучно ударяет себя по лбу раскрытою ладонью, вскрикивает: «Вспомнил! Надо пенсию получить!» Оборачивается ко мне, смеётся:

— Всё ништяк, мы с тобой это дело махом провернём! У-у-яй!! — Галантно распаивает предо мною дверь: — Прошу, Эндрю!

Вхожу не чинясь. Санёк бежит к банкомату, на ходу доставая из недр куртки объёмистый бумажник. Вытянув из него банковскую газпромовскую карту, протягивает мне. Спрашиваю ПИН-код, и Санёк, с интересом поглядев сквозь меня на неразличимое далёкое, спохватывается:

— А, это цифирьки-то? Где-то у меня записаны, ага... — Извлекает из бумажника паспорт, из паспорта — квадратик бумаги с четырьмя рядами чисел. — Выбирай любые.

У-у-яй!!

Женщина у соседнего банкомата подозрительно оглядывает нас. Нахмуриваясь, говорю как можно строже, что здесь не тайга — банк, учреждение даже не по деревенским меркам значительное, и если в его стенах ещё раз прозвучит вопль восторженного осла, то непреоборимая Коломбина без лишних разговоров увезёт меня отсюда; но Санёк на мою инвективу обратил внимание как на прозвеневшего мимо его уха комара.

— Эндрю, ну ты чо такой-то?! — причитает он громким шёпотом, недоумевающе и вместе с тем комически расставив руки в стороны. — У меня радость прёт из организма, а ты ругаешься!

— Не обижайся, лучше ПИН-код назови.

Санёк взглядывает на меня как на полоумного.

— Ты, Эндрю, странный какой-то! Откуда ж я его помню? У меня это... цифры в голове не застревают. Я тебе русским языком сказал: выбирай любые.

— Как скажешь, — отвечаю, набирая верхние цифры из списка. Угадываю. На балансе имеется семнадцать с половиною тысяч. — Сколько снимать?

— Всё! — командует Санёк. Небрежно затолкнув полученные банкноты в бумажник, подаёт сбербанковскую пенсионную карту. — Отсюда тоже всё снимай.

Припомнив мудрость: «Что вверху, то и внизу», набираю нижние цифры из списка, и снова угадываю. «Ну, ты прям как этот... — ликующе сопит мне в ухо

Санёк, — который сквозь карты масть видит... ну, этот... шулер — вот!» Решив почесть сие высказывание похвалою, снимаю и передаю Саньку ещё восемь тысяч. Вскричав «Ништяк, Эндрю! Погнались!», он устремляется к двери, на бегу вталкивая деньги в бумажник.

Спрашиваю, в какой магазин поехать, в «Байкал» или «Комету», но Санёк выбирает кафе «Гурман», объяснив, что хочет попить пивка, а меня угостить кружечкой кофе.

— Спасибо, Санёк. Кофе три в одном пусть господин Бжезинский пьёт.

— Ты чо, Эндрю?! Какое ещё там три в одном?! Настоящий заварят, из банки! Невозможно усмирить усмешку...

— Ты чо, не веришь?!

— Святая ты простота, Санёк, — отвечаю кротким голосом. — Завидую.

Мои слова производят на пассажира действие особое: он бормочет что-то вроде «всякое мне говорили, ага...», потирает лоб, пошмыгивает картофелиною носа; вообще глядится озадаченным не шутя. Поворотившись, ослепляет бесхитростною лазурью глаз:

— А ведь мне ещё никто ни разу не позавидовал...

Осмотрительнее надо быть с тобою, Санёк, ох, как осмотрительнее... Что тебе ответить? Может, так: мол, ты не довольствуешься малым, — ты умеешь довольствоваться ничем? Нет, пожалуй, вот так — ни то ни сё, посерединке — и скажу: мол, повода не было.

Выслушав, Санёк недоумевает:

— А сейчас-то повод какой?

Улыбаюсь насильственно.

— Никакого нет, пошутил я, понимаешь? Ты лучше глянь вон на ту кралю! — указываю на голенастую девчущку, очень кстати вышагивающую навстречу нам по противоположной стороне дороги. Санёк так и подскакивает: «Чо? Где?»

— Круп обещает быть крестьянским, крепеньким, ножки уже сейчас по голливудскому циркулю, — нагло комплиментирую воображённые девчоночки прелести, — у груди ещё всё впереди, а иноходь уже свободная, под чистопородную, ты всмотришься, — она же летит, парит, плывёт! Годика через четыре эта пигалица всех парней с ума сведёт!

Санёк высовывается в открытое окошко, взмахивает сорванной с головы бейсболкою, орёт-поёт: «Я люблю тебя до слёз!» Девчущка снисходит покоситься на него, сейчас же меняется в лице и сбивается на перепуганный галоп. «У-у-яй!!» — подбадривает её Санёк и, откинувшись на сиденье, отряхивает ладони с видом человека, исполнившего свой гражданский долг.

Нескучно с тобою, это уже хорошо.

Подъезжаю к «Гурману», предлагаю пассажиру выходить, понадоблюсь — позвонить.

— Нету у меня телефона, на чёрта он сдался! — удивляется Санёк. — Всё равно потеряю. Пойдём, Эндрю, ты кофе выпьешь, я пивка засажу. А потом в магазин поедем.

Отказываюсь от приглашения — надо работать. Однако Санёк не отступает.

— Пойдём, ну пойдём, ну чо ты в самом-то деле... — раз за разом настойчиво повторяет он и, поняв, что уговорить не удастся, ухватывает меня за руку, тянет из машины, жалобно вскрикивает: — Эндрю, не обижай!..

Таких пассажиров у меня ещё не было!

— Десять минут, не больше, — предупреждаю, и Санёк сейчас же бросается к двери, распахивает её, приглашает войти (швейцарская привычка, что ли?), шустро взбегает на второй этаж. «У-у-яй!! — раздаётся наверху. — Девоньки, красавицы, лапоньки, я вас всех люблю!» Тотчас поднимается радостный переполох: слышатся приветственные клики, воздушные поцелуи и прочие томные звуки, всегда разражающиеся при появлении запропавшего обожаемого завсегдатая. Решив про себя, что десятью минутами точно не отделаться, отключаю телефон, поднимаюсь по гулкой железной лестнице. Возле барной стойки Санёк, приплясывая и размахивая руками, галантерейно обхаживает статную волоокую барменшу и выглядывающую из кухни румяную девицу, не то официантку, не то поварику, с незатейливою грубоватостью всячески преувеличивая их женскую привлекательность.

— Эндрю, иди сюда! Солнышко, карамелечка ты моя медовая, рассыпчатая, найди-ка себе самую большую шоколадку, — велит барменше. — А моему другу, печенюшечка ты моя сдобная, забодяжь чёрный кофе, двойной, — командует покатывающейся со смеху девице. — И обязательно чтобы из банки, — налегает голосом, — и с пенкой: люблю, когда пенка сверху плавает, ага, ну, и сахару туда побольше сыпани. Так, чо ещё-то... ну, и мне тоже чёрный кофе, только смотри чтобы без сахару. Это — тебе, раскрасавица ты моя мякенькая! — напевает барменше, вопросительно наставившей палец в плитку шоколада «Алёнка». — Эндрю тоже дай шоколадку.

— Обойдусь. Не забудь, у нас мало времени.

— Ты чо, Эндрю?! Не торопись, везде успеем! Не хочешь шоколадку, давай тортик тебе какой-нибудь возьму!

— Слушай, Санёк, отвязись от меня со своим тортиком! — заявляю презлым голосом, и в это мгновение барменша выкладывает на стойку батончик «Марса», уверяя, что «его, чтоб вы знали, многие мужики покупают». Санёк требует прибавить ещё один батончик, а себе подать шесть бутылок пива «Старый мельник», непременно холодного.

Встревоживаюсь:

— Не много ли тебе будет? До машины не дойдёшь.

Кухонная девица хохочет. Барменша округляет на меня глаза:

— Вы чо такое говорите-то? Прошлый раз он два ящика выдул — и ни в одном глазу.

Не нахожу ничего лучше, как молча пожать плечами и пройти к столу подле окна, — усесться с расчётом видеть покинутую Коломбину. Вскоре ко мне присоединяется Санёк. Пальцами легко сдёргивает пробку с бутылки, быстро, но без алкогольной жадности, будто воду в палящий полдень, выпивает подряд две кружки пива, тихо выдыхает, утирает губы.

Кухонная девица, оказавшаяся официанткою, приносит кофе, два батончика «Марса».

Отведываю кофе. Оно оказалось сорта «не хочешь — не пей».

— Понужай шоколадки, — угощает Санёк. — А может, тебе мороженое взять?

Мною завладевает желание уйти, но понимаю, кажется, наступает редкостный случай, когда человек неродственный неожиданно вторгается в моё жизненное пространство — и прочно в нём остаётся.

— Тебе медбратом работать, а не сторожем.

Будто не замечая моего раздражительного состояния, Санёк со словами «это — кому-нибудь» отставляет недопитую бутылку пива, выпивает ещё три кружки и, откупоривая последнюю бутылку, говорит:

— Вот ты мне позавидовал, а ведь я в детдоме рос, ага. Хорошо там было, на Сахалине: в море купались, крабов ловили, медуз; они, медузы эти, на берегу склизкие, как комок соплей, а когда в воде — радугой так и играют, красиво... Забреду, помню, в воду, долго смотрю, как рыбки, осьминоги, морские звёзды всякие разные туда-сюда плавают и ползают; лучше, чем в этом... аквариуме. Потом мать из тюрьмы выпустили, и она меня из детдома забрала. Да, чуть не забыл, она вместе с отцом приехала меня забирать. Тут вот как получилось: когда она из тюрьмы на поезде ехала, в вагоне с отцом познакомилась; он тоже только что из тюрьмы освобождён; но всю эту петрушку я позже узнал. В общем, снюхались они, хотя отец был на пятнадцать лет матери моложе. Так, чо дальше-то было... Потом они решили пожениться, ага, и ребёнка из детдома усыновить. Приехали в наш детдом — меня им и отдали. Воспитательница, помню, привела меня за руку, показала на какую-то бабу с каким-то мужиком: «Сашенька, счастье-то какое — родители за тобой пришли!» Я уже большенький был, сообразил: врёт, ведь меня в капусте нашли, но спорить не стал — родители так родители.

Умеешь огорошить, молодец.

— Помню, как с Сахалина плыли на теплоходе, большом таком, белом, там бассейн был и кинотеатр. Потом поехали в Иркутск, к деду, потом на запад.

— На запад или на Запад?

Санёк указывает рукою на северо-восток:

— Туда, на Украину. Родня там у отца какая-то была. Поначалу было вроде бы всё хорошо — яблоки и всякие там разные груши, а потом чо-то скандалы у них попёрли; чо, из-за чего — не помню... Короче, поехали мы обратно в Иркутск. Так, чо потом-то...

Вспоминая, Санёк сумрачно цедит седьмую кружку пива.

— Зачем тебе это чёртовое пиво? — не удерживаюсь от вопроса. — Ведь незадорно пьёшь, словно тяжкую работу выполняешь.

Санёк отодвигает опустевшую кружку.

— Правда, гадость какая-то это пиво... пойду, шампусика возьму, — вскакивает, бежит к барной стойке. — Котлеточка ты моя мармеладная, ватрушечка ты моя бисквитная, дай-ка мне вон ту бутылочку шампусика! И шоколадочку, солнышко, себе не забудь! У-у-яй!!

Надо было уезжать, надо! Видел, и не раз, как после выпитой бутылки шампанского могучие на вид мужики падали, словно подгнившие берёзы в бурю... Ладно, пока занятый собеседник на ногах держится, посижу, послушаю.

Санёк бежит обратно, обрывая с горлышка бутылки желтоватую фольгу. Набулькав кружку, торопливо выпивает, кряхтит: «Хорошо!» и тут же наполняет кружку до краёв.

— Отец шофёром устроился на «газик», мать — на станцию, продавщицей в ларёк. Потом она пить начала, потом её с работы выгнали, потом она с отцом развелась, потом начала чуть ли не каждую неделю нового отца мне приводить, — продолжает рассказывать Санёк, пусто глядя на шипящее в кружке скверное пойло, на бутылочной этикетке обозначенное как шампанское. — Она, помню, была из себя красивая, фигуристая, мужики около неё так и крутились... Я этих «отцов» не запоминал — зачем? И домой из школы не очень торопился: приду, а она дрыхнет пьянувшая во всяком разном виде... Эх, да чо там говорить!.. Найду на столе чо осталось от закуски — картошку или хлеба, значит, поем; не найду — да и фиг с ним... На обедах, прямо скажу, вырос, потому на еду жадности у меня нету.

Так, чо дальше-то было... Как-то прибежал из школы домой пораньше, а в спальне ещё один отец, последний уже, дядя Володя, колотит мать дужкой от кровати. Помнишь, были такие?

Конечно, помню. Стальная дужка весом около килограмма — оружие нешуточное.

— По лицу её колошматит, по рукам, куда попало, короче, ага... Мать — в крови, и под ней, на полу, кровь — лужицами... Заорал я, в дядю Володю вцепился, он кулаком махнул — я отлетел. Вскочил... из носу капает... дунул на улицу, там как раз народу много шло. Бегу, кричу: «Маму мою убивают!» Ну, тут сразу все понабежали — и соседи, и прохожие, и милиция... Дядя Володя этой дужкой матери зубы повышибал, челюсть сломал в двух местах, ногу, рёбра, руку... Пьяные они были влохматинушку, это мать и спасло: трезвый, дядя Володя сразу забил бы её до смерти. Суд был. Мать привезли из больницы забинтованную, в гипсе, на костылях... Так она давай за дядю Володю заступаться, просила простить: он, типа, молодой ещё. Судья ей говорит: «Он же вас чуть не убил!» А мать ему: «Ничего, время придёт — образумится». А ещё она сказала, что всё получилось из-за меня, что это я во всём виноват, и если бы не я, у неё всё было бы хорошо. Ну, тут я просто обалдел, а сам подумал: «Да ну вас всех!» Короче, дяде Володе девять лет дали, а мать месяца три или четыре, чо ли, не помню, в больнице провалялась, ага. Вышла оттуда... вся красота на фотокарточках осталась.

— Как ты один жил эти три месяца?

Санёк допивает шампанское, пожимает плечами.

— Да так-то ничо вроде, совсем не по-ранешнему, ага. Соседи, пока я в школе был, печку протапливали, дров на всю зиму накололи; обедать зазывали, еды при-таскивали; я отъелся даже. В школе новую форму выдали, потом ранец, учебники, тетради, ещё пальто, шапку, шарф с варежками, ботинки — ведь у меня к зиме из одежды ничегошеньки не было. Стеснялся я тогда очень — из всей школы только мне помогали. *(Растирает лицо ладонями, встряхивается.)* Пойду-ка ещё шампусика возьму.

Вот уж дудки!

— Нет, мы едем в магазин.

— Зачем? — изумляется Санёк, и, когда я напоминаю ему, что надо купить продукты и отвезти их в гостиницу, он, вскрикнув: «Точно, продукты ведь!», нещадно бьёт кулаками себя по голове, бормоча: «Забыл, совсем забыл, ну надо же, а?»

— Пошли, — поторапливаю пассажира, — это ты можешь весь день пиво потягивать, а мне работать надо.

Санёк поднимается. Осиянный (действительно — «ни в одном глазу»), выбрасывает перед собою сжатый кулак:

— Эндрю, вперёд! У-у-яй!!

Забирает со стола батончики «Марс», суёт мне в руку: «Чо оставляешь-то?», бежит к выходу, рассыпая комплименты барменше, официантке и парочке поварих, обряженных в короткие и широкие бледные штанишки и куртки: «Ласточки вы мои белогруденькие, трясогузочки вы мои легкокрыленькие, не скучайте, я скоро к вам вернусь!» «Лети, соловей», — откликается ядрёная, щекастая повариха. «Разбойник», — прибавляет другая, персоною ядрёнее, лицом обыкновенная, и обе они басовито, вкусно хохочут.

— «Где же был я вчера, не найти днём с огнём!» У-у-яй!! «Только помню, что стены с обоями!» — с грохотом обрушиваясь по лестнице, распевает Санёк так

беспечно и весело, что невольно закрадывается подозрение о вздорности истории про сахалинский детдом, мачеху, будто бы искалеченную кроватною дужкою. — «Помню, Клавка была и подруга при ей! Целовался на кухне с обоими!» У-у-яй!!

Так и есть, нафантазировал: невозможно едва ли не плакать, через минуту ликовать.

Едва Коломбина трогается, Санёк вдруг надумывает ехать на берег реки, «посмотреть на воду, послушать, как она, голубушка, на перекате с камушками разговаривает». Согласно киваю, еду в магазин-склад «Вариант».

— Эндрю, а где речка-то?

— Позже. Запасайся продуктами.

— Ну, тогда пошли вместе, чо ли, — ворчит Санёк, — быстрее управимся.

В магазине он укладывает в тележку пятилитровую бутылку подсолнечного масла, швыряет две килограммовые упаковки мятных пряников и четыре трёхсотграммовые фруктовой карамели. Озирается: «Эндрю, глянь, где тут бич-пакеты». Не представляю себе, что это такое, потому пребываю в замешательстве.

— Ты чо, не знаешь? — удивляется Санёк и, найдя искомое, сбрасывает в тележку вороха мягких пакетиков. — Суп вермишелевый с мясом... двадцать штук возьму. О, гороховый! Гороховый — это пипец какая вкуснотища! Весь заберу. Ага, борщ... с майонезом ничо так, сойдёт; десять штук хватит. О, рассольник! Ужас как люблю рассольничек похлебать! Тоже весь заберу.

Иронически указываю на лапшу «Доширак», но Санёк отказывается: дорого.

— У тебя денег больше, чем у дурня махорки, а ты берёшь то, что подешевле, проще сказать, всякую ерунду! — упрекаю незадачливого заготовителя, намереваюсь предложить купить мясо, сало и прочие необходимые в тайге продукты, но вовремя вспоминаю о его единственном зубе. — Кстати, где список?

— Точно, была бумажка! Сейчас, сейчас... Вот она! — извлекает из паспорта сложенный вчетверо клочок бумаги в клеточку. Забираю, читаю: «Хлеб, крупа, сигареты, спички, носки, стельки, тушёнка...»

Записывал, что приходило в голову, упорядочить не догадался. Эх, Санёк, Санёк...

Скоро тележка пополняется десятью буханками вкуснейшего хлеба местной выпечки — «горбуновского», кульками с перловой, ячневой и гречневой крупами, четырнадцатью банками улан-удэнской тушёнки, двумя пачками маргарина (Санёк отказался от сливочного масла, заявив, что маргарин вкуснее), ячейкою яиц.

— Почему в списке снова «борщ»?

— Это который в стеклянных банках, там и рассольник тоже есть, — подумав, объясняет Санёк, но не может растолковать, зачем ему борщ и рассольник в пакетиках и в банках. — Да откуда же я знаю-то? — взглядывает с ребяческим недоумением, принудившим пожалеть о своей въедливости. — О, рыба! — останавливается перед выглядывающими из морозильного ларя синеватыми лучинами минтая. — Килограмма четыре возьму. Сам-то я её не ем, это Васеньке, коту, он мышей ловить не хочет, а рыбку, хитрован, любит. Хотя чо это я? откуда в лесу мыши? Я их не видел, ну, значит, их и нету, ага... А вот кедровок у нас — как грязи, но Васеньке их не достать: они, заразы, слишком высоко летают. (*Обозревает наполненную тележку.*) Так, а чо там дальше в бумажке-то?

Ещё раз просмотрев список, объявляю, что всё куплено, предлагаю сверх лимита взять плавленый сыр, паштет, абрикосовый компот, но Санёк с непонятным для меня испугом отказывается, говоря: «Ты чо, Эндрю? На кой мне вся эта фигня! Сейчас пива возьмём, тебе шоколадку — и на речку!» Напоминаю о футболках, стельках и носках, но Санёк начинает жалобно приговаривать: «Успеем, Эндрю!

Лучше поедem на речку, поедem, а?» Брюзжливо отвечаю: мол, на речку так на речку, мне всё равно, да хоть через экватор в Бодайбо, почему бы на эту речку и не съездить на полчаса, не больше. Воспрянув, Санёк прихватывает шесть бутылок своего любимого пива «Старый мельник» и, свободно неся тяжёлую сумку с продуктами, поторапливается к Коломбине. Усевшись, со словами «ужас как пить хочу!» откупоривает бутылку пива, выхлёбывает её до дна, вытирает губы рукавом куртки, счастливо вздыхает, смотрит на меня, и в его глазах появляется озабоченное выражение. «Эндрю, ты тоже пить хочешь?» Бежит в магазин и скоро возвращается с двухлитровым пакетом яблочного сока. Благодарю, чувствуя и признательность, и порядочную усталость от беспокойного пассажира.

— Погнали, Эндрю! У-у-яй!! «Издалека долго течёт река Волга, течёт река Волга, конца и края нет...» У-у-яй!! «...Среди снегов белых, среди хлебов спелых течёт моя Волга, а мне семнадцать лет».

А ведь хорошо поёт! Словами, словно копьями, прокалывает, мелодию будто из сердца достаёт, из самой души выхватывает, — слушайте, люди!

— Тебе на сцене надо было выступать, — говорю искренне, с чувством, — а не прозябаться сторожем на Ковыкте.

Санёк выслушивает меня довольно равнодушно.

— Был я на сцене, ага. Когда доярком в колхозе работал, в клубе пел. Там капитально так всё сварганено было — музыканты, хор, дирижёрша... Помню, как только она руками замашет, я к баяну прислушаюсь, глаза прижмурю — пою... — он замолкает, с прозрачною улыбкою смотрит на дорогу. Поторапливаю:

— Дальше что было?

Санёк вздыхает, сминает лоб морщинами.

— Ну, это... не знаю, как сказать... Короче, я слова забывать стал. А больше-то, — яростно рубит кулаком воздух, — из-за бабы всё получилось.

«Всё из-за бабы» — отговорка издревле академическая, старше Луны. Не верю, другая причина кроется.

— Пожалуй, с похмелья можно не только слова позабыть.

— Ты чо, Эндрю?! — разобиженно вскидывается Санёк. — Я похмельем сроду не болел! Это после аварии я чо-то всё путать начал.

За разговором Коломбина незаметно сворачивает к речке, останавливается у самой воды. Санёк выпрыгивает на берег, раскидывает руки, голосит-поёт: «Здравствуй, ре-чень-ка! Здравствуй, род-нень-кая!» Сбрасывает куртку, садится на узкую галечную косу, кряхтя, стаскивает сапоги, носки, обнажает синюшные ступни, своею наружностью, цветом и особенно забористым запашком весьма сходственные с американскими куриными окорочками, просроченными задолго до приснопамятной перестройки. «Благодатища какая, мошку твою наперекосяк, вспотеть можно, ага... — бормочет он, услаждённо пошевеливая пальцами, украшенными длинными, окостеневшими ногтями. — Зимой вечерами куковал в балке, слушал, как ветрище крышу рвёт, мечтал: попаду на речку, в воду забреду. Сейчас...» Подворачивает портки и без обыкновенных в таких случаях долгих и боязливых приготовлений заходит в воду сразу по колена. «Холодненькая... а ничо так, терпимо». Ополоснув лицо, озирается по сторонам, непечатными словами восторженно живописуя окружающие пейзажи. «Короче, просто охреневаю, какая в жигаловской дыре красотища, — огорчает моветоном панегирическую речь. — Ну, пора по пивку». Выпив две бутылки подряд, припоминает: «Чо-то такое я тебе рассказывал... а! про аварию!» — и, принявшись за третью, начинает своё повествование:

— Давно получилось, когда меня в армию забирали. Утром пришёл в военкомат, с меня документы потребовали; я пошарил в карманах — нету. Погоди, что-то не то говорю... А, ага, вот как: документы мои у них уже были, просто я эту... метрику в общаге забыл! Стою, не знаю, что делать — без метрики в армию не заберут. И тут дружок Виталька на мотоцикле подъехал меня в армию провожать. Запрыгнул я на его «Ковровец», даванул на газ до упора. Лечу в общагу, сам думаю: ерунда, успею. Я бы успел, да тут машина, что передо мной ехала, остановилась. Я тормозить, а тормозов-то у Витальки, оказывается, и нету... Начал объезжать, а там — «зилок». (*Санёк откупоривает четвёртую бутылку.*) В больнице мне голову из кусков собрали, и врачаха (терапевт или кто она там, женщина из себя вся седая, но красивая, как из кинофильма) сказала... так, ага... она много чего мне тогда наговорила, я запомнил только, что память буду терять. И правда: вроде бы только что всё помнил, и вдруг, будто в башку из двустволки стрельнут, вообще ни хрена... Умные люди посоветовали записывать на бумажку, я так и делаю.

Понятно, отчего вмятина на голове. Из «кусков» её, конечно же, не собирали, вживили титановую или другую какую пластину. Да, облапила жизнь бедолагу, обლობызала, смертник не позавидует...

— Санёк, время вышло. Ты помнишь, что нам давно пора ехать в магазин?

— Ты чо, Эндрю, опять начинаешь-то?! Наплевать, съездим куда надо! Пиво вон ещё сколько осталось! Целых две бутылки!

Надо показать ему, что даже и моё терпение имеет пределы.

— Это мне на пиво твоё наплевать! Собирайся, поехали!

Кажется, грозowymi раскатами в голосе я переувлёкся. Санёк, буркнув «поехали, чо уж там», влезает в Коломбину, угрюмисто глядит в сторону. Обращаю его внимание на оставленное пиво, выслушиваю обиженное «На фи́га оно нужно́, другому кому сгодится», забираю бутылки, и мы едем в направлении, неизвестном ни мне, ни безгласному водителю. Через полверсты решаюсь перебить чопорное молчание вопросом, не отправиться ли в супермаркет «Байкал», но Санёк избирает кафе «Гурман», до коего и допрыгиваем по колдоугробистому асфальту. Оставив Коломбину, приступаю выговаривать заранее приготовленное пожелание о необходимости незамедлительного расставания, но Санёк, не намереваясь меня выслушивать, схватывает бутылки, ставит их возле двери кафе и мчится по наружной лестнице на второй этаж. Довольно скоро наверху раздаётся изрядно надоевший вопль «У-у-яай!!», по ступенькам скатывается Санёк и, прижимая к груди ритмично позвякивающий пакет, рысит к Коломбине. Не помыслию, как поступить с горе-пассажи́ром, потому на его вопрос «Куда едем?» молча пожимаю плечами.

— Я тоже не знаю... — печалится Санёк. — Придумай что-нибудь, а?

— Командируемся в магазин за стельками, носками, футболкой и далее по списку, — отвечаю зачерствелым канцелярским голосом.

Санёк ударяет себя по лбу:

— Точно! И как это ты всё помнишь?!

— Не я, а моя голова. А твоя только о пиве и думает!

— Эндрю, ну чо ты опять как всё равно этот самый... — заводит было Санёк плаксивым голосом, но я без церемоний обрываю его нравоучительною фразой: мол, была бы моя воля, так я без промедления учинил бы над ним самосуд: поставил вон к тому забору и расстрелял солёными огурцами. Санёк широко и радостно ухмыляется, и мне тоже делается почему-то весело.

Вскликнув неизменное «у-у-яй!!», Санёк затягивает популярную сорок лет назад песенку про девушку, плачущую в будке телефона-автомата, и мы едем в супермаркет «Байкал», затем в гостиницу, где он оставляет сумку с покупками и, наконец, к реке, где он заходит в воду, долго умывается, затем выходит на берег и принимается одну за другою опорожнять бутылки с пивом. После третьей я будто бы из праздного любопытства интересуюсь, где он родился.

— Я же говорил, на Сахалине. А где именно, забыл, — отвечает Санёк просто-душно, как человек, извинительно запамятовавший безынтересную пустяковину. Советую посмотреть в паспорте. Санёк вынимает документ, читает: «Сахалинская область, город Углегорск», подумав, говорит: — Да, всё правильно. Детдом тоже был углегорский.

— Родителей помнишь?

— Нет, — флегматически отзывается Санёк, при этом с необыкновенною живостью глядя по сторонам. — Эх, костерок бы сгоношить, чайку вскипятить! — вздыхает мечтательно. — Лучше всего ночью: огонь в воде ништяково бликует, а если там ещё и луна, и звёзды отсвечивают, так это ж тридец какая красотища! И по ночам, запомни, Эндрю, рыба охренительно громко плещется! Сколь раз было: сидишь, слабенький чифирик пьёшь, на природу тарацишься... а уши расставишь, слушаешь... и вот, ага, совсем рядом ка-а-ак долбанёт! Ну, прикидываешь, килограмма на два белячок балуется или окунь, или таймень, или ещё кто, та же русалка, к примеру... А давай, Эндрю, костерочек сообразим?

Порадовавшись возможности уклониться от ненужной мне сейчас лирики, объясняю, что в пожароопасный период разведение костра даже на берегу реки чревато немалым штрафом, спрашиваю, кем ему приходился дед в Иркутске. Санёк, занятый бросанием камушков в воду и подсчётом выпекаемых ими «блинчиков», отвечает с прежним равнодушием, мол, «фиг его знает, матери, чо ли, родня», и тут же восторгается: «Ого, шесть штук вышло!»

— Где-то ещё у тебя родственники есть?

— Никого у меня нету. И не надо, я один привык.

— Что же мачеха?

— Ничо, померла, лет сорок как закопали. Тут чо вышло, как только я восемь классов закончил, меня поставили подметальщиком, стружку в цехе убирать. Не просто так — за зарплату. Сам себя кормить начал, ага. Ну-ка, ещё разок камушек кину... Ловко, восемь «блинов» испёк! Так, чо я ещё не рассказал-то... А, вот, я же в Шелехово в ПТУ на сварщика учился, ага, жил в общежитии (козырным тузом кайфовал: своя кровать, тумбочка своя, белая простынь шампунью пахла!), а она в своей иркутской квартире обиталась, бухала по-чёрному.

— Как же она одна с дровами управлялась? Соседи помогали?

— Ты чо, Эндрю? Второй этаж, отопление, газ, какие ещё дрова!

Похоже, квартира раздвоилась.

— Откуда взялась благоустроенная квартира?

— Ту, что с дровами, мать вроде бы как продала, а ту, что с газом, то ли купила, то ли ей дали... Короче, не помню чо-то. Ну, я приезжал к ней кой-когда... она или пьяная, или — если вдруг трезвая — молчит, косится. Бичё всякое около неё кучковалось. Как-то приехал, смотрю, дверь другая, новая. Звоню. Вышел здоровенный дядя, фиксатый, в наколках. Спросил его, где мать. Он на меня морду вылупил, говорит: «Очухался, фраерок! Мы её уже похоронили». Стою, даже не знаю, чо и сказать... Дядя дверь захлопнул. И, слышу, замкнулся. Я подумал: «Да пошли вы все!» — и ушёл.

Ай да Санёк! Убрался восвояси от мачехиной квартиры, захваченной уголовниками. Убрался, не взглянув на свидетельство о смерти мачехи, не спросив у «здорового дяди» документы, не посмотрев прописку, не обратившись к участковому с просьбой выяснить, кто, на каком основании проживает по такому-то адресу...

— Поздравляю, Санёк! Ты — носитель вируса совершеннейшей наивности, а это похуже лихорадки Эбола. Не смотри на меня, дыши в сторону, не приближайся, не вздумай наступить на мою тень. Уяснил?

Санёк замирает, выкатывает на меня лазоревые глаза:

— А чо... ну, это... так это, выходит, квартиру я мог себе забрать?

Нет охоты ни сердиться, ни смеяться. Молча киваю головою, думая, это, конечно, хорошо, что пассажир оказался не пустобрёхом, но лучше бы он всё придумал.

— Ведь тогда ещё была у меня мысль про эту квартиру!.. — возбуждённо восклицает Санёк. — Потом забегался чо-то, забыл, потом жениться надумал... Так, чо потом... чо же, чо же... Ага, вот, передумал, на фиг эту Люську! Потом всё-таки на ней женился, ага... Так, чо ещё было-то... Вспомнил, где-то так через полгода сбежал от этой Люськи — всё ей, стервозе конопатой, денег было мало... Потом опять мысль пришла... — задумывается, вяло взмахивает рукою: — А, да ну их, связываться с ними, бандюгами!

Непритворно вздыхаю:

— Эх ты, Санёк-мотылёк, небедовая головушка...

— А чо это я мотылёк-то?

— Ты порхаешь в пределах даже не одной минуты — одной секунды...

— В самую точку заколотил! Я такой и есть! — перебивает Санёк с горячим одобрением в голосе, и после моего выговора за его нежелание заглянуть хотя бы в завтрашний день заливается насмешливым хохотом: — Ну, Эндрю, ты как брякнешь чо-нибудь! Завтра — когда ещё будет!

Действительно, когда ещё будет, будет ли...

Предлагаю сторожу-философу попытаться заглянуть в завтра, раскрываю перед ним вероятную перспективу его скорого увольнения: нынешний российский работодатель убеждён — срок физической и профессиональной пригодности работника заканчивается гораздо раньше момента назначения ему пенсии, а потому следует не дожидаться настоятельных требований кадровиков написать заявление об увольнении, а заранее позаботиться о своём трудоустройстве, к примеру, сторожем в магазин, на пилораму или ещё куда-нибудь.

Санёк взглядывает искоса:

— Да ты чо, Эндрю?! Какое ещё, на хрен, увольнение? Начальство меня знаешь как ценит! Ведь я и за сторожа работаю, и за дворника, и за сварщика, и на разных работах, ага. За туфтовые семнадцать тысяч! Да какой дурак на такие копейки позарится?!

Напоминаю, позарился не кто иной, как он сам. Санёк располагает себя в позе весьма привольной: раскинувшись, упирает кулаки в широко расставленные колени, подрагивает небритыми щеками, сверкает взором и надменно вещает, что сторожем трудится едино обязанности ради, а другие работы выполняет, «если начальство хорошенько попросит, потому как если захочу — расчищу снег или заварю или приварю там чо-нибудь, а если не захочу — пальцем не пошевелю. Да они там, на Ковыкте, без меня, как без поганого ведра, не обойдутся!» Живёт не в тесноте, как остальные работяги, а в «личном балке».

— Это мой офис, — похвально Санёк, — там даже камин электрический есть, ага. Когда уволюсь, балок заберу. — Замечает моё непотаённое недоверие, злится: — Чо ты, не веришь мне, чо ли?! Начальство конкретно наобещало: балок — твой! Не отдадут добром — силком могу, — оглядывается боязливо, шепчет: — Знаешь, Эндрю, а ведь я — бандит.

Посмеявшись, возражаю:

— Ну, тогда я — балетмейстер.

— Не веришь, чо ли?!

Отвечаю, что его физиономией даже мышей не напугать, и Санёк, молвив: «Это — да, не страшный я какой-то...», никнет плешивою головою; оттопыренные уши пламенеют на солнце, будто печалются над горькою судьбинушкою своего хозяина. Жаль его, нужно для отвлечения отпустить какую-нибудь непритязательную остроту.

— Гляжу на тебя — и нос чешется... К чему бы?

Санёк меланхолически разглядывает свои босые ноги, потому отвечает не вдруг.

— Это к непогоде... — поворачивается ко мне, вонзается расширившимися глазами. — А чо, действительно могут запросто уволить?

Утешить, немедля утешить!

— Ни в коем случае — начальство тебя ценит.

Санёк выдыхает свистяще, словно пробитое пулею колесо.

— Так и я про то же говорю! У-у-яй!! — спешно обувшись, вскакивает на ноги. — Эндрю, погнали куда-нибудь! Во, придумал — в магазин за пивом!

Рекомендую купить бутылок двадцать водки, вылить в ведро, хлебать через край — это проще и дешевле. Санёк категорично заявляет, что предпочитает шампанское и пиво, после чего я принуждённо выслушиваю его путанный монолог о нелюбви к водке, коньяку и всякому вину, особливо, напиткам неблагородным, вроде самогона, браги и одеколону. Монолог обрывается у прилавка обращением к дебой продавщице дивного послебалъзаковского возраста: «Солнышко, дай я тебя в лобик поцелую!» «Ты, придурок, чо городишь-то? Так только покойников целуют», — возражает продавщица. «Тогда в губки», — не смущается Санёк. «Наклонюся — подходи сзади, целуй сколь влезет, — снисходительно дозволяет продавщица. — Не торчи зазря, — суровеет голосом, — давай покупай чо-нибудь и чеши отсюда». — «Ах ты, ёкарный бабай! Перец с чесноком, а не женщина! — восхищается Санёк. — Дай-ка ты мне, мяконькая ты моя, шесть бутылок „Старого мельника“». Забирая пиво, нахально оглаживает взглядом кустодиевские обводы продавщицы, изъявляет желание побороться с нею на сеновале. «Сдурел, чо ли? — дивится соблазнительница поневоле. — Куда ты, злодей тохачкий¹, лезешь? Навалюся — титьками задавлю». Наскоро объяснив продавщице, что казановствующий квазимодо сегодня приехал из тайги, отсюда и несдержанность языка и желаний, выслушав ответ «А то я сама не вижу!», волочу к выходу незадачливого ловеласа, шипя ему в ухо: «Ты даже представить себе не можешь, как очертенел... сейчас же в гостиницу!» Очутившись в Коломбине, Санёк бросает под ноги пакет с бутылками, горестно вздыхает: «Эх, не с кем выпить!», высунувшись в окно, кричит солнцу и прохожим: «Отдайте праздник!», затем, как-то враз утомившись, требует отвезти себя в кафе «Гурман». Показываю фигу, спрашиваю, когда ему надлежит возвратиться на Ковыкту. Санёк вытаращивает глаза, вскрикивает: «Блин, варенье с мясом! Меня вахтовка ждёт в четыре часа!» — «Где?» — «Да в

¹Тохачкий (диалект.) — маленький, невзрачный.

гостинице же!» Автомобильные часы показывают 15:58. Застоявшаяся Коломбина радостно взрывается, рвёт с места; стрелка спидометра бодает цифру 100. «Из-за тебя, поганца, правила нарушаю!» — перекрикиваю неистовый бутылочный дребезг. «Пятый день с покоса еду, сена нет, дрова везу! Эндрю, газуй! У-у-яй!!» — надсаживает глотку Санёк, тыча кулаками во все стороны, заставляя меня волноваться за жизнь видеорегистратора, прилепленного к лобовому стеклу. Через две долгие минуты Коломбина тормозит около вахтового «Урала». Санёк схватывает пакет с бутылками, мчит к нему, крича на ходу: «Эндрю, корефан, пока! У-у-яй!!» Нелицемерно машу вслед, уповая на неблизкую встречу, не ведая, что состоится она скорее, нежели боюсь предположить.

На исходе второго месяца, когда Санёк почти отошёл из памяти, звонит женщина, спрашивает, действительно ли она «попала в такси „Друг“». После утвердительного «да» в трубке раздаются шуршащие звуки, крик: «Эндрю, это я! Жду! У-у-яй!!», вновь шорох, и женщина — убеждён, голос её мне известен — интересуется, заберу ли я «дядю Сашу». Справляюсь, куда именно приехать. «Кафе „Гурман“», — приподнято, распевно (вероятно, именно так в позапрошлом веке кучера провозглашали: «Ресторация „Яр“, вашество-с!») объявляет женщина, в коей бесповоротно признаю волоокую барменшу. Обнадёживаю явиться немедленно, и вот уже Санёк, непрерывно тараторя «Эндрю, корефан!», донимает объятиями, покушаясь на дружеские лобзания, но «брежневская» демонстрация подобных чувств произвольно настораживает, потому отвечаю нелюбезностями. Санёк (едва ли он меня услышал) прижимается полыхающим плешивым черепом, широчайше при этом улыбаясь; его глаза увлажнены лазоревым умилением. Отстраняюсь насколько возможно, спрашиваю, куда поедем.

— В банк! — кричит Санёк. — Потом обратно сюда, кофеёк пить! У-у-яй!!

— Значит, пива уже упился, на кофе потянуло, — отмечаю нарочито высушенным педагогическим голосом, и Санёк, весело ухмыляясь, соглашается, что «с утра выпил всего-то бутылок шесть или десять, кто их там считал». Едем. Санёк безумолчно болтает и поёт, я же измышляю план пристойного избавления от докучливого пассажира. Скоро решение, простое как рогожа, найдено: привезу его в банк, кафе, затем уеду как будто на заправку — и пусть себе пьёт в одиночестве.

Но дело не заладилось — пенсия не перечислена, а из трёх ПИН-кодов для газпромовской карточки, не прежней («Глянь, Эндрю, новенькая. Круто, да?»), два оказались неверными. Спрашиваю, почему три ПИН-кода вместо одного. Санёк разводит руками: «Я не в курсах, это бухгалтерши с цифирьками чо-то понапорол». Объясняю, что если и третий ПИН-код не сработает, карточка заблокируется. «На сутки, понимаешь?» Санёк топчется у банкомата, обеспокоенно бубнит: «Чо делать-то, а, Эндрю?» Пожимаю плечами: «Искать настоящий ПИН-код». Санёк перетрясает паспорт, выворачивает карманы, выгоревшую тряпичную кепчонку — заветного ПИН-кода нету. «Вот же, блин, компот с соляжкой... Ну, хрен с ним, набирай последнюю цифирьку». Напоминаю о возможной блокировке карты, но Санёк с видом человека, отжавшегося на отчаянность, отмахивает рукою: «Нннабирай!» Набираю — карта блокируется. Санёк оцепеневает, лицо наливаясь румянцем, весьма напоминающим песчано-глинистый раствор, небритые щёки судорожно подёргиваются...

— Да как же так-то! — кричит приёмному устройству банкомата. — Ты чо творишь-то, а?! Отдай карту, козлина!

Пора вмешаться, иначе будет скандал.

Вытесняя пассажира на крыльцо, приговаривая, что всё это — чепуха, всё обойдётся, и прочие слова, какими обыкновенно утихомиривают детей или пьяных. Санёк, не слушая, глядит пред собою; его губы искривляет недобрая усмешка.

— Раньше свои кровные копейчонки получить — как нехер делать... а теперь... — задыхнувшись, замолкает, набирает в грудь воздуха, клокочет: — Напридумывали, сволочи, ПИН-кодов разных!

Вдруг он едва ли не бегом устремляется через дорогу, к столбу линии электропередачи, вбивает кулак в его бетонный торс, отозвавшийся коротким гулом, поворачивает обратно. «Поехали в „Гурман“, чо ли», — невозмутимо говорит, подходя к крыльцу. Гляжу на него, гадаю: был хруст во время удара, или его поторопилось услышать моё воображение? Нет, всё-таки хруст был, должен быть.

— Едем в больницу: у тебя перелом руки.

— Не сочиняй, ничо у меня не сломано, — уверяет Санёк и для убедительности живо сжимает-разжимает кулак и шевелит пальцами (удивительно, на костяшках не наблюдаю ссадин и других повреждений). — Ты думаешь, я так первый раз, чо ли? Ха! Когда подопрёт ненастроение, засандалю разок-другой в стену балка или кузов самосвала, оно и проходит без всяких там пургенов и парацетамолов.

Доказательно излагает, но не для меня. Настаиваю ехать в хирургическое отделение, на всякий случай сделать рентгенограмму кисти руки. Санёк надувает губы: «Эндрю, ну чо ты опять цепляешься-то? Поехали лучше в „Гурман“». Соглашаюсь, и скоро наглядно удостоверяюсь: Санёк по-прежнему молодецки срысывает пробки с бутылок. Прodelывать этaкое и здоровою рукою затруднительно, потому совершенно успокаиваюсь.

Допив последнюю кружку пива, Санёк оглядывает пустое кафе, предлагает съездить на речку и, не ожидая ответа, кричит барменше:

— Мяконькая, дай ещё шесть бутылок пивка! Пенсию получу — отдам!

Барменша величественно подбоченивается, выпевает-ручыт:

— Не так давно, дядя Саша, здесь бичевьё всякое за твой счёт гуляло-веселилося, а теперь — даже ушам своим не верю — здра-асьте вам... Вправду денежки закончились или прикалываешься? (*Санёк ёрзает на стуле, морщится: «Подумаешь... ну, угостил малость...»*) Ни хрена себе — «малость»! — вздыбливается барменша. — Прекрасно помню, без каких-то несчастных копеек — семь тысяч! И это — только на пропой! Ты Кольке, скотине косорожей, зачем пять тысяч займы дал? (*Санёк смотрит на неё, словно вопрошая: «Что за станция такая?»*) Ить каждая собака знает: Колька долги не отдаёт! Я тебе подмаргивала, кулаком даже грозила — не вздумай дать деньги! Да куда там, хаханьки одни!

— Ему, это... нужно было... — проямливает Санёк. — Ну вот, я и выручил, ага, — говорит уже укрепившимся голосом. — Как же человеку не помочь?

Лицо барменши освещается сочувственной печалью.

— Ты, дядя Саша, совсем дурак, или чо ли? (*Санёк — олицетворение человека, оплошно растопившего пeч лотерейным билетом, выигравшим квартиру в Иркутске.*) Ведь смотреть противно, как тебя разводят на бабки все кому не лень, а ты как всё равно звезданутый — ничо не соображаешь! — барменша, переведя дух, обращается ко мне: — Ить совсем замучилася по-хорошему и по всякому-то ему объяснять, да толку-то — поит-кормит всех подряд! Короче, — повёртывается к Саньку, — не дам пива, и не проси! Кстати, ты не забыл, что сегодня уже набрался в долг на... сейчас гляну, у меня всё записано... на шестьсот сорок восемь

рублей? Так что, дядя Саша, завязывай давай с этой пьянкой. А если уж очень выпить хочешь, я тебе чаю бесплатно налью.

— Вот такое тебе большущее спасибочко за чай, сливочная ты моя, но лучше выкати четыре бутылки... ну, всего-то-навсего три... ну, хрен с ним, хотя бы две... ну чо тебе, мармеладная, вкусненькая, одну жалко, чо ли... — умильно созерцая непоколебимую барменшу, заводит Санёк бесконечную, петлистую, как сибирский большак, песнь попрошайек. — погоди! — вскрикивает вдруг радостно. — Дай-ка бутылку! Нет, давай две. Стоп, на хрена мне две, давай три. Нет, три маловато... четыре! Да не бойсь, шоколадная, Эндрю забашляет, ведь он же мой корефан!

Барменша, немало поражённая его словами (я — тоже, но молча вынимаю бумажник), медленно выговаривает зыбким голосом: «Ну, как-то даже и не знаю...», раздумчиво поводит модельными плечами, затем, молвив словно бы самой себе: «Хотя, разобраться, мне-то какая разница?», устанавливает на стойку четыре бутылки «Старого мельника».

Санёк залпом выпивает кружку пива, улыбается тихо, просветлённо. «Похоже, ты удовлетворён вполне», — говорю без неодобрения, и Санёк, несколько раз кряду согласно мотнув плешивою головою, наполняет вторую кружку. Выпив, кряхтит, утирает губы рукавом выгоревшей джинсовой куртки. «Охренительно, блин...» — окутывает меня лазоревою благостью глаз.

— Расскажи, Санёк, что тебе нужно для счастья?

Вопрос ребячески наивен, но моему визави он таковым не кажется.

— Ничо мне не надо, всё у меня есть, — отвечает безраздумчиво, категорически. — А-а, ты про деньги, чо ли? — прищуривается с неожиданной снисходительностью. — На кой они? Хотя совсем без них — тоже как-то не в кайф... — Коротко задумывается. — Я тебе так скажу: много их ни к чему, ага. Так, чо ещё... Жить у меня есть где, так чо ещё надо-то?

Быстро выговорился. Подбодрю-ка я тебя иронией.

— Это ты про ковыктинский балок с камином и котом Васькой?

— Да я, если хочешь знать, — ухарски поглядев на меня и подбочениваясь, начинает Санёк горделивую речь, — своим бабам две квартиры отдал! Первую, это ещё в Шелехово, — Люське, вторую, уже здесь, — Светке. Из первой сам ушёл, ага. Во вторую как-то под осень с Ковыкты приехал, а там уже другие жительствоют. Здрасьте, пешком ехали — приплыли! Ну, я им, конечно: «Чо такое? Светка где?» На меня вылупились, говорят: «Мы квартиру месяц назад купили, можем документы показать. Хозяйка, понятное дело, манатки собрала, отвалила куда-то. Она, кстати, паспорт позабыла, возьми, если твой». Ну, чо ж... дело уже к вечеру, а я торчу на улице как этот самый... ни трусов чистых, ни носков на сменку, без ничего вообще, паспорт да сигареты в кармане. Постоял, подумал — попёрся к знакомым ночевать. — Санёк опустошает бутылку пива, ожесточённо стучит кулаком по столу: — Как эта хитрозадая Светка словчилась квартиру продать, если она на меня одного приватизирована была, хрен её вообще знает!

Как ты сам не догадываешься, вот уж, действительно, чёрт тебя знает!..

Спрашиваю как бы так, между прочим, кто занимался приватизацией квартиры.

— Так Светка по исполкомам носилась, кто же ещё-то? — отвечает Санёк. — Где-то в начале девяностых квартиру мне дали от предприятия, это я точно помню: в ордер я был вписан, не кто-нибудь. А Светке чо-то аж засвербило её приватизировать... Тут я как раз на Ковыкту выехал, она сама нужные справки собирала, а чо ей — безработная, детей нету, свободного времени навалом. Квартиру на меня

оформила. «Теперь ты над квадратными метрами хозяин». Так и сказала, и бумажки какие-то показала с печатями.

Мною вдруг овладевает смех...

Пытаюсь сдержаться, сдавливаю челюсти, нахмуриваю брови, в пожарном порядке считаю про себя: «Раз-два-три...», но уже на цифре «пять» загнанный глубоко внутрь хохот буквально вышибается наружу, и притом ещё и с неприличным бульканьем и присвистом. «Что ты ржёшь-то?» — удивлённо спрашивает Санёк, но я не могу остановиться, и вот уже и он сам начинает улыбаться и тоненько подхихикивать, уморительно блестя при этом своим единственным жёлтым зубом... Мы посиживаем и, глядя друг на друга, превесело хохочем. Барменша поглядывает с некоторым неудовольствием, словно мы воплощаем собою правую сторону бухгалтерских счетов; представляю себе, какие смятенные мысли вынашиваются в её не по-деревенски элегантно убранный головке...

Отсмеявшись, говорю, что невпопад вспомнил анекдот про Чапаева. Санёк сейчас же заинтересовывается: «Какой? Расскажи!» Не поборник я анекдотов, нечего вспомнить, проще измыслить что-нибудь незатейливое.

— Прискакал Василий Иванович в Жигалово, спрашивает, где Санёк.

— Да ты чо?! — ахает герой анекдота.

— Жигаловские заинтриговались: «Зачем он тебе, Василий Иванович?» А Чапаев грозно так отвечает: «Если эта белогвардейская шукура сейчас же не побежит в банк за пенсией, я ему башку срублю!»

Санёк, едва выговоривши «Ну, Эндрю, ты как дунешь чо-нибудь!..», широко растворяет пустой рот и щедро рассыпает вокруг себя сочные баритональные хохотки.

Похоже, мы забавляем друг друга — это грустно.

— Чо ты ржёшь-то? — обезьянничаю прилежно. — Живо собирайся, поехали твою пенсию получать. Или Чапаева дожидаться?

— Шесть секунд! — кричит Санёк. Торопливо выхлебав четвёртую и последнюю бутылку пива, бежит к выходу. — Эндрю, погнали! У-у-яй!!

Подъезжаем к банку.

— Знаю, где найти Светку, — говорит вдруг Санёк, за дорожку слова не проронивший, — да только зачем? Пошли ей бог побольше счастья, — шепчет, обмахивая куртку частыми мелкими крестиками и несуразно кланяясь, быть может, своему божку. — Баба, чо уж там, она хорошая была. Паскудливая, это правда, но — хорошая.

Обманивается волоокая барменша. Не дурак ты, братец, всего лишь (или же — вероятнее всего) неистовый толстовец, но этого я тебе не скажу. Лучше проделаю вот что: сниму пенсию, отдам — и делай с нею что хочешь, сам уеду.

Замысел удаётся как нельзя лучше: мы свободны — я и Коломбина!

Поздним вечером, когда я намеревался отключить телефон, — очередной вызов. «Эндрю, это я, — глухо слышится обеспокоенный голос. — Ты, это... ехай к банкомату».

Похоже, мотылёк влетел в переделку... Обещаю быть через минуту, жму на газ.

Санёк переминается возле дверей банка. Поодаль от него безвестный субъект в нахлобученной на оттопыренные уши бейсболке усердно обозревает вымазанный в белёсо-канареечный цвет трёхэтажный улей районной администрации, словом, не то ротозей, не то соглядатай.

Завидев меня, Санёк, нелепо приплясывая, приседая и размахивая при этом руками, спешит навстречу, ухмыляясь чересчур просторно и чуть вредливо.

Подбежав, уставляет лазурные глаза, расфокусированные, подёрнутые мутною хмельною дымкою, без пролога запрашивает «тысячи три или пять, или сколько дашь, ну вот просто кровь из носу как надо». Мысленно вынимаю журналистский блокнот, приступаю к расследованию, краем глаза наблюдая, как субъект с видом совершенно рассеянным начинает передвигаться к стоящему на выезде из площади хлебному киоску, затем заворачивает за него и через мгновение оказывается уже на улице Горького.

Между тем выяснилось удивительное. Получив пенсию, Санёк направился в кафе «Антоника», где увидел проезжего парня, печально созерцающего пустой стол. Скажите, какое отечественное простолюдинское сердце не обомрёт, увидев столь душераздирательную картину? Какая неиноземная мещанская душа, жалея, что нет на столе ни борща, ни жареной курицы, ни хотя бы пирогов с капустою, не промокнёт сочувственную слезу рукавом или фартуком? Какая новорусская изнеженная рука, покоровшись мгновенному пароксизму старозаветного прекраснодушия, не выдернет из пиджачного кармана увесистый бумажник? Санёк сейчас же заполонил стол сверкающими бутылками и простыми питательными закусками. Выпив и отужинав, парень поведал о своей горести: в далёком камчатском посёлке его нежно любимая невеста спозналась со столичным студентом; нужно немедленно спасать будущую семью — «он говорил, да я не помню точно, брюхатая его невеста или уже родила. С работы на Ковыкте, где он горбатился на бульдозере, его хоть и отпустили, но зарплату не дали, сказали: ты чо, денег нету, откуда им взяться?» Парень приехал на попутках в Жигалово, а как будет добираться до родной Камчатки, совершенно не представляет. И вот он сидит в этом кафе без копейки в кармане, даже спички купить не на что, и горюет... Расчувствовавшись, Санёк отдал ему все свои деньги, после чего парень вышел покурить, а на его нагретый стул присел другой — «не помню, откуда он взялся», и, непринуждённо ужиная и выпивая, рассказал, что в затерянной где-то в мордовских захолустьях деревеньке пока ещё живёт его смертельно больная старушка-мать; денег на лекарства у матери нет — «ты чо, откуда? едва на хлеб хватает», — и ему на Ковыкте, где он полгода вкалывал вальщиком, зарплату не выдали, сказали: жирно будет, обойдётся; и он пешком в сибирскую жару, заживо сжираемый ордами комаров и мошкар, сто двадцать четыре километра плёлся до Жигалово; на каких перекладных будет добираться до своей мордовской деревушки, не знает, где раздобыть деньги на лекарства для матери, даже смутно себе не представляет, но слышал: мир не без добрых людей... Растрогавшись, — «ты чо, меня слеза прошибла!» — Санёк сейчас же предложил ему свою помощь: пенсию.

— А на карточке — пусто-ноль... забыл совсем, башка дырявая, что пенсию сегодня уже получил... вот же, блин, кисель с горчицей... и тут меня будто по башке долбануло, про тебя вспомнил, ага... — пританцовывает вокруг меня этот не то дураковствующий, не то блаженный. — Эндрю, корефан, дай тысяч десять, надо помочь хорошему человеку! Ну так чо, — теребит за рукав, — дашь?

Не замай — субъекта, мнимого вальщика, заглатывают густеющие сумерки. Поспешает к напарнику, сиречь подельнику — «бульдозеристу»? Впрочем, уже всё равно.

— Помочь, говоришь? Что ж, я готов. Где он?

Донельзя обрадованный, Санёк со словами «Да вот же!» оборачивается указать своего протеже, по-бабьи плещет руками: «Куда делся? Ведь только что тут был!» — и беспомощно озирается по сторонам. Гляжу, как в наивной лазорево-

сти его глаз трепещутся хрустальные капли, и буквально удерживаю себя за язык, дабы вгорячах не нагородить частокол из необычайно уместных, но — увы! — бесполезных бранных слов... Поворачиваюсь спиной к незадачливому благотворителю, иду к Коломбине.

— Эндрю, — голос дрожит недоумением, — куда ты?

Приостанавливаюсь.

— Работать, куда же ещё. А ты разыщи доброхота, тебе это просто: свояк свояка видит издали, попроси тысяч тридцать на билет до Сахалина. Опосля посидим в «Гурмане», будем пить (ты — пиво, я — кофе) и вышучивать ещё одного доверчивого идиота.

Досадую на себя — последнее слово произнесено напрасно. Следовало выразиться стилем изворотливым, эзоповским, — глобализационным, когда оскорбление оскорблением назвать нельзя, например, вот так: «...простосердечного партнёра», или же ещё перекрученное, до абсолютной якобы бессмыслицы, вот так: «...неопалимого партнёра», попросту говоря — клинического... Но что этот «клинический» кричит?

— Эндрю, а я?!

Действительно, что с тобою, болезным, делать? Впрочем, довольно раздражаться, настала пора пошутить, или, как нелепо сейчас выражаются, приколоться.

Приглашаю ничего не подозревающую жертву розыгрыша в Коломбину, включаю зажигание, но двигатель не завожу. Наигравшись педалью тормоза и кнопками климат-контроля, с отчаянием провинциального трагика схватываюсь за голову: «Чёрт возьми, кажется, приехали!..» — и обвиняю пассажира: мол, это всё из-за тебя!

— Чо, чо из-за меня? — испуганно лепечет Санёк. Вытаращиваю на него глаза, рывкаю:

— А то, что машина померла! Посмотри — на панели всякие разноцветные штуковины светятся! Это от твоей наивности аккумулятор разрядился!

Санёк едва не плачет.

— Эндрю, чо теперь делать-то?

Молодец, превосходный вопрос!

— Умнеть, вот что! Если пообещаешь избавиться от барского обыкновения швыряться деньгами налево и направо — машина заведётся. Не пообещаешь — не заведётся.

— Правда? — спрашивает Санёк с любопытством. После моего утвердительного ответа вскрикивает: «Гадом буду!» — и размахивает кулаками. Не спрашивая, что сие означает, доворачиваю ключ зажигания, и Коломбина отзывается откровенно сардоническими похохатываниями стотридцатисильного двигателя. Санёк привскакивает, распаивает сияющие восторгом незабудковые глаза — вылитый детсадовский мальчонка, впервые увидевший вправдашнего Деда Мороза в тулупе, обшитом кумачовым ситцем, обклеенном фольговыми снежинками и ватной бородой, подвязанной под взопревшей физиономией раскормленной воспитательницы.

Заготовленный смешок увязает в горле...

— Хватит дурака валять, поехали! — говорю намеренно грубым голосом, отгоняя вдруг постукавшуюся мысль: «Сентиментальничаю... это уже старость». Брр! Само звучание этого слова омерзительнее прикосновения занавеси заржавленной чердачной паутины...

— Куда едем? — разгоняет Санёк начавшие сосредоточиваться безотрадные думы, за что я ему безмерно благодарен. А вот куда ехать, следует поразмыслить, хотя, когда выбирать особо не из чего, надобно ли затрудняться...

— В «Гурман», куда же ещё.

Санёк вяжется с пьяными нежностями: «Эндрю, корефанушка ты мой родненький! Как это ты догадался!» Решительно пресекаю его поползновение на изъяснение чувств и уже по дороге в кафе принимаюсь исподволь выведывать разгадку изумительнейшего прекраснотушия, весьма странного в человеке, должного, как многие и многие вокруг, озлобиться на всё живое после стольких оглушительных оплеух судьбы. «Как это? Ты чо! Да я всех люблю!» — отмечает Санёк мои домыслы, и на вопрос: почему? — отвечает, что «люблю — и всё тут, чо ещё объяснять-то, не пойму». Не удовлетворившись ответом, продолжаю расспросы, и Санёк, запинаясь, подсобляя себе неистовой жестикуляцией, рассказывает:

— Видишь небо? Я его люблю. Видишь луну? Я её тоже люблю. Солнце люблю и дождь, и траву, и ветер, и рыбу в реке, ага. Даже мошку люблю. А чо? Она ведь живая, и тоже жить и жрать хочет, как ты или я. Деревья люблю. Прижмёшься ухом к стволу кедра, а он гудит себе полегонечку, рассказывает чо-то; а сила от него... вот прямо всеми печёнками чувствуешь, что такая от него страшная сила прёт... даже не знаю, как её и назвать. Постоишь так, послушаешь — и носишься потом весь день и совсем не устаёшь, будто от высоковольтного кабеля подзарядился, ага. Когда услышу, как деревья валят, в организме всё корёжится, будто это меня самого заживо перепиливают... *(Санёк нахмуливается, его лицо перекашивает судорога.)* На букашку какую-нибудь посмотришь — бежит-торопится по своим делам, никому ничего плохого не делает; бурундук туда-сюда шмыгает — и ведь никому дорогу не перебегает; медведь идёт, важный, как начальник участка, и тоже никому не мешает; птицы вон как быстро летают, а я никогда не видал, чтобы они в воздухе сшибались. Короче, движуха в лесу та ещё, а тесноты, что странно, в нём нету, ага. Как-то так в природе всё охренительно толково устроено *(Санёк в замешательстве вертит перед собою ладонями, сложенными в подобие земного шара)*, не то, что у нас. Короче говоря, не нашими мозгами придумано. Человек, он... — Санёк задумывается, затем наклоняется ко мне, шепчет: — Я вот чо иногда думаю: мы здесь лишние, как всё равно в рассольнике гаечный ключ. Ведь, разобраться, только гадить умеем. Посмотришь по сторонам — лес растёт, и вроде бы полно его, а за сопками одни пеньки торчат. Зачем его вырезали, для чего, для кого? Человек — тварь паскудная, не ради жизни живёт, а ради денег, из-за них всё вокруг себя гробит. Вот посмотришь, потерпит нас природа, потом психанёт — и вытряхнет, как крошки из кармана... Эндрю, ты не подумай, людей я тоже люблю, — спохватывается Санёк, — хотя жалко мне их. Дерево никому не вредит — и живёт тысячу лет. Прикинь, если бы человек жил столько же? Да вокруг уже была бы эта, как её... пустыня Сахара! А мы все давно передохли, как мамонты. А, да чо там вообще говорить!.. — машет рукою Санёк и, заметив, что Коломбина дремлет подле кафе, вылезает и молча взбирается по лестнице на второй этаж. Без обычного ёрничанья заказывает пиво и, выпив подряд две кружки, долго глядит в угол.

Решаюсь расстроить общее молчание мятежным размышлением: мол, а хорошо бы властям предрежающим головами обо что-нибудь твёрдое поизряднее удариться. Санёк взглядывает на меня, безмолвно спрашивая: зачем? Объясняю: некоторые индивидуумы собственным примером убедительно доказали: оное за-

нятие надобно для приобретения разума. Санёк, буркнув: «Херню какую-то городишь», наливает вторую кружку и, то приближая её к самому носу, то отставляя, изучает вздувающуюся пивную пену.

— Я, было дело, посоображал, чуть черепушка не треснула... — говорит, задумчиво глядя на лопающиеся грязно-жёлтые пузыри. — Скважины везде насверлили, чтобы газ выкачать, а через них вода под землю уходит, из-за этого и реки обмелели...

Перебиваю:

— Так вот почему вода в Жигалово наполовину дурная, наполовину привозная! Ну-ка, сознавайся, кто заставляет тебя заниматься неумеренной благотворительностью и прочими благоглупостями, короче говоря, кто в твоей голове скважины сверлит?

Санёк озирается на пустые столы, наваливается грудью на стол, устремляет палец вверх, шепчет таинственно:

— Эндрю, мне кажется, это они говорят, чо мне делать.

Запрокидывается на спинку стула, глядит ненасмешливо, с необъяснимой строжинкою в взбаламученной лазури глаз.

— «Они» — это маленькие зелёнькие человечки? — справляется за меня зажившийся во мне (но, в отличие от меня, похвально нерастерявшийся) корреспондент районной газеты.

— Не знаю, я их не видел, — сожалеюще произносит Санёк, — но это они, это точно.

Знатно затаился, ниотколь тебя не выцелить...

Вцепляюсь в ускользящие зрачки своего визави:

— Ты раздаёшь деньги первым встречным коварным краснобаям. Но, как сейчас говорят, это твоя проблема... Меня интересует побудительная причина. Скажи, что ты испытываешь в мгновение «человеколюбивого» поступка? Восхитительный зуд в пятках? Очаровательное коловращение промеж ушей? Говори, не молчи!

Санёк бурчит невнятные словеса: мол, раздаю да и раздаю, тебе-то чо, — и, прихлёбывая из кружки, пространно рассуждает о помощи людям, которые, «если чо, тоже подмогнут, если не мне, так кому другому, ага». Спрашиваю, часто ли ему помогают, но Санёк, занятый сдиранием пробки с бутылки, будто не слышит. Добро, допеку тебя с другого боку.

— Куртка зимняя у тебя хорошая, тёплая. Может, отдашь?

— Забирай, для корефана ничего не жалко, — промолвливает Санёк небрежно, будто угостил прохожего сигаретою, и на вопрос, где раздобудет другую, отвечает, что до зимы ещё далеко, а когда она наступит, «на Ковыкте без базара выдадут другую, делов-то, или куплю; тоже мне, нашёл о чём переживать». Непрошибаемое простодушие! Так ему и говорю, но Санёк меня или не услышал, или не понял. И вдруг осеняет догадка... правды ради, не ошеломляющая первородностью мысли.

— Ты, Санёк-мотылёк, последний «совок»! — заявляю торжествующим голосом. — Тебя надо посадить в стеклянную клетку и предъявить архипросвещённой Европе. Вообрази, — начинаю увлекаться, — ты рассказываешь педерастам, трансеститам, лесбиянкам, мигрантам и немногим обычным европейцам о необходимости безотлагательного запрета однополых браков, о любви и дружбе, справедливости, социальной ответственности капитала, безвозмездной, по обыкновению ныне почившего Советского Союза, помощи страждущим и прочих неудоб-

бопонятных для них категориях, и время от времени возглашаешь: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Туристы, зеваки и прохожие сбиваются в толпу; она любопытничает, ширится, напирает; ты швыряешь в разъявленные рты бурлящие праведным гневом лозунги «Мир — народам!», «Хлеб — голодным!», «Земля — крестьянам!», «Заводы — рабочим!», «Глобализаторов — к стенке!» (*Санёк кричит рот, смотрит беспокойными глазами.*) Успех, не сомневайся, будет бешеный. Доход от показа, как автор идеи, забираю себе. Похороны за мой счёт, — сообщаю с демонической (хочется надеяться) улыбкою. Санёк словно бы с неохотою встречается: «Какие ещё, на хрен, похороны?» — Чудак! Твои, конечно. Европейцы — не мы, у них самая настоящая свобода, потому парабеллум может оказаться у любого зрителя. Дня через два или даже ещё раньше тебя пристрелит какой-нибудь обкуренный араб. Радуйся — ты умрёшь за демократию.

Пробувнив «Что-то мне нерадостно как-то...», Санёк пьёт пиво безудовольственно, будто чай со льдом. Не выдерживаю, начинаю хохотать. Санёк зевает в кулак, тихо вздыхает:

— Шутковал, значит... А я чуть не подумал, что у тебя крыша поехала.

— Не дождёшься, накрепко приколочена, — отвечаю как можно твёрже и продолжаю говорить заунывным голосом, коим отличаются наезжие агитаторы от как будто бы партий или общественных движений: — Тебя, последнего натурального «совка», чрезвычайно полезно показывать беременным женщинам, интеллигенции и прочей отечественной общественности, потому настоятельно ходатайствуй персональную залу в Иркутском художественном музее или сцену Иркутского же драматического театра, или любого другого, кроме, разумеется, анатомического... Небезосновательно уверен: после лицезрения и прослушивания тебя дети будут рождаться просветлёнными, общественность сделается покладистой и прогрессивной...

Голова Санька клонится к плечу, синь глаз омрачается бутылочной прозеленью. Насилу выговорив «Ага... оно, конечно...», зевает во весь рот. «Коломбина зажала: баиньки пора. Поехали в гостиницу» — с этими словами довольно-таки неаккуратно волочу его со стула, но Санёк вдруг оживает, словно размороженный головастик, супротивничает: «Ты чо, Эндрю, какая, на хрен, гостиница! Не, я ещё посижу». Встряхнувшись, растирает ладонями лицо, голосит своё «у-у-яй!!» — и через мгновение, освежённый, блистает глазами и радостно оскаливает свой единственный зуб. Напоминаю, до гостиничной кровати придётся прошагать два километра с немалым гаком, но Санёк лишь ухмыляется и отвечает, что уж кому не привыкать к продолжительным пешим прогулкам, так это ему — когда одолевает бессонница, может «всю ночь запросто шараться по посёлку или по тайге, ага». Что ж, твоя взяла, оставайся.

...Стою около Коломбины, гляжу, как головёшки заката дотлевают на макушках приземистых сопков, тропа Млечного Пути расплосовывает болотистые тучки-кочки, мохнатые звёзды мигают спросонья, луна... А вот с нею сегодня явно что-то не так. Это забавно: она смахивает на Санька, такая же полная, беззубая и немножко навеселе.

...Предосеннею порою знобкие августовские утренники исподволь обмарывают первыми жёлтыми пятнами и разводами листья и травы, обветривают, выдубливают их недавно нежную кожу в тончайший пергамент, проявляют ветви и стебли до проволочной упругости, летнее мечтательное перешёптывание листы низводится до неотзывчивого деловитого шелестения. Приговарываясь к долговому

зимнему забытию, деревья и кусты начинают словно бы отъединяться от собратьев, отчего поздней головеточной осенью леса и парки удивительно сходятся с привокзальной платформой, где в ожидании поезда пассажиры маются вместе и порознь одновременно. Вот и попробуй угадать, то ли мы неосознанно руководствуемся природою, то ли она ёрнически нас передразнивает, то ли мы с нею образуем единый и несколько бездушный механизм...

Санёк звонил не однажды. «Эндрю, приезжай, ну приезжай, а?» — кричал он в трубку, но я тотчас же отвечал, что, мол, занят так, что и не продохнуть, непременно приеду как только смогу, короче говоря, моей беззастенчивой лжи мог позавидовать иной политический деятель регионального изготовления. Конечно, я поступал скверно, однако замечу, осенняя меланхолия может меня извинить, к тому же короткое общение с наивностью, возможно, и хорошо, даже полезно, но наивность откровенную, отворенную до неприличия, даже непродолжительное время вытерпеть совершенно невозможно. Наверное, я не прав... да что там, конечно же, не прав, но я и на толику не толерантен и совсем не жених, который в волнительный момент обмена обручальными кольцами, чувствуя, как по ноге ползёт что-то мерзкое, гусеница или мокрица, должен стойчески удерживать на лице выражение совершенно неизъяснимого счастья.

Кажется, я убедил себя в своей невинности, и довольно об этом...

— Давайте подъезжайте побыстрее! — вопиёт из телефона паническое крещендо волоокой барменши. — Тут дядя Саша уже весь мозг вынес! Поторопитесь! Да уж придётся...

Санёк посиживает на своём излюбленном месте у окна, разгневанно взирает то ли на вспрыснутые недавним дождём стёкла, то ли на зябкие шиферные и металлические крыши домов и столпившиеся внизу лесовозы. Пожалуй, его лицо может успешно иллюстрировать броуновское движение: брови изламываются и подпрыгивают, на скулах трепещут желваки, нос вздрагивает, разворачивая приплюснутый кончик в разные стороны, щёки и даже уши приметно подёргиваются, ладони мечутся по столу, едва не опрокидывая пивные бутылки, пальцы то сжимаются в кулаки, то отбарабанивают сумбурный и нервный ритм.

Шумно отодвигаю стул, сажусь, нарочито громко здороваюсь. Санёк перебрасывает на меня бешеные глаза, рычит: «А-а!...» — и снова уставляется в окно.

— Рассказывай.

Зябко вздрогнув плечами, Санёк выдыхает: «Люди злые какие-то...» и, замолчав, крепко играет желваками. Через минуту-другую советую ему повествовать потише, иначе оглохнуть недолго. Весь содрогнувшись, Санёк ударяет кулаками по столу:

— Чо тебе рассказывать-то?! *(Ошалело взирает на бутылку, будто пятилетний мальчуган на вдруг разрядившийся планишет.)* Уволили, на хрен!

Выждав, осторожно замечаю, мол, мнится мне, что заявление об уходе было написано под влиянием нетрезвого или какого иного неустойчивого момента.

— Блин, сказано же тебе, что не писал я никакого заявления! — взъярившись, кричит Санёк, при этом брызгая слюною так удачно, что мне приходится далеко отодвинуться от него вместе со стулом. — Вчера приехал на Ковыкту, мастер ласково так мне говорит, что я здесь уже не работаю, что приказ пришёл, и что бухгалтерия уже расчёт на мою карточку закинула. Ну, тут я просто обалдел! Ни хрена себе, лапша с болтами!

Перебиваю:

— Ты приказ этот видел, читал?

— Да не показали мне его! — Санёк заносит было над столом кулак, но, как-то сразу сникнув, повествует, что заглянуть в приказ не догадался. «Не допёр я, понятно тебе? — удовлетворился устным изложением. — Чо толку от приказа, если на моё место другого назначили! — снова закипает Санёк. — Мастер, гнида мелкая, махом подсутился, своего племянника пристроил! Погоди-ка, погоди... А-а, вот зачем он ко мне всё подъезжал-подкрадывался, увольняться предлагал! — несказанно изумляется Санёк собственной догадливости и вдруг переходит на тихий, проникновенный шёпот: — Ты, в уши мне дул, уже старенький, ты больной... Да я ж тебя!.. В рот пароход!.. Порву козла на лоскуты!

Санёк сжимает кулаки, вскакивает, озирается с видом насколько зловещим, настолько потерянным. Успокаиваю его, что мастера здесь нет, он далеко, на Ковыкте, разумно не злобствовать попусту, а, пока пиво не поспело нагреться, все-сторонне обсудить проблему трудоустройства. Иной раз официальные обороты действуют успокоительно — Санёк плотно садится на стул, смотрит выжидательно. Предлагаю ему откомендоваться руководству оптовых баз, магазинов, кафе, но Санёк, поморщившись, справедливо опасается, что его «как нефиг делать, ещё и грузчиком, и дворником припрягут». Остаётся последний вариант — пилорамы. К моему немалому удивлению, Санёк возглашает: «Точняк!» — и объявляет, что мы едем к его знакомому, который для него «в доску расшибётся, ага».

Знакомый моего визави обретается в доме, непрезентабельном для Подмосковья, здесь непреложно значительном. Потоптавшись возле него, набравшись духу, Санёк просачивается через широкую и высокую кованую калитку, и скоро (я сигарету не докурил) выскакивает с криком «Эндрю, ништяк! У-у-яй!!» Захлёбываясь, упоённо выкладывает новости: он принят сторожем на пилораму, смена сегодня в ночь! Сейчас мы поедem в банк за пенсией и расчётными деньгами, потом в кафе, потом...

— Потом видно будет! Эндрю, погнали! У-у-яй!!

Множество вопросов так и просятся с языка, но Санёк отзываться не расположен: голося «„Ах любовь, ты любовь, — золотая лестница!“ Короче, шизгалес!», размашисто действует руками и даже притопывает ногами в такт. Унимаю неумеренные восторги требованием действовать незамедлительно, поскольку скоро заступление на дежурство, усаживаю его в Коломбину, везу в банк.

Пенсия и расчёт составили сумму, едва превысившую сорок две тысячи рублей. Пенсию — восемь тысяч — вручаю Саньку, но расчётные деньги снимать отказываюсь. Он пробует возмущаться: «Эндрю, отдай мои бабки!», но, выслушав разъяснения, что «это НЗ на чёрный день, заглашник, понимаешь?», легко примиряется, говоря, что «оно, конечно, да мало ли чо завтра грохнет-лопнет... свой запас карман не оттянет, ага» и прочие на удивление рассудительные слова. Довожу его до кафе «Гурман», оставляю у входа и отправляюсь по вызову в отдалённую деревню, предварительно взяв с него слово вести себя по возможности благоразумно и не опоздать на дежурство на пилораме. Санёк обещает, ведь он «не чокнутый какой-нибудь, а до пилорамы топать хрен да ни хрена, вон её отсюда видать... короче, Эндрю, всё будет путём». Охотно надеюсь, пренебрегая взбодрившимися сомнениями...

Санёк звонит через два дня, просит подъехать к кафе «Антоника», увезти его на работу. Приезжаю, заранее уверив себя в печальном исходе, и не обманываюсь: Санёк, всю дорогу застенчиво помалкивавший, выбравшись из Коломбины,

признаётся, что денег у него нету. «Куда подевались, вообще не знаю, — разводит руками, отчаянно корча оправдательные гримасы, нервно утрамбовывая потрёпанными кроссовками густую глинистую грязь, обильно удобренную опилками, обломками досок и прочим древесным мусором. — Хотел взять пивка, а барменша сказала, что карточка у меня пустая. Ты чо такое городишь-то, ей говорю, есть денежка, как это — нет ничего? Ну, да разве бабе чо-нибудь докажешь... Короче, без пива остался, ага». Санёк бубнит ещё что-то, но меня занимает мысль: как он сумел за два дня опустошить газпромовскую карточку? «Как только ты уехал, я с ребятами встретился, — просвещает Санёк. — Земляки, с Сахалина или откуда-то рядом. Понятное дело, сразу — в банк... Эх, и гульнули!» Он, жмурясь, улыбается, а во мне пробуждается небывалая злость...

— Погуляли?! — срываюсь на крик (*Санёк, недоумённо моргая, отступает к сторожке*). — На тридцать четыре тысячи?! Ты!.. твою!.. — путаюсь в бранных словах, досадуя на себя за неумение соорудить из них нечто доступное уразумению. — Ты хотя бы соображаешь, что без денег остался?!

— Ты чо, Эндрю, совсем меня за дурачка держишь, да? — дребезжит Санёк плаксивым тенорком. — Я хлеба успел купить, тушёнки три, чо ли, банки, ещё пачку чая, сахару целый килограмм... — Осёкшись, проверяет карманы куртки, вздыхает нетяжко: — Нет, ну чо ты будешь со мной делать! Зажигалка есть, а про курево, башка дырявая, совсем позабыл... Дай сигаретку.

О, вот он, миг злобного торжества!..

— Сигаретку?! Не олигарх, траву покуришь... вон её сколько... под заборамиросло! — задыхаясь от внезапно овладевшей мною тяжёлой дурноты, говорю оторопелому Саньку, но своевольная Коломбина тут же рвёт с места, скандально бренча подвескою, выносит меня с территории пилорамы на дорогу. А жаль, очень уж хочется прямо высказать в лицо (да физиономии, чего уж там, а ежели совсем попросту — в морду) этому, чтоб его... всё, что я думаю о таких вот мотыльках, беспечно трепещущих салфеточными крылышками над клокочущим адом жизни... Ничего, пусть, подлец этакий, помельчит единственным зубом ржаные сухари, похлебает не пиво, а колодезную водицу, покурит не «Золотую Яву», а крапиву, полынь и прочую дикорастущую деревенскую флору, ну а я буду хохотать над ним и над такими же, как он... О! как же громогласно и глумливо я буду хохотать!..

Руки сами выворачивают руль — и вот, немало себе удивляясь, еду обратно в сторожку, скрежещу железным голосом ошалело взирающему на меня Саньку: «Придушить тебя, поганца, мало!», вталкиваю ему в руку пачку сигарет, на слезливое «спасибо, корефанушка, родненький!» отвечаю заледенелым молчанием, но, уходя, уже за порогом, зачем-то обмолвливаюсь, мол, когда обстоятельства ударят в лоб (что ударят — и не сомневаюсь) — звони. Одним словом, совершеннейший анекдот да и только...

Неделю спустя на эту же пилораму привожу гастарбайтеров, пятерых меланхоличных китайцев. Передав их переводчику, пройдошистому пареньку без очевидных признаков какой-либо национальности, одинаково смахивающего на китайца, турка и обитателя планеты Нибиру, подъезжаю к воротам, перегороженным радостно ослабляющимся Саньком. Беспреданно восклицая «Эндрю, корефан!», он распахивает дверцу, намереваясь вырвать меня из объятий Коломбины. Приговаривая сказать решительное «нет», однако весьма скоро, подталкиваемый руками и горячечными возгласами «Эндрю, не обижай!» и «Ты чо, Эндрю, у меня уже чай вскипел!», оказываюсь в сторожке.

Осматриваюсь. Сторожка, уныло-казённая снаружи, внутри глядится вполне жилою комнатою: у порога — печка-буржуйка, с трёх сторон обложенная кирпичом, фронтально — кровать, застеленная ветхим одеялом, в углу висит антикварный рукомойник, возле него на гвоздике — не заляпанное кухонное полотенце, на оконце ветерок, свободно пронизывающий хлипкую раму, раскачивает ромашки на занавеске, колченогий самоделковый стол застелен вымытой клеёнкою, словом, во всём видна непритязательная, но радетьельная рука.

— Ты это, падай давай на табуретку! — Санёк суетливо выдвигает из-под стола изделие, художественно сколоченное из обрезков горбыля. — Вот чайник, заварка, кружка, сахар, конфеты бери!

Поднимаю крышку маленького заварного чайника: полужиденькой заварки (один мой знакомый, любитель чифирия, сказал бы: «В натуре — моча младенца!») — едва на четверть. Сахар обнаруживается на доньшке литровой стеклянной банки; рядом притаились две карамельки. В углу стола разместились чугунная сковорода с остатками картошки (изжаренной, судя по запаху, на многократно употреблённом растительном масле), бережно уложенная в целлофановый пакет начатая буханка чёрного хлеба и жестяная посуда, расставленная по определённому хозяином ранжиру. «Этакую опрятную бедность даже аскезой назвать нельзя», — думаю про себя и улыбаюсь.

— Рассказывай, как живётся-можетя.

— Блин, да ты чо, я лучше всех живу! — начинает бахвалиться Санёк, но его прерывает царапанье в дверь и требовательное мяуканье. — Васенька пришёл! Это не ковыктинский, местный, — объясняет Санёк, впуская раскормленного чёрно-белого кота, — он в первую же мою смену притаился, весь грязнуший, до того худуший, что рёбра торчали, будто не из посёлка, а из Бухенвальда прибежал, ага. Зацени — моментом отожрался, любо-дорого глядеть! Сейчас, Васенька, я тебя рыбкой накормлю. — Наложив куски минтая на тарелку, ставит её перед котом, удовлетворённо внимает урчанию, хрусту разгрызаемых косточек, приговаривая: «Наголодовался, бедняга... лопай давай...» Поворачивается ко мне: — А ты чо это чай-то не наливаешь?

Отговорившись нехотением, прошу продолжать.

— Да так-то оно вроде бы и ничо так, вот только китайцы достали, — повествует Санёк уже без прежней бодрости. — Зовут меня «дядя Саса». Так, про чо это я толковал... Ага, вспомнил! Они, узкоглазые эти, тупые, кошмарики просто! Погрузчик поднимает стопу досок, а они под ней стоят, рты разевают... А если стопа на них шмякнется? Кричу им: «Вы, мордозадые, чо тут растопорчились-то?! Ну-ка, чешите, на хрен, по сторонам!» Щурятся на меня: «Дядя Саса, твоя савсема ли сунь синь дзе дунь...» Может, и не так говорят, но как-то вот так, ага. То ли они дураки, то ли обкуренные — и не врубишься с маху-то... А-а, Эндрю, я понял! Они сранья чаю напьются, шары вытаращат — и на пилораму, и пашут без всяких перекуров до самого до обеда; лапшичку — чо там жрать-то, не пойму! — похлебают, опять — чай, и вкалывают до самых до потёмок. И никакой это не чай, — шепчет, пугливо косясь на дверь, — а наркотик какой-то, я серьёзно тебе говорю! Они его в магазине не покупают, из Китая привозят. Предлагали мне как-то выпить этого хитрого чаю, так я сразу в отказ: хренушки, им говорю, этот самопал сами пейте, я лучше из своей пачки настоящего листового заварю. — Сморщивается, машет рукою: — Да тьфу на них на всех! Я утречком ворота открою, вечером закрою — всего-то и делов... *(Мельком оглядывает свой скром-*

ное жилище, пригорюнивается.) На Ковыкту хочу, — шепчет, глядя перед собою остановившимися, вдруг повлажневшими глазами, — там у меня балок свой и вокруг лес, а не брёвна с досками; белки, бурундуки, не китайцы всякие. Да и Васенька меня уже заждался. (*Протяжно вздохнув, обмирает в позе роденовского «Мыслителя».*) Никто его не накормит, никто тефтелькой не угостит, сам в тайге пропитаниемышкует... чего доброго, филину в когти попался... разорвал он моего Васеньку...

Тихо поднимаюсь с табурета, отступаю к двери. Очнувшись, Санёк немедленно хватывает меня за руку, призывает остаться, поговорить, выпить чаю. Заверив его, что при случае непременно загляну на пилораму, а сейчас мне пора ехать, выхожу к заждавшейся Коломбине. «Вот уж действительно — компот с соляжкой...» — говорю вслух и направляюсь в супермаркет «Байкал», где беру пачку чёрного байхового чая, конфеты, сахар и мятные пряники. В сторожке Санёк, опасливо держа пакет подале от себя, будто я вручил ему не презент, а неразорвавшийся снаряд, запинаясь, спрашивает: «Эндрю, так это ты чо... ты это мне, чо ли?» Ответствую довольно грубо: «Нет, себе!» — и тороплюсь выйти вон, поскольку отнюдь не желаю прослыть добрым самаритянином, к тому же не терплю чувствительные и прочие сентиментальные минуты.

...Вот и подкралась неожиданная пора сибирской осени... Где-нибудь в Апрелевке ещё прогуливается разморённый позднесентябрьскою жарою белобрючный да сарафанный народ, изнеможенно обмахивается панамками и бойко кушает эскимо, а здесь уже иней серебрит траву и полузамёрзшую дорожную грязь, лужи затворяются корочкою льда, вьюжистый ветер обрывает с отходящих ко сну деревьев оставшиеся жухлые листовенные флажки и, хохоча, высыпает за ворот перья колкие снежинки...

Санёк сидит на кровати, сгорбившись, свесив руки, бездумно глядя на пристроенный в углу веник; в его глазах плещется лазоревая печаль. Оглядывая сторожку, замечаю — когда морозы под пятьдесят ударят, зачоченеешь в этой собачьей будке. Санёк молчит, тихо посапывает застуженным носом. «Оконце заложил, всё-таки теплее будет», — советую ему и обещаюсь привезти подходящий по размеру кусок пенопласта и баллон монтажной пены. Санёк хранит непоколебимое молчание, похоже, сберегает слова, словно солдат маховку. Поеду, утомился твою болтовню выслушивать, сообщаю, вставая с табурета, но Санёк оставляет моё решительное намерение без внимания. Переведя взгляд на прилипанный к стене сторожки плакат, в советское время непристойный, в сегодняшнее — зауряднейший, тихо выдыхает: «На Ковыкту хочу...» Нешумно отступаю к двери. «Там у меня балок свой, камин, и Васенька, поди, совсем уже меня заждался...» Выхожу на крылечко, закурываю сигарету. «Никто его не накормит, даже сухариком не угостит... разбегутся угощать, ага, куда уж там...» — пробубнивается через щелястую дверь.

Притопывая утеплёнными китайскими калошами на крохотном пятачке между столом, печкой и кроватью, победоносно блистая глазами, несколько нелепо, но воодушевлённо взмахивая руками, Санёк напевает: «На Ковыкту! на Ковыкту! У-у-яай!!» Заметив меня, останавливается, вскрикивает «Асса!» и пулемётно отбивает чечётку. Рукоплещу артисту, спрашиваю причину радости. «Еду, еду, еду на Ковыкту, ля-ля-ля!» — распевает Санёк, отплясывая невообразимое поппурри из гопака с лезгинкою. Пробудившийся во мне журналист требует детального рассказа. «Да чо тут рассказывать-то? — отмахивается Санёк. — Работать еду! Прямо

завтра с утра! У-у-яй!! Берут меня, с руками и ногами берут, понимаешь? Ведь я — ты чо, Эндрю, забыл, чо ли?! — и сторож, и сварщик, и повар, и плотник! На Ковыкту! Завтра! Ты чо, да это ж, блин, конфеты с маслом! Эх, да чо там говорить! У-у-яй!!» Топнув ногою, лихо вскидывает голову, пускается вполоуприсядку, голая: «На Ковыкту, на Ковыкту, ля-ля-ля, тра-ля-ля!» Пытаюсь выведать, по белой или серой схеме предлагают ему работу, но Санёк меня не слышит, мысленно и едва ли не телесно он уже на Ковыкте, где его поджидает «балок с камином (включишь его — и сразу — япона ж твою мать! — теплотища-то какая!) и Васенька; обязательно надо ему минтая привезти, ну и себе продуктишков прикупить, ведь пожрать там ни хрена нету...»

Весною еду на вызов, посматриваю на первые тонкие ростки травы, уже начавшие пробиваться из едва оттаявшей сверху земли удивительные нежной зеленью, кажущейся ненатуральной, чуть ли не бутафорской, бок о бок с тяжёлым грязно-серым снегом, прочно залёгшим в низменных и затенённых участках. Кажется, уже вдосталь насмотрелся на такие диковинки, пора их уже попросту не замечать, но почему-то, сколько себя помню, столько и поражаюсь неужённой тяге к жизни, неискоренимо заложенной в природе, человеку и во всём, что ни есть сейчас и долго будет ещё на Земле...

Внезапно праздность мыслей пресекает мужик, недалеко впереди меня шагающий по обочине дороги. Коренастый, коротконогий, походка у него приметная, вперевалочку... Так это же Санёк, и никто другой! Ага, попался, бродяга!

Поравнявшись, всматриваюсь — и вижу неведомую физиономию с косо прорезанным злым ртом и жёсткими, цепкими глазами.

Попервоначалу спрашивал барменш в кафешках, не заходил ли Санёк. Отвечали: «Чо-то давненько не заглядывал» или: «С прошлой осени не видели». Спрашивал бомбил. Нет, никто из них Санька не видел и не возил. Это странно... Да на Ковыкту ли он уехал?

Сейчас снова зима, а Санька нет как нет.

А вдруг да увижу его где-нибудь? Нагоню, крикну: «Привет, Санёк!», услышу в ответ: «Эндрю, корефан! У-у-яй!!»

Быть может, вот сейчас и увижу...



ВАЛЕНТИНА ЕРОФЕЕВА



Стирая грань меж счастьем и бедой

* * *

Измучились и ночь и тишина
От несвобод словесных оболочек.
И опустело место у окна,
И будничная музыка слышна,
И сердце болевых лишилось точек.

И мир утих и съёжился у ног.
И стало пусто, тускло и свободно.
И не манят к себе те сто дорог,
К которым мог шагать, не чуя ног.
И всё бывшее кажется бесплодно.

И чёрно дерево. И мёртвый лист.
И холодом луна дарует властно.
И горизонт без зорь. И не лучист.
И равнодушен. И ненужно чист.
И всё бывшее кажется напрасно.

ЕРОФЕЕВА Валентина Григорьевна родилась в Оренбуржье. Поэт, прозаик, критик. Печаталась в журналах «Москва», «Наш современник», «День литературы», «Поэзия», «Брега Тавриды», «Дон», «Гостиный двор» и других изданиях. Генеральный директор и выпускающий редактор газетно-журнального издания «День литературы». Автор трёх книг. Живёт в Подмоскowie.

Но первый луч и первый лёгкий звон,
И первое воздушное молчанье
Стеклись по капельке со всех сторон —
И ожил мир. И в музыку влюблён.
И на столе дымится чашка чая.

Ожиданье

Озвученные каплями дождя	И разнося встревоженные волны
Бесшумные шаги струятся слепо	Угаснувшей в бессилье тишины.
И формируют ожидания слепок,	Терпением ожиданье полно.
Не прикасаясь, мимо проходя.	И миражи достоинства полны.

* * *

Прикосновения твои
Подобны
Прохладе листьев,
Шелестящих над зноем пепла,
Ещё вчера лежавшего
Бесформенной,
Уставшею от ветра и дождя
Угрюмой кучей хвороста и дров,
Нарубленных с размаху
Жадной жизнью
И позабытых нечаянно
Стеречь опушку леса
От солнца и ветров.

Прикосновения твои,
Спалившие дотла
Тот жалкий хворост,
Теперь печально и прохладно
Шелестят над ним
Мелодию погибших грёз.

Прикосновения твои...

* * *

Поэт — ума лишённый человек.
Он равен воздуху над крышей,
Босой земле и ощущениям выше.
Поэт — ума лишённый человек.

А вы — разумны и великодушны,
Спокойны в меру, в меру же важны.

И ваши руки, ваши души
Необходимы всем, нужны.

Своим покоем и доверьем силе,
Своей простой, нормальной красотой
Вы уважение — не заслужили —
Завоевали крепкою рукой.

Но не обидьте святости доверья
Безумца, возомнившего себя
Распахнутою в небо дверью,
К которой приглашает вас, любя.

* * *

Журча, звенит сухая ночь...	Им невозможно крикнуть «нет»,
Но дай Бог силы превозмочь	Их невозможно растоптать
Её разломанный поток,	И раздавить, и расшвырять
Испепеливший мой порог,	По свету пеплом пустоты.
Лишивший сна, лишивший сил,	Звени, сухая ночь... И ты
Отнявший всё, что ты любил,	Достойна утренней зари,
Воспевший пустоту и мрак	Но душу мне не разори.
И вперивший свой тёмный зрак	Не трогай. Пощади меня.
В остатки отражённых лет.	Дай насладиться светом дня.

* * *

Несуетная тишь, невиданная гладь,
Быть может, даже Божья благодать
Намоленного домика
вдруг снизошли ко мне,
И тени мягкие колышутся в окне,
Чтоб тайной росчерка улечься на ковёр
И воскресить забытое с тех пор,
Как помню я себя.
А время, ненавидя и любя,
Раскручивает звёздную спираль,
Но не уходит по привычке вдаль
По проторённо Млечному Пути,
А медлит, медлит — не спешит уйти.
И зависает вдруг над головой,
Стирая грань меж счастьем и бедой,
Ушедшим и стремящимся ко мне,
Дождём скользящим шелестит в окне,
Врачуя искажения души, —
Пред вечностью блаженной не спешит.

* * *

Старая пьяная баба упала.
И рядом с дорожкой, где я гуляла.
Интеллигентно, чинно гуляла,
Воздухом чистым вечерним дышала.
А старая пьяная баба — упала.

Но может, не старая — просто больная?
И может, не пьяная — просто такая?..
От жизни от этой многих шатает,
По жизни по этой многих болтает.

Руку мне женщина тянет во тьме,
Руку за помощью — прямо ко мне.
Больше-то не к кому — я да она,
Да над дорожкой светит луна,
Только что юркий ночной «ястребок»
Нос ей дельфиний приделал и бок.
Глазом смешливым туманным глядит —
Горе и смех невесёлый с людьми.

А старая пьяная баба — упала.
И рядом с дорожкой, где я гуляла.

Да, она старая — лет сорока.
Да, она пьяная — грязны бока,
Грязна рука, подвернулась нога.
Ну настоящая баба Яга!..

Зубы сцепив, её тяжело тащу.
Мёртво схватилась, прилипла к плащу,
Что-то там шепчет в бессильном бреду:
«Дочка, родная, прости, не дойду.
Пьяная дура!.. Прости ты меня,
Что не хватило мне светлого дня,
Чтобы добраться. Вон там я живу, —
Тычет клюкою направо ко рву. —
Там у меня уж готова постель...»

Мерзкая осень. И скоро метель...

* * *

Собака я. Живу — в чужой норе
В глухом лесу и вдалеке от дома.
Нора пуста и для одной огромна,
И холод в ней собачий в сентябре.
И в августе. И круглый год...
И вообще всё задом наперёд

В чужой и странной этой стороне.
И здесь никто не знает обо мне,
Да и на родине давно уже забыли.
Там — память солнце выжгло,
Здесь — дожди
 разломанность тоски размыли
И ранам не дают зажить.

Сюда лелеять я их прибежала,
Но небо мрачное здесь с самого начала
Навязывает ритм иной:
Размыт слезами он
 и смешанный с тоской.

...Ах, милая, да хватит выть и ныть.
Сегодня солнце. И пора простить
Всех любящих тебя.
И всё должно зажить
И лёгкостью прощальной воспарить,
Хоть и собачью — эту жизнь любя.

Ночь

Прозрачен, призрачен и прочен	Подпитывает мягкой негой.
Свет снега под моей ногой.	И далеко ещё до дня,
Ещё он чист и непорочен,	
Неприкасаемо — другой.	Который вытопчет и вытрет
	О душу чистую сапог.
И опрокинутое небо	И воспаряю, чтоб увидеть —
Ночным томлением маня,	Любовью переполнен Бог.

* * *

Застыла в онемении и боли
Растерзанная русская душа.
Всё воинство, бесстыдное и злое,
Обглаживать накинulosь, спеша,
России тело, плотоядно воя
С экранов, содомистски голубых,
О новом рае, о ковчеге Ноя,
В который понатискать бы своих,
Помеченных цифирью разложенья;
А остальных? — им место там, на дне...
Всё замерло, застыв в изнеможенье
В уставшей от предательства стране.

«Народ безмолвствует...» То ль не рождён,
То ль с пулею во лбу — юродивый

С отнятою копейкой. Храм освящён —
В бетоне и стекле. И вроде бы
Благое это дело. Но спешно,
Слишком спешно он произрос
На тине и грязи. Усмешка
Строителя кривила рот.
Он вольный каменщик —
И оттого смешливый.
Захочет ли Творец наш терпеливый
Спасителя как Сына Своего вернуть,
И станет ли Он Сам
защитной сенью храма?..
В густой тяжёлой мгле России путь.
Но занавес пошёл. И без антрактов драма.

1999

* * *

Уходит боль из правого виска, И мир теплеет. Новорождённо чистая доска Восторгом млеет, Предчувствуя каракули любви — Весенней блажи. Неважно чьи — чужие иль свои, Почти неважно.	И тесный мир притянут и объят Души распахом. Немного жаль, что все, конечно, спят, И не услышать ахов По поводу спирального витка И обновления... Лишь на закате — тлеют облака Тоской смятенья.
---	---

Владимирскому собору
города Киева

*Я — немощь, нищета.
Бог — сила моя.*

Так долго ждать неожиданной этой встречи,
Не знать о ней, не ведать и в веках.
И вдруг застыть, на миг лишившись речи,
И воспарить в летучих облаках.

И вот тогда с небес голубоглазых
В кружение крыл, в восторге нищеты
Вдруг всё понять и воскресить всё сразу,
И истину поникшей красоты

Костром пылающим раздуть в безбрежность,
И источиться нежностью души,
И содрогнуться ощущением прежним
Любви, веселья, счастья, чистоты.

1986



СЕРГЕЙ СТАХЕЕВ



Затмение

КОРОТКИЕ СКАЗЫ

Добыча ко Дню рыбака

По речным мочажинам, по заливным луговинам, по любой поствесенней мокряди от Урала до Владика растёт лилийка. Мало кто знает, что эта травка — лилия. Да и зачем сибиряку такую дребедень знать! Он знает, что травка, пахнущая чесноком, знатная закусь. Вон смотри, под разлапистой пихтой сразу три пучка по полтинничку. Собирай, не забудь пару-тройку яиц покруче да в пирог! Стрескаешь за милую душу и губами подавишься: такая вкуснятина!

А уж если изловчился и в речке пяток хайрюзов закуканил, то потроши да соли, будто впрок, но не торопись в туес берестяной складывать. Разведи костерушку пожарче да забудь про неё на время. Рыбочек оберни листьями черемши, обмажь глиной. Как нет глины? Да бог с ней с глиной! Оберни в два-три ряда мокрой газетой. Смотри, а костёр-то прогорел. А нам этого и надо. Клади рыбу, подгребай к ней уголья. Нет-нет! Перекур ещё рано устраивать. Расшевели огонь сушняком мелконьким, котелок воды черпани. Чаёк должен вместе с рыбой поспеть. Да не ленись. Время ещё есть. Пройдись не спеша по распадку, оглядись вокруг, лес послушай, сорви к чаю пять листиков смородины.

СТАХЕЕВ Сергей Петрович родился в г. Чите 23 февраля 1952 г. В 1969 г. поступил в Иркутский государственный университет на филологический факультет, который окончил в 1974 г. По распределению уехал в среднюю школу Куйтунского района, где работал учителем русского языка и литературы. Первые рассказы были опубликованы в районных газетах «По ленинскому пути» и «Заря коммунизма», в журналах «Сибирские огни» и «Енисейский литератор». В 2013 г. в Красноярске вышел коллективный сборник тайшетских писателей «Если в сердце Родина малая». С появлением Интернета открылись две страницы «Стихи.ru» и «Проза.ru», где печатаются новые произведения Сергея Стахеева. Живёт в Тайшете.

А лес, пропитанный голубым светом, с редкими белесыми клочками тумана, звенит и поёт на все голоса. На ближних подступах — Комар-Комарович. Так у нас в тайге тепло и по-свойски величают «хор имени Пятницкого», который со всеми родственниками до сто двадцать пятого колена, детьми и внуками кружит над твоей головой, изредка пикируя на оголённые участки. Их сверхзадача — пополнить запасы продовольствия, то есть вволю попить вашей кровушки. На стоящей поодаль сухой столетней сосне дятел-красноголовик устроил свою кузницу и то и дело рассыпает сытые и весёлые трели. И не заболит же голова у птички! Речка булькнула, стукнувшись головой о камень, сосна о сосну трётся, поскрипывает; лёгкий ветерок пробежал по макушкам крошек-осинок, ещё нетронутых зверем.

Впрочем, уже готова рыба! Черемша разделила с рыбой свой бесподобный пикантный запах. Слюной изойдёшь, пока дождёшься царского угощения. Даже и без наркомовских «ста граммов» отлично пойдёт...

Юрка не пришёл на речку вместе с нами. Он потным, лохматым и матерящимся метеоритом прискакал, принёсся на речку. Уже второй год на горе, через которую нам нужно было перейти по дороге на речку, стоял вагончик заготовщиков леса. Они регулярно пилили и продавали в городе дрова, пили водку и сутками дрыхли на железных нарах в своём вагончике. Хотя в ближних ямах у лесорубов торчала пара-тройка мелкочаеистых сеток, мужики не были нашими соперниками. Но у мужиков лаяли четыре собаки, четыре здоровенных псины тупоголовой породы. Впечатление было такое, что эти лохматые сторожа, эти стервозы, поджидают только нас. Они чувствовали наш страх, лаяли до хрипоты и готовы были выскочить из собственных шкур. Животины не давали нам прохода! Мы с позором вынуждены были обходить дальней тропой или идти напрямую через завалы и кочегуры. Сегодня Юрка, припозднившись на электричку, решил идти через гору. Это он зря так решил...

Свора умела великолепно считать до трёх и прекрасно видела, что Аتماкин сегодня один. Пришлось бежать, отбиваясь удочкой.

— Ссуки! — задохнувшись, констатировал Юрка.

— Не все, — тонко подметил мой младший сын, а я пояснил:

— А что вы хотели, уважаемый Юрий Анатольевич, собаки — они и в Африке эти... как их, во-во, шакалы. Спать по утрам меньше надо. А ещё лучше вовремя лечь. Отдышись, отдохни — и... за хворостом, будем ушицу налаживать.

Кстати, Юра, разрешите вас поздравить с праздником. Сегодня — День рыбака. Страна поздравляет своих героев.

В миру Юрий Анатольевич работал педагогом в музыкальной школе по классу баяна. У него и учился мой младший сын Илья. Строгий и серьёзный учитель, отслуживший три года на отечественном авианосце «Минск», был страстно влюблён в речку. Опыта таёжного у него было маловато, но человек он был надёжный. Азартный? Да, конечно! Упрямый и даже настырный? Разумеется! В одно лето он освоил все рыбацкие премудрости и маленькие хайрюзовые хитрости и стал ловить вровень со мной, а иногда и облавливал. Левша, он рыбачил с правого берега, закидывая удочку в доступные лишь ему места. Я поднимался левым берегом, забрасывая с правой руки.

«Поднимался» и «забрасывал» — глаголы прошедшего времени, но несовершенного вида. Однако, сколько же надо было, выгибаясь ужом, потратить сил и энергии, чтобы продраться через прибрежную урёму и, жонглируя, балансируя на поваленных деревьях, положить мормышку с наживкой в нужное место. По-

ложить да не зацепить леску за сучья и листья вверх. Положить да не зацепить за коряги или камни на дне. Ну, а уж если хариус всё-таки находил мормышку с наживкой, то вытащить его из реки было целой проблемой.

Солнце ласково целовало нас в макушки. Комаров почти не было — поляна-то открытая. Уха доходила на угольках. Готова была и закуска: добрый пучок свежайшей черемши, сальце, жаренное на прутиках смородины, чёрный хлеб крупными ломтями. Не было одного — ста граммов! На нет и суда нет. Юрка взял котелок и пошёл к речке за водой для чая.

Его истошный крик кинжалом пронзил таёжные завалы.

— Петрови-и-ич! По-мо-гай!!! — протяжно кричал Юрка, держа обеими руками удочку, перебирая ногами по берегу. — Скорее! Ну, скорее же, сорвётся!..

Мы с сыном бежали через поляну, а в голове бился немой вопрос: «Кого он там зацепил? В «моей» речке нет такой рыбы!» Лёгкое и тонкое таловое удилище трепетало в руках счастливого рыболова. Станным образом изгибался у удочки тонкий кончик. Когда мы добежали до берега, рыбак сделал последнее усилие и, наконец, вытащил... бутылку «Столичной». Юрий Анатольевич, виновато моргая, лучезарно улыбался. Шутка удалась на славу... А «добыча» мирно лежала на траве, поблёскивая крутыми боками. Вот это добыча! Вот это подарок ко Дню рыбака!

Затмение

В газете «Известия» я нашёл коротенькую весть о полном солнечном затмении, которое произойдёт не далее как в нынешнее воскресенье. Собственно затмение меня интересовало мало. В своей жизни я их наблюдал: солнечные, лунные, да и в моей светлой голове они стали происходить с завидной регулярностью. В заметке было сказано, что рыба клюет немного до и бешено после затмения. А в короткий момент самого затмения — рыба пешком выходит на берег. Остается её, миленькую, собрать в мешок. Какую хочешь, на выбор, а главное, сколько твоя жмотская душа пожелает.

Команда моя — три моих ученика — готова была тронуться в путь в любую минуту, в любую погоду и в любом направлении. Я научил команду не обременять себя длинными удилищами, огромными рюкзаками с массой снастей и провиантом на неделю. Черёмуховое удилишко-коротыш, сумка под рыбу, котелок для чая. Из снастей — десяток мормышек, пара мушек и метров пять лески. По опыту команда знала: нам предстоит пройти добрых два десятка километров по такой урёме, что лишний килограмм будет в тягость.

Воскресенье выдалось обычное. Никто не опоздал на вокзал, умытая электричка подошла вовремя и по расписанию отправилась в сторону Чуны. В первом вагоне ехали рыбачёсы — рыболовы, которых мало волновал процесс ловли. Они больше любили околорыбачью возню. В неё входило часовое ожидание электропоезда с колкими поздравками, дружная и неспешная посадка, всенебрежнейшее остограммливание с продолжением и скоростным закусыванием, показ старых уловистых снастей и новых, которые вот сегодня перевернут сабанеевские устои рыбной ловли, постукивание места на руке чуть выше локтя — словом, всё то, что заставляет отдельных особей мужского пола плюнуть на заросшую сорняками картошку, завести будильник на «пять», край полшестого, и умчаться в страну непуганых хариусов и большесковородочных лещей.

Нас эта суэта интересовала мало. Мы давно знали, что половина говорунов вернётся домой с пустыми руками в отличие от нас, небольшая часть утешится десятком ельцов, если ездили на Бирюсу, или карасей, если ездили на Борисово или Костомарово озера. Один-два рыболова будут стеснительно поправлять хвост солидного карася, торчащего нарочито из ведёрка или крупного подлещика. Мы свою речку знали, верили в неё, как в себя. Без хариусов мы не вернёмся. На их количество не может повлиять даже погода. Вот разве что затмение!

На нашей рыбалке всё было рассчитано по минутам. По крайней мере, у меня. У мальчишек ещё не всё и всегда получалось. Но этих пацанов я таскал по всем речкам с пятого класса, и они раз от разу совершенствовались. Начинали мы всегда от первой «избушки», которую на одной из первых рыбалок показал мне метранпаж нашей районки Генка Кушков. Настоящий вампиловский метранпаж! «Избушка» была скорее землянкой, которую в пятидесяти метрах от речки выкопали местные охотники. Выкопали, сделали накат — закрыли круглыми ошкуренными и просмоленными брёвнами, устроили небольшой столик и нары. Печкой служила половинка бочки. А что? Можно подсушиться, отдохнуть и перекусить, если, конечно, выкурить полчища комаров и прочих кровососущих. От первой «избушки» до первого «мостика» я обычно ловил два-три десятка хайрюзов, потрошил и подсаживал рыбу, варил первый чай. Это обычно. А сегодня — до затмения оставалось ещё два часа — речка была пуста, словно в неё бросили маленькую атомную бомбу. И не только речка. Лес тоже умер! Стихли птицы, затупили свои пилы кузнечики, мошкара забилась в траву и листья. Природу вместе с нами с головой макнули в вакуум. Казалось, трава прильнула к земле, листья — к веткам, ветки — к стволам. До полного солнечного затмения оставалось десять минут.

Я пока не выказывал никакого беспокойства: менял мормышки и наживку, пробовал ловить на мушку, пробовал со дна и по верху. В речке всё было глухо, как в танке. Даже коряги перестали цепляться. Мы ждали одиннадцати. Вот сейчас из-под каждого камушка выберутся, из-за берёзы-утопленницы покажутся, среди придонной травы мелькнут здоровенные хариусы-марсовики и начнут, обдирая бока и жабры, бросаться на пустую мормышку. Ровно в одиннадцать не случилось ровно ничего. Не померк свет, не заиграл духовой оркестр. Рыбы тоже не было. Странно, что соврала заметка в газетке. А, может, и не соврала нисколько. Мы привыкли воспринимать мир, существующую реальность через хороший, но наш отечественный объектив «Индустар-65». Он видел то, что видел человеческий глаз. Вода была водой, зелёное — зелёным, кривое дерево оставалось кривым до полена в печке. А сегодня в одиннадцать дня на хороший объектив нацепили зачем-то немецкий цейсовский светофильтр ЖС-17, и мир окунулся в чернильницу, где чернила оказались серого цвета. Всё разом поблекло, потеряло оттенки, и переходы смазались:

— Классно! — хором возопили мальчишки.

— Как будто Земля в грязно-серую паутину со всего маху вляпалась, а выбраться никак не может, — грустно констатировал Ющ.

— Запомните, мальчишки, эту минуту! Любое затмение, особенно если оно в голове, не меняет сущности предметов, а приземляет и видоизменяет лишь форму того, что мы видим и что о нём думаем, — загнул я несколько туманно.

— Да понятно! Чмо он и в Африке чмо! — подытожил Димка Бычков.

— Речка осталась речкой. И у нас по третьему глазу не открылось. А затмение заканчивается, вон смотрите, — я показал в сторону горизонта, где ярко зеленели

листья берёзового и осинового подроста, освещённые краешком уже показавшегося солнца.

Я осторожно обогнул разлапистую ель, лежащую поперёк тропы, и с руки отправил мормышку с наживкой в голову небольшой песчаной ямки. Хариус молнией вылетел из-под густого куста чёрной смородины, а уже через секунду бился своей непутёвой головёнкой о стенки дерматиновой сумки. Его земное, а точнее, водяное существование закончилось, а наше продолжалось. Что поделаешь, мы ведь на вершине пищевой цепочки! Рыбчёмсам утерли носы. К концу дня у меня без трёх было полторы сотни хариусов, причём большая половина уже готовая к употреблению.

Медведи на рыбалке

Хорошо, сидя на мягком одеяле, с балкона разглядывать звёздных Медведей. Вот они: Большая Медведица — семь звёзд, а рядом Малая — пять. Интересно с кружкой чая почитать на сон грядущий внуку Киплинга. У него медведь — большое, умное и... доброе животное. Доброе, но справедливое... для всех Мауглей, потому что одной крови. Косолапых в зоопарке и цирковых Потапычей мне лично было всегда откровенно жаль: какие-то облезлые, грустные и вечно голодные.

Картинка пятилетней давности всё время перед глазами: мимо нашего города проезжал зооцирк, остановился, решили покормить зверьё. Плоскому и плешивому медведю швырнули булку хлеба. Вот, ей-богу, не вру, он плакал! Ел хлеб и плакал. В артистической нынешней жизни, видно, редко перепадало ему такое счастье.

И картина сорокалетней давности иногда неожиданно выплывает из прошлого: отец оставил меня на попечение престарелой тётки в Байсах. Он здесь родился. В Байсах Малый Амалат — быстроногий правый приток Витима — ударяется о гранитный утёс и, словно испугавшись, поворачивает на сто восемьдесят градусов, то есть бежит и спотыкается на шиверах в обратную сторону. Престарелой тётке — бабушке Пушике — было уже за сто. Считали всем гамузом — за сто! Но удивительное дело, она была в свои сто востроглаза и легконога, как все женщины ороченки, хотя к этому народу никаким боком. Просто три лета подряд нижнее стойбище ставили мужики-орочи на её дальнем покосе, а ушли вверх по Витиму — остались отцовской тётке зауевшие зоркие глазки, лодка оморочка, служившая ей верой и правдой, да вечно прижмуренная доча Галька, проживающая ныне в столицах Бурятии. Это её, Пушихи, уверенность и моё студенческое легкомыслие помогли тогда толково и без убытка разойтись в тайге с лохматой фауной, она же научила олуха немного ведать и столько же любить флору лекарскую, а равно и всю остальную. На мой шуточный вопрос, обитают ли здесь медведи, она, пыхнув трубочкой, строго ответила:

— Не они к тебе в город приехали, ты — к ним. Не суетись попусту, не лезь в их дела, не трогай их еду. Наука не хитрая.

— Блин! У вас тут, как на зоне — три «не»! — улыбнулся я.

— Не знаю, как на зоне, а в тайге так. И только так! — твёрдо закончила она.

Советам я внял, через неделю за мной заехал отец. Три встречи с медведями на их поле завершились вничью: по полям. С этими знаниями о косолапых жить в городе можно. И даже легко. Сорок лет я жил, наблюдая медведей в фильмах Тимофея Баженова, в мультиках и сказках своих внуков. А вот вчера...

Я тихо-мирно рыбачил на своей речке Стахеевке. Свои «подписанные» хариусы уже были пойманы. Один я ловил наверняка, без зацепов и сходов, никуда не торопился. Нет, вру! Один сход всё же был, но я сам его инспирировал: решил снять процесс вываживания. На яме, которую я называл Лукавой, в оранжевую «верховушку» вцепился добрый хайрюзина. Правой рукой сделал подсечку, а левой достал фотоаппарат. Но заснять не успел, так как приличный бурун ясно показывал, что «доедать» мою мушку рыба будет на дне под корягами. Я поймал себя на том, что не испытываю обычного волнения после схода крупной рыбы. Нет, опять вру! Волнение было, но поверх него прижилось ещё одно чувство. Оно угнездилося чуть выше паха где-то между печёнкой и селезёнкой, но на теле я не смог бы показать где. И назвать я его тоже не мог.

Просто нечеловеческим, а скорее, собачьим верхним чутьём я ощущал ещё чьё-то присутствие. Я знал чьё, но старался даже мысленно не называть, чьё присутствие я ощущал. Говорят же, чёрта помянешь — он тут как тут! Но помятые местами кусты и трава, разворошённые муравейники, ягода не оборванная, а жамканная прямо на кустах говорили более чем красноречиво: он здесь!

Я решил сделать привал: попотрошить и посолить рыбу, развести костерок и вскипятить чай. Делал я это всегда, поэтому через десять минут весело хрустел малосольным огурчиком, запивая ломоть хлеба с маслом горячим чаем со смородиной. Я сидел спиной к речке на крошечном полуострове. Мне казалось, что так всё будет видно и слышно. Собственно, видеть можно было не дальше пяти-семи метров, всё остальное представляло сплошное нагромождение сгнивших и ещё живых деревьев так хитроумно переплетённых, что несведущий мог спросить: а идти-то здесь где?... Звуки жили в этой урёме сами по себе, как-то отдельно друг от друга. Речка булькает на шиверке, ниже по течению всплеснул, заигравшись, хайрюзёнок, сосновая шишка летит, ударяясь о сухие ветки, уголёк в костре сипит от натуги, поджигая несгоревшую кедровую веточку...

Поэтому шепоток травы за спиной поднял мой загривок. Я инстинктивно подобрался и медленно, словно в рапиде, начал поворачивать голову туда, откуда был слышен шорох. Я поворачивал голову и привставал одновременно. Сжались под кепкой даже луковки волос, готовые выпасть. На той стороне речки метрах в десяти от меня из высокой травы медленно поднимались две лохматые головы.

Медведи! Точнее, медвежата-пестуны. Если бы кто-то четвёртый посмотрел на нас со стороны, сказал бы, что у всех троих отпали челюсти. Я был внутренне готов к этой встрече, но не ожидал, что так быстро и так близко. Что думали две отнюдь не бурые, а скорее, жёлтые башки на той стороне, я не знаю, но «какого хрена здесь?..» в четырёх настороженных глазах я читал определённо. Дальше всё было на автомате и вопреки. По поваленной через речку берёзе я медленно пошёл навстречу гостям ли, хозяевам ли, а на полпути неожиданно для себя и зверей присел и хлопнул себя по бокам руками, потом сунул в рот два пальца и по-разбойничьи свистнул. Свистнул так, что чуть в речку не свалился. Косолапые бросились наутёк вверх по речке. «Где-то недалеко должна быть мамаша!» — почему-то подумал я и тоже, вопреки генным знаниям, побежал, только в другую сторону.

— И что, всё бросил и убежал? — спросил какой-то «левый» подросток в электричке не из рыбаков.

— А я тебе сто раз говорил, доходишься на эту задолбанную речку! — запальчиво, с искоркой истерики повернул Колька Иванов.

Его самого весной там пуганула медведица.

— Правда, всё бросил? — ещё раз спросил дед Саня, заядлый и счастливый рыбак, который несколько раз просился со мной на речку.

— Да нет, добежал я до горы, остановился, сел перекурить, да и в боку кололо. Думаю, удочка и рыба — хрен с ними. Очки жалко! Новые! Вчера только взял. Ещё даже не расплатился. Свалил берёзку, выточил кол...

— А кол-то зачем? Надо было рогатину! — снова встрял подросток.

— Какую рогатину, балбес?! Летом медведи сытые: и человеками не питаются.

— Кол я так вытесал, для спокойствия. Ну, вытесал и пошёл. Иду той же дорогой, что и убежал, а ноги что-то не особо выражают желание двигаться.

— Ни в жисть бы не вернулся! Провались оно всё пропадом! — взвыл ещё один Саня, сторож из вечерней школы.

— Нет, дошёл я спокойно. Сумка с рыбой на ёлке висит, удочка и очки на месте. Только желание рыбачить пропало почему-то, — с улыбкой закончил я.

— Навсегда или только на сегодня? — с ехидной улыбкой спросил.

— Поживём — увидим.

...А чего здесь смотреть! Уже в следующую субботу я бодро шагал по утренней росе всё туда же, на свою речку Стахеевку. Рядом также бодро шагали два моих ученика, еда, так сказать, в ассортименте. О своей встрече на речке я им ничего не рассказал. А чего зря пугать ребятишек?

Жизнь...

Магазин был открыт, хотя семи ещё не было.

— Колбасы граммов триста! — мне надо было разменять тысячу.

— Какой? — продавщица скрывала зевоту.

— Любой! Только побыстрее можно?

— Вот классная. С орехами разными. Сырокопчёная! — разулыбалась продавщица. Она протянула сдачу с тысячи — рублей полтора.

Я глянул на цену сырокопчёной.

— Ой-ё-ё-ё!!! Это что за цена?!

— Дак орехи. Грецкие вон. Кэшью, фундучок...

Разбираться было некогда. Через десять минут электричка. А ещё до остановки чесать. Я вспомнил последнюю свою поездку с речки домой. Рыжая и наглая кондукторша в электричке само собой не видела, как я собирал на дорогу деньги по всем карманам: тряс куртки и брюки, заглянул в старую фуфайку, пошарил в коробках и баночках. За билет от второго разъезда до станции Пионерской я отдал ей двадцать шесть рублей «десюнчиками». Билет она дала, но мои монетизированные средства высыпала прямо под сидения электропоезда. Я оторопел! Такого унижения я не испытывал никогда, даже тогда, когда в пионерском лагере пацаны на утренней линейке сдёрули с меня шорты, а про себя подумал: «День не задался!» Ругаться или спорить было некогда — моя остановка.

Мартовский хвойный дух можно было пить гранёными стаканами, не закусывая. Даже грязь казалась фантастической: она замёрзла.

Справа от тропы застрекотала сорока. Эту воровку гнали две растрёпанные вороны. Полчаса бодрой ходьбы — и я стомиллиметровым новеньким буром быстро делаю три лунки. Прошло не больше пяти минут, а три хариуса уже трепыхались возле одной из только что пробурённых лунок!

«Надо поставить чаёк. Начало есть!» — подумалось мне. Я очистил небольшую полянку от снега, а костёрушко на литр чая уже обнимал горячими пальцами распречёрную консервную банку — мой походный котелок. Рюкзак был распакован: заварка в жестяной баночке, пять шоколадных конфет «Пилот», две осьмушки хлеба, помазанные маслом и щедро посоленные. На чёрном целлофановом пакете привольно расположился солидный кус колбасы, с натканными в неё расколами и расщипами разных орехов. С отрезанного торца они были похожи на светлые звёздочки на вечернем небосклоне. Тонюсенький пластик, тоньше промокашки в тетрадке в косую линейку, улыбался мне, источая невообразимый запах, но удочка на второй лунке дёрнулась и замерла. В мгновение ока я оказался возле, но опоздал с подсечкой.

Чёрную молнию я даже не увидел, а скорее почувствовал, настолько она была неожиданной и стремительной! Но результат был очевидным: одного хариуса не было. Норка утянула его в крайнюю лунку.

— Вот ты ж зараза! — ругался я на пушного зверька. — Обшлаг ты от норковой шубы!

Но доругаться не успел. Второй хариус, сверкнув нарядным плавником-парусом, вернулся в родную стихию.

— Попадёшься ты мне, ворюга! — третью рыбочку я положил в пакет, а пакет — в рюкзак.

Я налил в кружку чаю. Капора (этот чай я собрал летом сам, и сам приготовил!) благоухала, а три листика саган-дайлюшки (травка, продлевающая жизнь) придавали ему наипикантнейший оттенок. Спинай я опёрся о толстенькую сосну. Она выросла на неудобнице и потому уцелела. «Вот она, минута высочайшего покоя и самого глубокого погружения в себя! Всепронизывающее наслаждение без сигарет и наркотиков, без заветных рыбацких стограммов...»

Я протянул руку за прикупленным деликатесом, и в эту секунду ещё одна молния, горластая и наглая, ухватила большой кусок и взлетела на стоящую рядом ёлку. Молнию я узнал. Это была сойка. От такого поведения птицы чуть не подавился чаем.

— Ты, воробей ошипанный, верни мою колбасу! — увещевал я птицу. — Я тебе всё прощу... Ну куда тебе столько? Рожа твоя наглая не треснет? — И кинул в неё меховой рукавицей, но не попал.

Ничего подходящего под руку не попадалось. Я лихорадочно перебирал вещи в рюкзаке. Сойка же, чуя, что свалившееся на неё громадное счастье могут отобрать, поудобнее перехватила колбасу за верёвочку и... полетела за реку.

А я положил на язык оставшийся тоньше промокашки кусочек...

Ох и времена настали! Каждый норовит ухватить кусочек посочнее да пожирнее! Жизнь...

Мы идём в поход

...А моя-то речка и вовсе без имени проживала. Рыбаки залётные, каким не лень ноги в руках таскать, Чащовкой прозывали, на картах — Чащеватой значилась, ученики мои Стахеевкой стали звать. Пришли однажды:

— Дозволь, учитель, без твоего догляда на твою речку смотаться? — жалобно так, в три голоса да наперебой.

— Чего вам приспичило, кажись, суббота не за горами. Вместе и поедem. Да и какая она моя, речка-то?! — буркнул я.

— Ты привёл нас туда, тропы показал, как хайрюза научил поймать, пусть будет Стахеевка, — резонно заметил старший.

— На ночёвку в избушку свою пристроил. Рыбу мало поймать, сохранить теперь сможем, — добавил младший.

— И посолим, и появим, и на рожне в любой дождь пожарим, — выдал третий.

— Речка казённая, избушки — лесничего главного. Собрались — езжайте! С тропы — не дальше ста метров. Реки держитесь. Не жадничайте, мелочь выпускайте, — напутствовал я мальчишек.

Мальчишки баловались. Я учил их русскому языку и литературе, и сам словечки старорусские да диалектные начал вставлять в разговорную речь. Вот и щеголяли они передо мной, распихивая словеса куда надо и куда не надо. В пятом классе, дабы исполнить вековую мечту педагогов и родителей соединить детей и природу, я взял их на «свою» речку. Это был опрометчивый ход. Симбиоз таёжной речки пополам с рыбалкой определил воспитательную работу с классом на последующие пять лет. Усложнялось это тем, что между субботне-воскресными вылазками нужно было проводить пионерские сборы, собирать лом и макулатуру, заниматься общественно-полезным трудом (нам почему-то всегда доставалось разгружать тормозные колодки) и ещё кучей пустых, но очень важных дел. В пятницу к третьему уроку второй смены начиналось:

— Иванов, придунок! Ты хлеб купил? — спрашивал Андрюшка Ющенко.

— Я-то купил, а ты червяков накопал? — в свою очередь, налетал Иванов.

— Я-то накопал, а вот Бычка отпрашивать придётся у матери.

— Чего его отпрашивать, надо записку от Петровича показать.

— Ага, показать! Где её взять?

— Самим написать, — заявляет Иванов.

— Ты собираешься почерк классного руководителя подделывать? — воскликнул Ющ.

— Шарик, ты балбес! Маман Бычка только его роспись видел. Почерк его она знать не знает, — успокаивает всех Иванов. — Боярин! Игорёха, бери листок и ручку!

Так появляется на свет записка:

Уважаемые Борис Григорьевич и Надежда Петровна! Убедительная просьба отпустить вашего сына Диму со мною на рыбалку. Сохранность ребенка гарантирую.

*Кл. руководитель вашего сына
Стахеев С.П.*

Была ещё одна заковыка. До седьмого класса мы брали с собой девочек. Но с некоторых пор они стали стесняться, когда я их осматривал, и однажды, бегло осмотрев мальчишек — клеща никто не словил? — я велел им подойти к костру. Они стайкой стояли поодаль и о чём-то перешёптывались. Ко мне подошла Ольга Иртуганова и попросила развести им костёр отдельно от мальчишек. Я не сразу понял. Дел перед ночью было ещё невпроворот: заготовить дров на всю ночь, почистить рыбу и картошку для ухи, устроить ночлег, и ещё один костёр в мои планы не входил. Я смотрел на свою «хорошистку», а она не знала, с чего начать. Заходящее майское солнышко осветило точёную фигурку Ольги в профиль, и... боже мой, я увидел, что выросли мои девчушки-пятачушки. Стесняются своих округлившихся форм, меня, дятла безголового.

— Богданов, иди сюда! За поворотом речки разведи костёр поярче. Девчонки, бегом туда! Осмотрите перед сном друг друга получше.

— А кого искать-то нужно? — деловито осведомилась заноза Яковлева.

— Смотрите клещей, кого ж ещё на тебе найдёшь? — ядовитенько хмыкнул Питаев.

— Знать бы ещё, какие они... — сердито буркнула Яковлева. — И обалдуев наших к берёзам привязать. Ты ж первый, Питаев, замочную скважину начнёшь глазами полировать. Нет что ли?

Мальчишки стояли рядом с костром. От реки тянуло вечерней свежестью, но я велел верхнюю одежду снять. На плече рыжего Бажененка обнаружилась пара клещей: малюсенький чёрный самец и более крупная с красным пятном на спинке самка. Она-то и была самой опасной в этой паре. Я знал, в разные годы эта микро-скопическая тварь отправляла на тот свет двух-трёх рыболовов и любителей даровой черемши и столько же становились калеками. Животные были благополучно сняты с плеча Олега и водворены в спичечный коробок. Рассиживаться они в нём долго не будут, и, вручив деревянную тюрьму девушкам, я громко скомандовал:

— Перетрясите всё верхнее и нижнее бельё. Особенно внимательно осмотрите шею, ямочки за ушами и другие «нежные» места. В чём сомневаетесь, — родинки, бородавки, прыщики, прилипший мусор, — тащите сюда, разберёмся!

Я присел на толстенный сосновый сучок, машинально поворошил костёр и, может, впервые за несколько лет увидел себя со стороны. Уже не новичок в школе, отец двоих своих мальчишек, я перетаскал на «свою» речку столько ребятни! Зачем? Противное время — только-только упала вода после паводка, отошло топкое и вонючее болото, породив несметные полчища летающих и ползающих, жужжащих и молчаливых кровососущих. Отвратительное место — пять километров след в след по узкой тропе. Дико переходный возраст детей: без авторитетов и комплексов, без умений и навыков, без элементарных знаний. Зато у них был я, мужественный и умелый! Они верили в меня, как верили в древних богов. Их учитель русского языка и литературы — мужчина, единственный в городе, а может, и в мире! Не хило? И пришёл в школу не откуда-нибудь, а из милиции. Это круто! И в поход они пошли первые и единственные. Это ва-аще!

Я улыбнулся, вспомнив первый поход. И переправу через Байроновку — трое, переходя по вибрирующей ели, окунулись благополучно в реку. И первую ночёвку — долго не могли уснуть: было столько впечатлений, требующих немедленного обсуждения!

Первого пойманного хариуса — редкий экземпляр, ещё в брачном наряде, — все, визжа и размахивая руками, хотели поцеловать в ледяные губы. Видимо, все до единого боги взялись тогда мне помогать. Никто не заболел, никого не покусал клещ, никто не сорвался с дерева, руки, ноги и головы остались целы. Больше всего ребяташки любили вечера, а если быть точным, то границу между вечером и ночью. Костёр помаленьку затухал, звёзды становились ярче, голоса тише, круг всё уже. Другими были мальчишки. Вон Пашка Богданов! В школе мальчишек толкает, девочек дёргает, обзывает. Здесь сидит, насупился — «наухился», Ольге руку подал, когда через ручей переходили. Картоху чистил, дров больше всех притаранил — молодчина, что скажешь. Девочки тоже другие. Мальчишек по именам зовут, да и друг с другом почти не спорят. Только рядом со мною сразу все сесть захотели. Трусихи! Честно сказать, не в очень весёлое место я их притащил. Толстенные пихты и вековые ели, заросшие седыми бородами, под ними громадная поляна черемши — дикого чеснока, а вдоль темнеющей речки отцветающая верба, с десятков тоненьких, как наша Ольга, берёзок.

Сонно плескалась рыба в нижнем перекате. Я встал и отошёл на три шага за ветками, расшевелить костерок. Тьма сразу проглотила меня, зато сидящие возле огня стали видны как на ладони.

— А вдруг Петрович не придёт, бросил нас? — раздался мальчишечий голос.

— Да ну, он чо совсем! — усомнился девичий

— Совсем не совсем, а вдруг? Заблудился, например! — настаивал первый.

— Пацаны! А хоть кто-нибудь обратно дорогу запомнил? — я узнал голос старосты Ольги Иртугановой.

— Мальчишки, да вы кончайте нас пугать! — взвизгнула Натка Дыдыкина. — И так страшно!

Я вышел из своего убежища, подкинул прихваченные ветки в полупогасший костёр и присел на корточки.

— Всё! Заканчиваем посиделки. Кому нужно, сходите в кустики — и по палаткам.

Никто не двинулся с места. Пассажиры Земли отчаянно трусили,

— Мальчики, за мно-ой! Девочки, мы ушли.

И мы, действительно, ушли. Со мной мои пацаны никого и ничего не боялись и всё знали. Почти всё. Они уже знали, что прямо над головой у них сияет самая яркая звёздочка в северном полушарии — Вега, что завтра мы наловим хариусов и наберём черемши и что, пока я с ними, ничего плохого не случится.

Зачем уходить из дома?

Тебе, Жека!

Если бы мы знали, куда могут завести нас наши желания или куда они устремлены, если бы несоизмеримые с конечной целью громадные средства государства, наших не очень богатых семей и наших растущих организмов не были бы растрочены на исполнение этих желаний... Спросите мою старшую невестку. Она знает. Она знает, что работать в милиции и ходить пешком, стыдно. Что заведовать районным отделом культуры, ежегодно крыть крыши и делать отопление в клубах и библиотеках и не построить себе домика, глупо. Дожить до шестидесяти в нашей стране и не «погреть зону», «не почесать одно место» просто не модно.

Нам, мне и Жеке, было по десять, и цели мы ставили перед собой мизерные. А желания были крошечные, микроскопические: поймать какую-нибудь рыбу, вернуться домой непобитыми, рыбу поджарить и, как это ни странно, съесть

— Ты рыбачил когда-нибудь? — спросил я Жеку ещё по дороге на речку.

— Ага! Когда ещё мы жили в Иркутске, с соседом, — отводя глаза, ответил он.

— А какая там река? Рыбёха какая ловится? — доставал я его, будто не замечая его прятавшихся глаз.

— Здоровая речича. Не знаю названия. И рыба — крупняк! Окунь, наверное, — а глаза опять убежали.

— Не! У нас в реке окуней нет. Гольяны да чебаки. Чебаки здоровые-е попадают.

За разговорами дошли до Читинки быстро. Жека, неопытный, получил ещё пару «балабасов» — щелчков — в лоб. Игра у нас такая была. Мы высматривали стоящие и пробегающие мимо машины, и если у них был номер 25-25 ЧТГ или 25-52 ЧТА, например, и я увидел первый, то «балабас» получал Жека. Он их получал.

Сегодня из дома мы ушли... навсегда. Странно и страшно первый раз уходить из дома навсегда. Жеке надо было уйти, потому что старшая сестра назвала его «лопоухий баран». Уши у него, правда, немного оттопыривались, но он был не баран, а мой друг. Почти. У нас уже было две на двоих маленьких тайны — мы научились свистеть в два пальца, и общий «штаб», сделанный на чердаке спиртзаводской двухэтажки. И поэтому, когда я предложил ему уйти из дома навсегда, он сразу согласился. У меня была другая причина.

Мне стало казаться, что уйди я куда-нибудь, никто и не заметит, что меня нет. Отец был в вечных и бесконечных командировках — он возил строителям Северо-Муйского тоннеля муку, водку, трубы и кучу разных железяк. Мать работала на хлебозаводе посменно. Если она не была на смене, то спала как убитая. Она работала грузчиком и жутко уставала. Вот, чтобы никому не мешать, и надо было уйти... навсегда.

Место на речке у нас было своё. Мы быстро оснастили тополевым сучок толстой леской с настоящим кованым крючком «девяткой». С третьего заброса Жека поймал... себя за ухо. Крючок «девятка» острым жалом насквозь пронзил мочку правого уха. Цевье крючка не давало возможности его вытащить. Из всех зол я выбрал самое болючее — я просто взялся за леску и дернул, что было силы. Естественно, не выдержало ухо. А ещё через секунду я лежал на мокрой гальке с разбитым носом. Кровь из Женькиного уха и моего носа бежала-бежала и остановилась. А вот слёзы из его и моих глаз всё текли и текли.

— Ты кем будешь, когда вырастешь? — спросил я его, хлюпая разбитым носом.

— Бу-уду пирожки продава-ать! — и друг снова залился слезами.

Я понял, что Жека хочет есть, и достал две краюхи хлеба, посыпанные солью.

— Я тоже буду продавать пирожки! — сказал я примирительно и протянул ему хлеб. — Давай я буду на углу Чкалова и Бутина, а ты на базаре.

На том и порешили. Мы оба будем продавать пирожки. С ливером и капустой, с картошкой и черемшой, с повидлом и вареньем. Здоровски! Захотел есть — съел, какой хочешь, сколько хочешь. Хочешь — один, а хочешь — пять...

Нам было по десять! Сегодня нам... по шестьдесят. У нас четыре высших образования на двоих, дети, внуки, квартиры, машины. Скоро, уже совсем скоро, мы уйдём из дома... Навсегда... Но так хочется поторговать пирожками на углу Чкалова и Бутина. Или на базаре... в родной Чите... вместе с Жекой!

Впрочем, нигде мы не поторгуем больше вместе: вчера, 5 октября 2013 года, его похоронили в городе Томске — городе его юности...

Упокой со святыми, Господи, друга моего!!!

ПОЭЗИЯ



СВЕТЛАНА ТРЕТЬЯКОВА



Назначь мне свидание в дождь

* * *

Я придумала любовь,
Я придумала рассветы,
Как встречаемся мы вновь
В это солнечное лето.

Как целуемся в ночи
И не можем разделиться.
Предрассветные лучи
Осветили наши лица.

Как мы счастливы вдвоём,
Как сидим, обнявшись вязко,
И глядим на водоём,
Что затянут жёлтой ряской.

Как поссорились шутя,
Как мы страстно помирились.
И над городом летя,
Мы друг другу долго снились.

Как витаем в облаках
Поэтического слога.
Жизнь моя — в твоих руках,
Смерть моя — в руках у Бога.

Нет на свете этих снов.
Я ношу на сердце муку.
Я придумала любовь —
Я придумаю разлуку.

ТРЕТЬЯКОВА Светлана Николаевна родилась 9 мая 1964 г. в г. Усть-Куте Иркутской области. С 1981 г. живёт в Иркутске с семьёй. Имеет 3 высших образования. По первому образованию, которое она считает самым главным в своей жизни, — математик. Два других образования — магистр культурологии и магистр музеологии — получила вследствие коллекционирования фарфора и создания на тему фарфоровой анималистики диссертаций. Научные статьи публиковались в научных журналах, в том числе и за рубежом. Стихи публиковались в иркутских журналах и сборниках, первая публикация — в газете «Советская молодёжь». Автор книги «Время и стекло» (2004). Живёт в Иркутске.

Женщина

Я — просто женщина. Мне бусы и серёжки
Необходимы, как сама вода.
Я вынимаю из шкатулок брошки,
Как рыбку вынимают из пруда.

Я — просто женщина. И шляпки так капризно
Я поправляю, выйдя за порог.
И это часть моей счастливой жизни,
Которую мне извиняет Бог.

Я — просто женщина. Я суп готовлю,
Чтоб мой мужчина мог со вкусом есть.
И от любой болезни исцеляю,
И у меня на всё лекарства есть.

Я — просто женщина, нерукотворный гений,
Во мне сокрыта тайна жизни всей.
И из желаний страстных и мгновений
Я создаю прекрасных сыновей.

Я — просто женщина. Я соткана из света,
Улыбки лучезарной и любви.
Пусть обо мне безумствуют поэты
И для меня щебечут соловьи.

* * *

Назначь мне свидание в дождь,
Под вечер тебя буду ждать я.
И мне не унять свою дрожь
От холода мокрого платья.

Когда наконец ты придёшь
И ласково спросишь: «Замёрзла?»
На улице холодно, дождь,
Назад не уйти, слишком поздно.

Ты сможешь меня согреть,
Раскрыв дорогие объятья,
На плечики сохнуть надеть
Моё опустевшее платье.

Ты будешь дождинки ловить
Губами на трепетной коже.
И я в этот миг, может быть,
Спасусь от настойчивой дрожи.

Не надо спешить на такси,
Весь мир утонул в ожиданье.
Не надо молить и просить,
Жалеть о случайном свиданье.

Не будет никто виноват,
Что жаркими были объятья —
Лишь дождь, что пошёл невпопад,
Да мокрое тонкое платье.

Стихопад

Распускаются листья,
На ветру шелестят
У черёмухи кисти.
У меня — стихопад.

Вырываются строчки
И хотят улететь.
В клетку их не заточишь,
В клетке рифмам не петь.

Строки падают с неба
И кружат, и кружат.
Не поймать их, но мне бы
Хоть в руках подержать.

В стихотворные выси
Устремляю свой взгляд.
У черёмухи — кисти.
У меня — стихопад.

* * *

Взялась пропалывать стихи,
Как в огороде сорняки,
Ведь у меня нескудный сад:
Пишу стихи сто лет подряд.
И через заросли стихов
Я проникаю в тьму веков.

А этот — вечный долгий спор,
Меня со мною разговор,
Исповедален и умён,
И странен, и похож на сон.
Его оставляю, пусть растёт
И почитателя найдёт.

Вот этот — первая любовь,
Давно завял, остыла кровь.
Он простоват, ему капут —
Ромашки года два живут.
Сей стих долой, зачем он здесь,
Когда стихи получше есть.

Так я рассматриваю сад.
Хоть рукописи не горят,
Но можно просто удалить
Стихи, что потеряли нить,
Связующую небеса
И неземные голоса.

* * *

Смотрю в библейские глаза —
В них тайна всех тысячелетий.
Что я могу тебе сказать,
Как на любовь твою ответить?

Налей мне красного вина
И отломи горбушку хлеба.
Моя извечная вина
Любить тебя под этим небом.

Такими были, верю я,
Обличьем первые пророки.
Закрою молча двери я —
К тебе ведут мои дороги.

Так сотни лет тому назад
Адама полюбила Ева.
Ты — мой Адам, мой рай и ад,
А я — твоя земная дева.

Я буду спутницей твоей,
А мне нужна такая малость:
Под тихий шёпот ковылей
Снимать с твоей души усталость.

Я за тобой — и в день, и в ночь,
В погоду или непогоду.
Я — искушённой Евы дочь,
Мне так назначено природой.

Тополиная вьюга

Все пути замело, Не увидеть друг друга. Всё бело, всё бело — Тополиная вьюга.	Ты привиделся мне И зовущим, и нежным В одиноком окне Рядом с тополем снежным.
--	---

Белый пух тополей Покрывает тропинки. Среди тихих аллей, Как снежинки — пушинки.	Мне не вырваться из Одиночества круга. Это летний каприз — Тополиная вьюга.
---	--

Тишина

Ко мне вернулась тишина, Включила свет в прихожей. Она — одна, и я — одна, И этим мы похожи.	И не звала к себе гостей: Её бы тем задела. Так проходило много дней. Как с тишиной делиться? Без сурдоперевода с ней Никак не объясниться.
Она уселась на диван, Укрывшись пледом синим. Я налила себе в стакан Холодного мартини.	Без сурдоперевода с ней Никак не объясниться. Да и беседа не нужна, Я пребываю в коме.
Я не включала новостей, Не плакала, не пела,	Ко мне вернулась тишина И поселилась в доме.

Пионы

Был летний день, и яркий, и зелёный,
А поцелуи ветра так легки.
И я нашла поникшие пионы
На старенькой скамейке у реки.

Их было три цветка в простом букете.
Какая участь ожидала их?
Кто здесь свою любимую не встретил,
Какой несостоявшийся жених?

Мне было жаль оставить измождённых
Их — под палящим солнцем увядать.
Я их взяла. И понесла пионы,
Как будто мне могли их передать.

Я шла походкой лёгкой и воздушной,
На время потеряла бремя лет.
Я счастлива была, не равнодушна —
Всеми виной мной найденный букет.

И вот они в той вазе, что когда-то
На день рождения подарил мне ты,
Благоухают нежным ароматом,
Испив живой спасительной воды.

...Шёл дождь, и за окном качались клёны.
И был мой дом и одинокий, и пуст,
А мне хотелось, чтобы, как пионы,
Твои уста моих коснулись уст...

* * *

Он в клуб зашёл, пальто поспешно снял.
Не оказалось плечиков свободных.
Своё пальто — из павильонов модных —
Набросил на моё... и убежал.

А я застыла в паузе немой,
Внезапно ощутив прикосновение
Его пальто, как чудное мгновение.
Он был давно любим... Он был не мой.

От ревности я путала слова,
Завидуя пальто, такому счастью.
Ну, а пальто являло безучастье,
Безвольно опуская рукава.

Пальто, увы! счастливее меня,
Хотя оно о том совсем не знало,
Не мучилось от страсти, не страдало.
Не ведая ни боли, ни огня,

Я б многое на свете отдала,
Чтоб на мои томительные плечи
Накинул он пальто в холодный вечер
И ласково спросил: «Ну, как дела?»



АЛЁНА ШИПИЦЫНА



Улиточка

РАССКАЗ

1

Хворая осенняя земля, седая и колючая, местами покрыта снежными лоскутами. Конец октября. Дни ещё пестрят остатками неупокоенной ржавой листвы, обильно рассыпанной по сельским дорогам золотистой соломой, редкими вспышками вызревшей рябины в добротных ухоженных палисадниках.

Вечером в доме натоплено, уютно. Днём мама пекла сахарные плюшки. Ближе к ночи аромат ванили всё ещё не выветрился. Вдоволь наигравшись, набегавшись босыми пятками по тёплому полу, я и две младшие сестрёнки разложили небольшой диван-книжку, стоящий в зале, и решили спать все вместе. Подушки и одеяла впитали сладкий запах постыряпушек. Казалось, что наша семья живёт не в обычной двухкомнатной квартирке, а в сказочном пряничном домике.

Мы долго рассказывали разные истории, вспоминали свои дневные проделки. Управившись с привычными вечерними делами, мама тоже присоединилась к нам.

ШИПИЦЫНА Алёна Викторовна родилась в 1980 г. в дер. Улзет Аларского района Иркутской области. В 1997 г. окончила Аларскую среднюю школу, в 2001 г. получила диплом учителя русского языка и литературы. На данный момент является студенткой ИГУ (ИФИЯМ), специальность «Журналистика». Стихи опубликованы в журналах «Юность», «Байкал», альманахах «Иркутское время», «Зелёная лампа», «Образ». Участница фестиваля им.А. Бельмасова (Ленинск-Кузнецкий), вошла в длинный список премии «Славянская лира-2017» (Белорусь) и шорт-лист конкурса «Интерреальность-2017» (Украина). Первые пьесы опубликованы на сайте «Время драмы». Является автором сборника стихов «Вовремя» и составителем книги «Аларь — долина мудрых песен». Первые рассказы опубликованы в журнале «Байкал». В пос. Кутулик силами Межпоселенческой Центральной библиотеки им. А.В. Вампилова выпущена книга рассказов. С 2002 г. живёт в Иркутске.

— Расскажите сказку, — попросила самая маленькая.

— Лучше про Улиточку, — добавила средняя.

Наша сказка про Улиточку началась давно, около года назад. Сочинялась она каждый день, и никто не знал, куда приведёт и чем закончится повествование.

— Кто помнит, на чём мы вчера остановились?

Сестрёнки, перебивая друг дружку, затараторили:

— У неё родилась вторая ребёнка.

— Ты неправильно говоришь, это мама её родила ребёнку, а Улиточка пошла во второй класс.

— В третий.

— Она уже таблицу умножения выучила?

— Выучила, как наша Алёнка. Все пятёрышницы таблицу хорошо учат.

— Всё, давайте сказку, рассказывай, Алён.

Сочинять истории для меня дело не трудное. И вечер, для того чтобы погрузиться в упоительный мир фантазий, самый подходящий. Но что-то внутри неспокойно. То ли оттого, что с утра всё валилось из рук, и первым делом я нечаянно расколотила целую стопку новых белоснежных тарелок с золотой каёмкой (за что тут же получила веником), то ли потому, что в обед в кухонное окно с лёту врезался воробей. Не просто врезался, а со всего маху ударился своей пернатой головкой в стекло и замертво упал на остывающую землю.

— Сейчас вспомню, что было дальше... — начала я рассеянно. — Пошла Улиточка в кино... Идёт она по своей улице, а навстречу ей подружка. Пошли подружки в кино вдвоём. Вдруг услышали, что позади кто-то плачет. Оглянулись, а это Улиточкина сестрёнка.

— А зачем ты без меня пошла? — возмутилась средняя.

— И без меня, — обиделась младшая.

Девчонки всерьёз воспринимали все наши сказки и наивно мечтали быть главными героинями. С помощью фантазий можно было легко управлять ими, воспитывать:

— Как же мы могли пойти все вместе, если одна из вас только родилась?

— Точно! Тогда я ещё в кроватке спала, — успокоилась младшая.

— А я всё равно ревела и гонялась за тобой, — обрадовалась средняя. — Рассказывай, какое кино мы смотрели!

Кто-то тихонько постучал. В тёмное время суток вся члены семьи, кроме папы, трусили выглядывать в окно. Но папа сейчас был ещё на работе, а мама у нас главная трусиха. Сцепившись паровозиком (по старшинству), мы тихонько подкрались к окну. Дрожащей рукой я слегка отодвинула занавеску.

— Никого.

Душа застыла и звонкой ледышкой раскололась где-то в пятках.

— Точно никого? Получше выгляни, — настаивала мама.

Одним указательным пальчиком, точнее, самым кончиком ногтя, тихонечко ещё на пару миллиметров я отодвинула цветной ситец, защищавший нас от воображаемых ужасов ночного внешнего мира:

— Совсем никого.

Сестрёнки напряжённо стояли на носочках. Любый страх мы старались преодолеть вместе.

— Ладно, ложитесь, — мама встала и пошла на кухню. — Будут ещё стучать, сразу не отзывайтесь. Знаете же, что беда ходит по домам и стучится. Кто откликнется, у того она и поселится.

Эту страшилку сельские жители повторяли часто. Сразу отзываться на стук было не принято. Мы ещё немного побоялись, пошептались о Бабе Яге, Кощее и подобных нечистях и вернулись к своей сказке.

— Сходила Улиточка с подружкой и сестричкой в кино. А когда вернулась домой, увидела, что дом полон гостей.

— Это к папе на юбилей приехали, — заметила средняя.

— Аха. А гостей надо накормить, напоить, развеселить и спать уложить, потому что праздник только послезавтра.

— И чего они раньше времени приехали?

— Вот гости любят пораньше приезжать. Они же все городские, а у нас хорошо — молочко парное, воздух целебный.

— Ещё мы полный холодильник пельменей налепили. Целых два дня лепили: папе гигантские, гостям большие, для мамы нормальные, Улиточке — маленькие, мне — крохотные, и для малышки тоже налепили, но я за неё съем, она же у нас ещё лялюшная.

— Конечно, и пельменей налепили, и пирожков с повидлом нажарили.

Пирожки — любимая тема у сельской ребятни. Каждая хозяйка готовит это лакомство по своему, иногда секретному, рецепту. В духовке или на сковородке, на масле или на жиру. А разнообразие начинок, золотистый цвет и тёплый жизнеутверждающий аромат вызывают аппетит даже у самого капризного привереды.

— Мне, чур, с черёмухой! — мечтает младшенькая.

— А мне с капустой, тогда вы себе берите ещё с яблоком, с яйцом и с черемшой, — перечисляет средненькая.

Что касается пирожков, меня долго уговаривать не нужно:

— Мои любимые с картошкой, с лучком жареным. А помните, бабушка со свежей клубникой готовила?

— Вкусня-а-тки! Ещё баба Маруся сладкие с морковкой в русской печке печёт.

— А баба Зина со шкварками.

— И в столовке с ливеркой.

— Знаете, я недавно читала, что раньше даже с пшеном пирожки были.

— Вот мы читать научимся, — в полудрёме пробормотала средняя, — тоже узнаем про все-е-е пирожки...

Так за разговорами мы незаметно уснули.

Мой сон был похож на бред. Из кухни доносились звуки закипающего чайника, ворчание холодильника. Из раковины капала вода. Рук и ног я не чувствовала, в голове туман. Внезапно из этого тумана возникло большое и влажное существо. Гигантская улитка склонилась надо мной. Она беззвучно вращала своими длинными рожками, пристально разглядывала меня чёрными точками-глазками. Улитка вздыхала. Из одного глаза выкатилась большая перламутровая слезинка и упала мне на щеку. Улитка спряталась в домик-панцирь. Туман рассеялся... Морозный солнечный день. Окно в сад. Обледеневшие деревья, увешенные ярко-красными плодами. Воробей, маленькая суетливая птичка, мечется между деревьями, бьётся об ледяные стволы. За окном холодно, спасение только внутри. Птица спешит в тепло, но находит свою смерть.

«Опасность не всегда очевидна», — гудит в голове. Почему-то я знаю, что это голос улитки. Зову её:

— Ты куда спряталась? Ты можешь спасти воробья?

— Я могу всё, но не в этот раз.

— Почему ты не хочешь его оживить?
— Ему ещё нужно учиться.
— Чему? Как? Ведь он уже умер.
— Это только иллюзия. Только иллюзия...

Слышу, как улитка удаляется. Слышу, как скрипят половицы, как качается матрик на часах.

* * *

Страшный стук разбудил сразу всех.

Незнакомый мужчина грубым и сильно взволнованным голосом кричал:

— Открывайте! Скорее собирайтесь!

Ему ответила встревоженная мама:

— Где? Куда идти?

— В больнице. Давайте быстрее!

— Подождите... Дети с кем? Я девчонок с кем оставляю?

— Парни из мехотряда побежали к вашей матери. Сейчас она придёт. Вы только не волнуйтесь. Он ждёт. Должны успеть.

* * *

Баба Таня курит и кашляет. Она кашляет давно. Сильные препараты уже не помогают. Бронхиальная астма. Курить нельзя, но врачи говорят, что бросать сразу тоже вредно. Дядя привозил специальные японские сигареты на травах, но победила привычка курить «Беломор» и «Астру».

Бабушка плачет.

Мне почти не доводилось видеть её плачущей. Она сильная. Сиротское венное детство, тяжёлая юность, не женские условия труда — всё это закалило её характер.

— Мнученьки мои, тоже теперь сиротки, — всхлипывая, бабушка раскачивается из стороны в сторону, — родненькие, девчоночки мои...

Она не умеет красиво говорить, но на её лице читается сильное потрясение, глубочайшая скорбь и сострадание: старость и худоба стали более очевидными, коричневые длинные руки ещё больше высохли, трясутся и кажутся совсем бесильными, глубокие морщины по всему лицу, чёрный траурный платок. Вся её жизнь прошла в непрерывной борьбе за право жить. Теперь она думает о том, что лучше бы умереть, что страшно пережить молодых, боязно за будущее внуков. Она постоянно спорила с отцом. Мы думали, что они ненавидят друг друга.

— Тёщу нужно любить на расстоянии, — говорил папа.

— Зять, неча взять, — ворчала баба Таня.

Теперь ни одного плохого слова. Баба Таня плачет и приговаривает: «Толенька, сыночка, мальчоночка мой родименький...»

В доме натоплено. Но тепла в нём нет второй день.

* * *

Две ночи мы мотались по соседям. У дедушки с бабушкой нельзя, там и без нас полон дом. Вся папина родня съехалась, не протолкнуться. Баба Таня всё время с мамой. Маму мы не видели двое суток. Ей постоянно плохо, врачи дежурят

рядом, ставят уколы. Соседи тоже днюют и ночуют у нас дома. Все готовятся к похоронам. Я слышала, что вчера привезли папу. Хотела бежать туда, но тётя Аня не разрешила:

— Там столько народу, затопчут тебя, лучше следи за девчонками.

Иногда кто-нибудь вспоминал, что нас нужно покормить. Приносили еду, но мы почти не ели. Нам хотелось домой. Сёстры не играли. Всё это время они держались за руки. Одной четыре, другой пошёл третий год. Они не плакали. Бойкие весёлые проказницы в один миг превратились в тихонь. Средняя только изредка спрашивала:

— А папа наш умер? Совсем?

Мне трудно было отвечать, я только качала головой и крепко-крепко обнимала моих маленьких беззащитных крошек.

* * *

Тётя Аня повязала нам чёрные платки и отвела домой.

У ограды, во дворе, на веранде — повсюду люди. Мы с трудом протиснулись в дом.

— Дети, Толины девочки, — пробежал шёпот в толпе.

Толпа расступилась. В зале нет мебели. По стенам мохнатые колючие венки: «Любимому братику от Татьяны и её семьи», «Дорогому другу от одноклассников», «...от Сергея», «От жены и дочерей». У меня закружилась голова. Резкий запах одеколона, напоминающий виноградный сок, был невыносим. В глазах потемнело.

— Мама! — услышала я пронзительный крик средней сестры.

Врачи быстро привели меня в чувство. Рядом страшно голосит папина мама. Ей дали лекарство, чтобы немного успокоить. Наша мама сидит у алого, с чёрной каёмкой гроба. Она кажется глухонемой. Нас поставили рядом.

Папа был бледным. Точнее, белым. Таким белым, будто его специально покрыли мукой. Такой же молодой, такой же наш, только непривычно тихий.

— Папа спит? Скажите, а папа спит? — озираясь на стоящих вокруг людей, спрашивает младшая.

— Тише, — успокаивает её баба Таня.

* * *

Толпа зашевелилась и вынесла нас на улицу. Мы затерялись среди огромного количества ног.

Кто-то активный и громкий выстроил всех в определённом порядке. Четверо папиных друзей подняли гроб на плечи. Впереди ехала машина, которая разбрасывала еловые ветки. Семья шла за гробом. Вдоль дороги стояли односельчане. Обычно процессия шла до перекрёстка, дальше на машинах, но папу несли на руках до конца. Провожало его всё село.

Прощание было долгим. Когда поднялся ветер и полетела колючая снежная крупа, люди заторопились. Возникли какие-то сложности с опусканием гроба. Неуклюжий мужчина оступился и чуть не упал в могилу. Старики зашушукались о страшных приметах.

Нам раздали монетки и сказали бросать их в могилу. У меня онемели пальцы.

Кто-то взял мою руку, зачерпнул ею мокрый ледяной суглинок и грубо кинул на крышку. Поднялся громкий вой. Рыдания заглушили реальность.

Папа ушёл от нас. Его больше нет и уже никогда не будет. Такого не может быть! Но это так... это так...

Обратно ехали на бортовой машине. Разыгралась погода. Глаза залепила белая мошка.

У дома стоял рукомойник и дядька со свежими полотенцами.

— Хорошенько смывайте кладбищенскую пыль, — горланил дядька. — Никого в дом не пушу, — он замахивался полным ковшом, расплёскивая воду.

Соседка тётя Маруся возмутилась:

— Бессовестный, нализался и хохмит, будто праздник ему.

Незнакомая бабуля, опытная в похоронных делах, отправила дядьку проспаться, а сама встала на его место:

— Мой ручки, детонька. Хорошенько мой. Ой, беда-то, беда. Сиротонька.

До сих пор я ещё не бывала в театре. Но в тот момент остро почувствовала не-настоящность, театральность всего происходящего. Нет, это не со мной, не с нами. Сейчас исчезнут все эти люди, появится живой и здоровый папа, и мы снова будем жить большой счастливой семьёй.

* * *

Дом не вмещал всех пришедших на поминальный обед. За стол садились в три захода: сначала молодёжь, дальняя родня и соседи, следом дети, старики и те, кому скоро уезжать. Под конец оставались самые близкие. Проворные женщины быстро меняли блюда, убирали посуду и наводили порядок.

Мы сели за стол во вторую очередь. Горячий кисель немного ободрил и вернул к реальности.

Люди за столом говорили хорошие слова об усопшем. Маленькие сестрёнки молча жевали поминальные блины, от другой еды они отказывались. Я оглядела людей, стол, пустые стены, видно, позавчера ещё куда-то вынесли диван и шкафы, не было даже часов с кукушкой, висевших на стене между окнами. Только свежая побелка (неужели белили тоже позавчера?) небесно-голубого цвета делала комнату удивительно светлой, будто ещё недавно здесь обитали ангелы.

С этой минуты для меня всё стало в прошедшем времени: хорошо было, папа был, счастье в семье было. Тогда мне подумалось, что и детство тоже было, моё славное девятилетнее детство покинуло меня. В душе поселился горький и злой опыт.

2

В многодетной семье Толик родился четвёртым. Рос он трудолюбивым, отзывчивым и, на удивление, бесхитростным ребёнком. Учился хорошо. Был ответственным и послушным.

Как многие мальчишки поколения шестидесятых, мечтал о приключениях, связанных с космосом. Какое-то время хотел стать лётчиком. В итоге после школы поступил в сельскохозяйственный институт, успешно получил диплом и вернулся в своё село трудиться на благо родной земли. Когда братья и сёстры разъехались по разным городам в поисках мифической Синей птицы, рядом с родителями остались только младший сын Володя и средний Анатолий.

Однажды на Новый год я загадала себе папу, потому что мне очень хотелось, чтобы он носил меня на плечах и покупал сладости. Куда делся прежний, мне никто не рассказывал, вот я и решила, что нужно его попросить у волшебных сил. После этого прошло уже полгода, и вдруг на мой четвёртый день рождения у меня появился папа. Самый настоящий — инженер с усами. Он приехал к нам в Улзет на рабочей машине. Баба Таня растерянно выдохнула:

— Здрасти-мордасти.

Мама смущённо сообщила:

— Вот. Это наш... папа, папа Толя.

Я вспомнила свою новогоднюю мечту. Оказывается, нас и вправду кто-то слышит. Они же прислали именно такого, который мне очень был нужен.

Потом мы катались на машине. Потом вернулись домой и пили чай, я варила вымышленный кисель в игрушечной посудке и старательно угощала этим лакомством папу. Он пил, щурился, вытирал усы и говорил:

— Ай, какая хозяйюшка! Ах, какого вкусного киселя наварила!

* * *

Через неделю ездили к моим новым бабушке с дедушкой, которые были удивлены не меньше, чем баба Таня. Не знаю, как маме, но мне было невероятно радостно и очень хотелось понравиться папиной семье. Кроме того, у меня появился первый настоящий живой дед.

Дед показал мне «курей» и кроликов. Самого большого крола-«бабочку» даже предложил покормить. У кролика дрожали уши, у меня душа. Еле-еле кинув изда-лека морковку, я выскочила из стайки.

— Девка, чо с неё взять, — сообщил дед за ужином, — от, парнишка бы, так то друго дело, а то кролика спужалась. Де-евка.

— Так ты у нас зайка-бояка? — подмигнул папа.

Я смущённо ёрзала на стуле:

— У него зубы.

— И чего, зубы?! Он тебя сам боится. Сидит, грызёт свою морковку и трясётся, как лист осиновый.

— Пап, а можно я не буду этих кроликов кормить, может, мы лучше книжки пойдём покупать?

На следующий день пошли покупать книжки. Покупок было много, но главной добычей стала большая красивая книга Агнии Барто «Вовка добрая душа».

— Прочитаешь — и будешь, как этот Вовка, всем помогать.

— Я и так бабе Тане помогаю посуду мыть, полы мести, и красить помогаю.

— Да-а, красить ты у нас горазда, мамка рассказывала, как ты её лаками для ногтей велосипед свой уделала.

С папой мы много шутили и много смеялись.

— И куда вы столько книжек набрали? — удивилась новая бабушка. — Все картинки за год не пересмотришь.

— Что нам картинки, мы всю читаем, — гордо сообщил папа. — Ну-ка, доча, покажи класс!

— «...Что ж, опять на выручку Вовку нужно звать. Вовка добрая душа, позабавь-ка малыша...» — гордо и с выражением демонстрировала я своё умение.

Через два месяца мы переехали из маленького санаторного Улзета в большое папино село Аларь. От совхоза папе выделили квартиру на улице Лазо.

— Хорошо, колодец рядом, почта. Соседи приличные.

Толя летал как на крыльях. Диван новый купил. Пока холостяком жил, успел кой-чего подкопить на кухонный гарнитур, на холодильник.

— Малёха поднапрячься, к Новому году можно и стенку «состряпать».

Папа говорил иначе, не так, как мы привыкли в Улзете, от него я узнала, что дело можно «обставить», что плохие люди шефа умеют «подмазать», а обновки можно «сварганить».

Так мы стали жить-поживать, да добра наживать. Только баба Таня не захотела уступать новоявленному члену семьи и демонстративно осталась в Улзете. А мне так было даже лучше — недельку дома, недельку в гостях, все новости знаю, и совсем не скучно.

* * *

Пока «сказка сказывается», друг за другом родились у Толи две девочки- погодки. Одна беленькая, как ромашка, другая тёмненькая, как смородинка. «Толина копия» — говорили знакомые про мою среднюю сестричку, «вылитая баба Надя» — говорили про младшую.

Анатолий с двойным усердием принялся за работу — молодой жене и трём дочерям много для безбедной жизни требуется:

— Ничо, мамка, вот на посевной план выполню, телевизор цветной купим, лето отпашу — на машинёшку скрести начнём.

Молодому организму много ли для отдыха надо — часок вечером на рыбалке, суббота — банный день, всё остальное время в две смены — с утра до вечера на машине техпомощи, с вечера до утра на громаде К-700. На сон оставалось не больше пяти часов. Зато дом — полная чаша.

После очередной уборочной кто-то из руководства не стал дожидаться праздника, который традиционно устраивали в совхозной столовой. Усталым, голодным мужикам, управляющим огромными тракторами, отработавшим тяжёлую смену, водку доставили прямо к месту работы — на поле.

* * *

— Можно было спасти? — еле слышно спросил друг, который ехал на юбилей, а попал на другой день после девяти.

— Говорят, можно, — далёким равнодушным голосом ответила мама. — В больницу привезли вечером, а меня только в пятом часу утра вызвали.

— Неужели, кто-то из своих?

— А кто нам теперь скажет? Может, из своих. Я пришла, он ещё живой. Рядом полный таз крови — перелом основания черепа. Слышала, и таких спасали. Если бы в Черемхово вовремя повезли. Он же ещё всё понимал. Про девчонок помнил. За руку меня держал.

— Мне сказали, там драка была, но он только разнимал...

— Какой с него драчун... Как-то в кино с ним пошли, на перекрёстке к нам хулиганы пристали, так он с ними здороваться начал за руку. Я сняла сапог на шпильке да обоим по башке. Он потом мне сказал: «Чего ты на них кинулась-то? Можно же было миром, местные парни».

— Он всегда такой был. Другие студенты ругаются, дерутся, а он всех разнимает, мирит.

— Господи! Неужели места таким на земле нету? Мехотрядовцы в голос утверждают, что он сам отказался за руль садиться, не уверен был, что справится с управлением. И вдруг человек, который осознаёт опасность, на ходу из кабины головой на свой же плуг.

— Странная физика получается. Теперь правды не добьёшься. Одна надежда на Господа Бога. Он не ошибётся.

В нашем доме было ещё много подобных разговоров. Кто-то требовал эксгумации. Но поговорили и забыли. Только Господь решил по-своему. Постепенно Толины друзья плотным кольцом окружили его на аларском возвышенном погосте: заядлый рыбак дядя Саня, охотники Андрей и Володя, хороший человек дядя Жора... А ложные друзья и недруги живут и долго ещё будут жить с тяжёлой и суровой памятью.

Толик родился в многодетной семье. До тридцатилетия он не дожил всего две недели.

Я благодарю судьбу за то, что он стал моим папой.

* * *

Бабу Таню похоронили весной. На полгода она пережила своего зятя. До последнего дня, как могла, помогала дочери. Папина смерть окончательно подорвала её слабое здоровье.

Только следующим летом средняя сестрёнка вспомнила про Улиточку:

— Как там наша Улиточка?

— А! Ты вспомнила! — радостно подпрыгнула младшая.

Мне ничего не оставалось, как возродить эту историю:

— Улиточка взяла своих маленьких сестричек, и они пошли по ягоды. Долго шли мимо Лысой горы, мимо Солёного ключа и вдруг набрали на огромную поляну, сплошь усыпанную спелой клубникой...

— И набрали три ведра, — обрадовалась малявочка.

— А мама у них плачет. Никогда больше с ними не играет. Бабы Тани нету, папы нету. Дедушка с бабушкой грустные, — средняя девочка переносит в сказку жизненные трудности.

— Всё у них хорошо будет, — я обнимаю моих кровинушек. — Мы сами будем маме помогать, я огородом заниматься, полы мыть, стирать...

— Я посуду мыть, — добавляет средняя.

— А я буду рядом ходить, потому что я ещё маленькая, — заявляет младшая.

Мы крепко обнимаемся, щекочем друг дружку, смеёмся.

— Только ты охраняй нас, Улиточка! — обращается ко мне средняя. — Ты наша старшая, нам с тобой не страшно. Мы будем всё-привсё за тобой повторять.

Этой ночью мне снится гигантская улитка. Она протягивает мёртвого воробья. Преодолевая страх, я беру в руки безжизненную птицу. Воробей оказывается тёплым, секунду глядит на меня благодарными чёрными глазками и радостно взлетает в бесконечную высоту.

— Вы не сиротки, — говорит улитка, — сиротки это те, кто душевного тепла не имеет, кого пожалеть некому. Вы можете пожалеть, вы своим теплом многих согреете. Сиротки — это те, кто даже при живых родителях отца и матери не имеют. У вас мать есть... и отец.

— Как же, папы нет, — не понимаю, зачем улитка хочет меня обмануть. — Ты забыла, папа...

— Положи руку на грудь.

Я прикладываю руку к груди.

— Стучит?

— Стучит.

— Неужели там нет отца?

— Есть, — я чувствую, что сердце полно любви, имён и образов. — Все есть, и живые и мёртвые.

— Так всегда будет. Из твоей жизни будут уходить одни люди, приходить другие. Но пока ты есть, пока в груди бьётся сердце, в нём будут жить все, для кого там есть место.

— А если место закончится?

— Место может закончиться на земле и даже под землёй, но в душе и в сердце его ровно столько, сколько тебе нужно. Каждому новому человеку будет просторно и уютно.

— Спасибо тебе, Улиточка!

— Это тебе спасибо.

— Мне-то за что? Это ты учишь меня всему, ты помогаешь радовать сказками моих малышей.

— Ошибаешься. Всё это делаешь ты. Твои поступки, твоя сила, твоя вера. Потому что я — это ты. Потому что ты — это я.



ТАТЬЯНА ХАЛАЕВА



Город, мужеством воспетый

Деревенский рассвет

Петухи оглашают побудку —
На подходе к деревне рассвет.
Спят они удивительно чутко,
И надёжней часов в мире нет!

Хорошо все влюблённые знают
Расписание их с давних веков
И, от счастья забывшись, гуляют
Аж до третьих порой петухов!

Пусть пока ещё звёзды высоки
И в ромашках теряется след,
Но вот-вот полыхнёт на востоке
Алым гребнем волшебный рассвет!

ХАЛАЕВА Татьяна Ивановна родилась на Белгородчине. Закончила режиссёрское отделение областного культурно-просветительного училища и курсы комсомольских работников. Несколько лет работала корреспондентом в районной газете «Родина». Серьёзно начала заниматься поэзией с конца 90-х. Возглавляла секцию поэзии в Севастопольском ЛИТО. Печаталась более чем в 30 коллективных сборниках. Автор книг: *«Молекула Любви»*, *«Угол, который живёт на улице»*, *«Моя Красная Ленка»*. Лауреат Международных поэтических фестивалей «Пристань Менестрелей», «Чеховская Осень», «Алые Паруса». Постоянный член жюри Международного литературного фестиваля «Чеховская Осень» (Ялта) и литературно-музыкального фестиваля маринистов «Творческие Мили». Член Союза писателей России. Живёт в Севастополе.

На благодатном берегу

Согрело солнце синюю волну
И причесало золотой гребёнкой.
Запело лето радостно и звонко,
Задорно брызнув песней в тишину...

Расцвёл восторг от розовых долин,
Морских прогулок, праздного блаженства,
От жарких пляжей и от совершенства
Великолепных выдержанных вин.

Я без оглядки в лето убегу...
И своего желания не скрою —
Остаться в нём ракушкою морскою
На этом благодатном берегу.

Пытка

С меня, как будто с рыбы чешую,	Я не впаду от боли в забытьё.
Ещё с живой всё «русское» снимают.	Прощу предательство родной Державы.
И душу обнажённую мою	Сама вовеки не предаю её —
День ото дня трезубцами пытаются.	Как дочь, на это не имею права!

Озеро-боль

*Солёному озеру
в окрестностях Феодосии*

Дочиста высохло озеро.	Сколько ж земля наша плакала,
Инеем выпала соль,	Если осталась без слёз!
Словно его заморозило...	
В сердце щемящая боль.	Споря с ветрами горячими,
	Выпадет ночью роса.
Это явление знаково —	Смотрит глазами незрячими
Вдумайтесь, люди, всерьёз:	Озеро-Боль в небеса...

Мой путь

Я севастопольскою Дашею	Как эстафету — вёдра Дашины,
По старым улочкам хожу,	Незримо я ношу с собой.
Своею клеточкою каждою,	
Как воду, русский дух ношу!	Пусть коромысло книзу клонится,
	Врезаясь намертво в плечо,
Там, где знамёна «перекрашены»,	Мой путь — Владимирская звонница —
Там, где ведётся с прошлым бой,	Благословляет горячо.

Книги-герои

*В Морской библиотеке им. М.П. Лазарева
во время обороны Севастополя в ВОВ
погибло более 200 000 редких книг*

Не вычеркнуть скорбные даты Из жизни великой страны, Где книги, как будто солдаты, Погибли в пожаре войны.	Мы горечь потери не скроем, Мы чувств не утратим своих. И хочется списки героев Продолжить названием книг...
Лишь пепельно-белые пряди Оставил недрогнувший строй... Их всех бы представить к награде За стойкость и дух боевой!	Но их не найти в картотеке, На полках они не видны. Их нет больше в библиотеке — Они не вернулись с войны...

Возвращение

Салют и колокольный звон, И флаги в небеса взметнулись... В Россию мы домой вернулись! — Звучит как песнь со всех сторон.	Мы нашей памятью богаты, К победе нас вела она. Восторг и радость — через край! Глядят на это ликование И море, затаив дыханье, И солнца крымский каравай.
К нам возвратились имена Из плена, будто бы солдаты.	

Светлячки

Нас пугали засухой и жаждой,
Предвещали — будем голодать!
Но с водой небесной, помнит каждый,
В Крым спустилась Божья благодать.

А теперь вот холодом и тьмою
Нас решили снова испытать —
Посмотреть, как русскою зимою
Полуостров будет замерзать...

Этот горький опыт нам полезен,
Как вакцина от вреда и бед,
Чтобы избежать потом «болезней»,
Крымский укрепить иммунитет.

В каждом доме свечи, словно в храме...
Если вниз из космоса взглянуть —
Наши души светят светлячками
И друг другу освещают путь.

И от доброты людской повсюду,
Даже в холод кажется тепло!
Светлячки зимою — это чудо,
Как над бухтой Ангела крыло.

Не замёрзнет Крым! И не ослепнет!
Не умрёт от жажды никогда!
С каждым днём он русским духом крепнет,
Как в Крещение святостью вода.

Праздничное

Февраль на службе в 23-й день.
Он чтит достойно свой военный статус.
Пошевелиться морю нынче лень...
Похожа бухта в штиль — на школьный атлас.

Здесь всё понятно мне, как дважды два.
Маршрут знакомый и давно любимый:
От стенки Севастопольской на «Минной»
До крейсера ракетного «Москва».

Резвятся чайки радостно кругом.
Военный катер мчит как по проспекту.
И солнце пишет важные конспекты
На водной глади золотым пером.

Обходят город стороной шторма.
Вода от счастья радостно искрится
И зайчиками прячется в ресницах...
Такая в Севастополе зима!

Город-адмирал

Город, мужеством воспетый,
Он давно легендой стал.
Купола, как эполеты,
Носит город-адмирал.

Город носит белый китель —
Флотский праздничный наряд.
И хотите не хотите ль,
Здесь по-русски говорят!

Здесь мечтою пахнет ветер,
Здесь бывшее свято чтут:

Обелиски здесь и дети
Вахту памяти несут.

Мы с тобой стоим в обнимку,
Радость в сердце не тая.
В бухту входят на побывку
Корабли, как сыновья.

Крики чаек в море тают,
Тихо плещется волна...
И она, я точно знаю —
В этот город влюблена!

Скрижали истории



*К 210-летию со дня рождения графа
Николая Муравьёва-Амурского*

АРТЁМ ЕРМАКОВ

КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Амурский рывок

АМУРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ Н.Н. МУРАВЬЁВА И ИХ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

О деятельности генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьёва-Амурского и его сподвижников в последнее время пишут не так уж редко¹. Однако большая часть этих исследований носит характер историко-биографический и историко-географический. Существенно реже изучается внешнеполитический контекст этой деятельности, и уж совсем редко обсуждается «муравьёвская» социально-экономическая политика и основанный на ней порядок управления Сибирью. Между тем именно Н.Н. Муравьёв впервые в истории сформировал управленческую команду, способную в короткие сроки осуществить активный политический курс на крайнем востоке Российской империи.

«Делая сравнение несколько гиперболическое, — писал учёный-географ М.И. Веников, — я могу сказать, что для Восточной Сибири «век Муравьева» был тем же, чем век Екатерины II для всей России и век Людовика XIV для Франции»². Таким образом, знаменитые Амурские сплавы 1854–1858 гг. стоит рассматривать не только в военно-административном или научно-исследовательском ключе, но и как основной механизм оригинальной социально-экономической стратегии развития Восточной Сибири и управления ей. Именно в ходе этих уникальных по своему характеру экспедиций был сформирован культурно-исторический контекст дальнейшего развития Азиатской России. Как же это происходило?

На подступах к Амуру

Изменившаяся к началу 1840-х гг. в результате военной и экономической активности европейских держав политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском

¹ Алексеев А.И. *Амурская экспедиция, 1848–1855 гг.* М., 1974; Алексеев А.И. *Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки до конца XIX века.* — М., 1982; Кабанов П.И. *Амурский вопрос.* Благовещенск, 1959; Кутузов М.А. *Честь генерал-губернатора: Н.Н. Муравьев Амурский: док.-ист. очерк.* Владивосток, 1997. Наиболее полный список литературы по теме см.: Памяти достоин. Биобиблиографический указатель. Благовещенск, 2014 // http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/muravev-amurskiy_verstka.pdf

² Веников М.И. *Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии.* Хабаровск, 1970. С. 97.

регионе поставила перед властями Российской Империи новые сложные задачи. По мнению А.В. Ремнева, «малая населенность российского Дальнего Востока, падение управляемости Охотско-Камчатским краем и Русской Америкой, неясность экономических перспектив и географическая отстранённость от новых зон политической активности грозили России утратой традиционно доминирующего положения на азиатском северо-востоке»³. В условиях разраставшейся многовекторности внешней политики России на Дальнем Востоке самодержавие должно было выстроить новую региональную конструкцию международных отношений, используя ослабление военно-политического могущества Цинской империи и противоречия, существовавшие между Англией (основной соперницей России в Азии) и США.

Определяя смысл территориальной политики императора Николая I на Дальнем Востоке, М.И. Венюков писал: «Сибирь не имела выхода со стороны Тихого океана. Суровые побережья Охотского моря не представляли условий, необходимых для основания и развития там торговых городов, а затем ничего не оставалось более, как занять опять Амур...» Если первоначально возвращение Амура связывалось с защитой и снабжением продовольствием Охотско-Камчатского края, то скоро Амур из средства превратился в самоцель, определив новое направление правительственных действий⁴.

Неожиданно для многих 5 сентября 1847 г. генерал-губернатором огромного края, простиравшегося от Енисея до побережья Тихого океана, был назначен генерал-майор Н.Н. Муравьев, которому в ту пору было всего 38 лет. Однако за его плечами уже была военная служба в Польше и на Кавказе, а также небольшой губернаторский опыт в Туле. Получив от людей, осведомлённых о делах края, необходимые сведения и ознакомившись с состоянием дальневосточной политики, Муравьев объявил предшествовавший правительственный внешнеполитический курс неверным или даже преступным: «У меня довольно твердости и постоянства, чтобы выполнить все то, что я вижу и представляю, но я не умею бороться против неблагонамеренности; все дела Камчатки и Охотского моря, особенно после всеобщего европейского мира в 1815 году, положительно свидетельствуют, что в последние 35 лет враждебный дух руководствовал всеми нашими действиями в этой стороне!»⁵

В первом же своем докладе царю в январе 1848 г. Н.Н. Муравьев указал на главные, с его точки зрения, сибирские проблемы. В том числе: нерешённость вопроса о границе с Китаем, неудобства Охотского порта и возможность его переноса в другое место, улучшение сообщений с Охотским морем и Камчаткой. Генерал-губернатор специально остановился и на новом значении, которое приобрёл Китай и «Восточный океан с его морями, обратившими на себя внимание европейских морских держав».

Николай I был заинтересован в том, чтобы двинуть дальневосточные дела вперёд, и не случайно при назначении на пост Восточно-Сибирского генерал-губернатора Муравьев получил право лично обращаться к императору в особо важных случаях. Но даже императорская поддержка не имела абсолютного характера, иначе трудно объяснить то, что Муравьев был утверждён в должности генерал-губернатора лишь 6 декабря 1849 г.

³Ремнев А.В. *Россия Дальнего Востока. Иперская география власти XIX – начала XX в.* Омск, 2004. С. 124.

⁴См.: Кабанов П.И. Указ. соч.; Мамай А.С. *Амурский вопрос в дальневосточной политике России в середине XIX в.* Н.Н. Муравьев-Амурский : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1997.

⁵Барсуков И.П. *Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский по его письмам, официальным документам, рассказам современников и печатным источникам: (материалы для биографии).* М., 1891. Т. I. С. 222.

Суть новой дальневосточной доктрины Н.Н. Муравьев изложил в записке «Причины необходимости занятия устья р. Амура и той части острова Сахалина, которая ему противостоит, а также левого берега Амура» (1849 г.)⁶. Главными мотивами активизации дальневосточной политики и возвращения России Амура он считал тесную связь перспектив развития Восточной Сибири с установлением удобного сообщения по Амуру с побережьем Тихого океана, а также возрастающую угрозу в регионе со стороны европейских держав. Овладение Амуром англичанами могло дать им прекрасную возможность для экспансии во внутренние провинции Китая, на российский Дальний Восток и далее в Сибирь. Россия, в силу своего исторического права, была обязана воспользоваться географическим преимуществом и дать адекватный ответ на новый вызов, брошенный ей Западом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Но главная проблема оставалась нерешенной. Территории по Амуру и Приморье не имели дипломатически и юридически закреплённого владельца. Муравьев сосредоточил все свои усилия на разрешении этого вопроса. Прежде всего генерал-губернатор Восточной Сибири просил наделить его полномочиями, которые выводили его из подчинения некоторых министерств (особенно МИД, бесценно возглавляемым сторонником минимальной активности на Дальнем Востоке К.В. Несельроде). Для ускорения хода дел Муравьев также просил разрешения обращаться напрямую к императору, минуя министерства и ЕИВ Канцелярию. Восточная (Крымская) война 1853–1856 гг. уже началась, когда Муравьев, подозревая, что военные действия в скором времени могут перекинуться и на Дальний Восток, подал записку с просьбой о разрешении сплавить по Амуру войска для защиты устья Амура и Камчатки. Разрешение было дано лично императором.

Поиски средств заставляли Муравьева применять «крутые» меры к населению Восточной Сибири, в особенности Забайкалья, которое вынуждено было нести различные повинности. Часть русского населения Забайкалья перевели на военное положение (в казаки), и, соответственно, вся нагрузка и по гражданской, и по военной службе (покупка лошадей, оружия, постройка казарм, административных зданий и т. д.) ложилась на его плечи. Материальная база для похода на Амур была подготовлена при мобилизации всех местных ресурсов. Петровский завод был переоборудован и приспособлен для выпуска нужных железных изделий. Было построено два парохода: «Аргунь» и «Шилка».

Затрудняясь организовать чисто русское переселение, Муравьев считал особо важным привлечь на свою сторону и забайкальских бурят. Этому должны были послужить меры по поземельному устройству бурят, организации у них суда и самоуправления, регламентации положения ламаистского духовенства. Параллельно ставилась цель снизить религиозную зависимость бурят от ламаистских центров в Монголии и Тибете⁷. Стремление опереться на поддержку (в том числе и военную) местного населения было традиционным в российской политике на востоке. В рамках этой политики было создано «инородческое войско», включившее в свой состав тунгусов и бурят на правах казаков. В 1851 г. инородческие полки вошли в состав Забайкальского казачьего войска, а бурятским и тунгусским казакам отвели земли на привилегированных условиях.

Хлеба для снабжения войск и первых поселенцев, отправлявшихся на Амур, также катастрофически не хватало. Везти его даже из земледельческих районов

⁶ Барсуков И.П. Указ. соч. Т. II. С. 46–49.

⁷ Там же. Т. I. С. 311.

Восточной Сибири, лежавших к западу от Байкала, было очень дорого. Муравьев прибегнул к особой политике. На Амур закупали хлеб по ценам, в полтора раза превышающим средние в Забайкалье.

14 апреля 1854 г. Муравьев отправил в Трибунал внешних сношений Китая особый лист, в котором писал, что император России, «...заметив лживые поступки некоторых иностранных держав, питающих враждебные замыслы на наши приморские владения, повелел отправить шесть больших военных кораблей...»⁸, и сообщал, что руководство экспедицией и дальнейший переговорный процесс по разграничению Приамурья отныне возложены на него.

Первый и второй Амурские сплавы и выигрыш войны за Тихий океан

7 мая 1854 г. Муравьев приехал в Шилкинский завод, начальный пункт первого сплава и место всех приготовлений к нему. На «караван» погрузили 25 000 пудов продовольствия. Экспедиционный отряд состоял из 912 человек, не считая Муравьева и его свиты. В том числе 120 кавалеристов с лошадьми. 14 мая амурская экспедиция двинулась в путь. А. Сгибнев, свидетель событий, так описывает начало плавания: «В то время мы имели об этой реке самые темные и сбивчивые понятия... и потомуплыли, как говорится, ощупью, не зная даже в какой степени река судоходна»⁹.

20 мая флотилия подошла к месту древней русской левобережной крепости Албазин. Н.Д. Свербеев, назначенный Н.Н. Муравьевым чиновником особых поручений при Якутском правлении, участник экспедиции, вспоминал: «Что-то родное сказалось сердцу, когда мы вышли на долину, где жили русские люди, где они так долго, храбро и упорно отстаивали право своего обладания»¹⁰. На развалинах русского поселения была отслужена панихида по его защитникам.

Наконец, экспедиция приблизилась к главному административному и военному центру китайского Приамурья — маленькому городку Айгунь на правом берегу реки. Появление русских произвело на китайцев большое впечатление. «Это известие... как бы громом поразило начальника Айгуня, который, не получив никакого распоряжения от своего правительства о сплаве... ничего об этом не ведая...», сначала не хотел пропускать флотилию, «...но появление невиданного манджурами парохода и огромного числа плывущих по реке барж и лодок... так перепугало манджурских чиновников, что они желали... скорейшего удаления русского отряда...»¹¹

14 июня экспедиция была уже у Мариинского поста. Путь по Амуру в Тихий океан был открыт. Около 350 солдат и пушки были отправлены морем в Петропавловск-на-Камчатке, что обеспечило камчатскому губернатору В.С. Завойко возможность организовать отпор англо-французскому флоту, совершившему нападение на Петропавловск 16 августа 1854 г.

Для Н.Н. Муравьева было характерно стремление всё видеть и во всё вникать

⁸Барсуков И.П. Указ. соч. Т. II. С. 114

⁹Заборинский А.И. Граф Н.Н. Муравьев-Амурский в 1848–1856 гг. Очерк и письма // Русская старина. СПб., 1881. № 10. С. 160.

¹⁰Свербеев Н.Д. Описание плавания по р. Амуру // Записки Сиб. Отд. Р.Г.О. 1857. Кн. 3. С. 160.

¹¹Барсуков И.П. Указ. соч. Т. I. С. 111–113. С. 372.

самому. Последующие сплавы с 1855—1858 гг. (кроме сплава в 1856 г.) он также возглавлял лично. При этом «флотилией» командовал офицер особых поручений П.В. Казакевич, а войском — М.С. Корсаков, который позднее, после отставки Муравьева-Амурского, станет его преемником, генерал-губернатором Восточной Сибири.

М.С. Корсаков сообщал Муравьеву в письме, что император Николай I обнял и расцеловал вестника первого похода и повелел всех спутников Муравьева представить к наградам. «Корсакова произвели в полковники, Невельского — в адмиралы, Казакевича — в 1-й ранг...» Рядовым, участвовавшим в сплаве, «пожаловали по три рубля серебром на каждого»¹².

Муравьев, судя по его действиям, постоянно помнил о далёких перспективах — освоении и заселении нового края. Уже при первом сплаве начала создаваться цепь военных постов и станиц на левом берегу Амура, образовавших позже Амурскую линию. Параллельно с осуществлением первых сплавов и фактическим заселением левого берега и устья Амура велись переговоры о разграничении с китайскими властями. По-прежнему считая определение границ с соседним государством важнейшей задачей, Муравьев видел основную проблему в отношениях России не с Китаем, а с Англией, США и Францией.

После того как новый император Александр II разрешил второй сплав по Амуру, разросшийся караван было решено разделить на три отделения: первое состояло из 26 барж под начальством самого генерал-губернатора, второе — из 52 барж под начальством подполковника А.А. Назимова, третье — из 35 барж под начальством полковника М.С. Корсакова. С этим сплавом прибыло в Мариинск 2 500 солдат, а также учёная экспедиция Сибирского отделения Российского географического общества, которую возглавлял известный биолог Р.К. Маак. В составе экспедиции было 6 человек, в том числе: астроном, картограф, топограф. Экспедиция была организована на средства иркутского купца и промышленника С.Ф. Соловьёва, предоставившего на организацию исследования Амура полпуда золота.

С этим же сплавом под распоряжением чиновника особых поручений М.С. Волконского (сына ссыльного декабриста) прибыло около 600 человек первых русских земледельцев — иркутских и забайкальских крестьян для поселения между Николаевским и Мариинским постами. Уже к концу 1855 г. на правом берегу Амура были основаны деревни: Иркутская, Богородская, Михайловская, Ново-Михайловская, Сергеевская и Воскресенская. Численность русских войск в низовьях Амура возросла до 7 000 человек, считая 1 096 моряков из перебазированного в Николаевск Петропавловского порта. В конце 1856 г. Николаевский порт был переименован в город Николаевск, ставший центром Приморской области, в состав которой вошли бывшая Камчатская область и Удский край.

Первым военным губернатором Приморской области и командующим Сибирской флотилией был назначен капитан первого ранга П.В. Казакевич. Начальником сухопутных войск, сосредоточенных в низовьях Амура, стал полковник М.С. Корсаков. Начальником штаба при главнокомандующем всеми морскими и сухопутными силами был первооткрыватель устья Амура Г.И. Невельской.

12 мая 1855 г. Н.Н. Муравьев вновь встретил китайских сановников, направлявшихся по распоряжению Пекина в Забайкалье для переговоров по вопросу разграничения. Генерал-губернатор предложил им провести совещание в Мариинске, с чем китайские представители согласились. 9 сентября 1854 г. в Мариинском

¹²Свербеев Н.Д. Указ. соч. Кн. 3. С. 165

посту начались первые переговоры с Китаем об Амурской пограничной черте. В.С. Завойко от имени заболевшего Муравьёва изложил следующие предложения: Россия считает необходимым организовать прочную защиту Амура от иностранцев, чтобы обезопасить внутренние области Восточной Сибири. Низовья Амура и весь Приморский край, занятый русскими, являются владением России; для связи этих владений с внутренними областями России необходимо иметь свои поселения на левом берегу Амура. Китайские представители, ссылаясь на отсутствие полномочий, отказались от обсуждения внесённых Муравьёвым предложений. Ни к какому соглашению стороны не пришли, но Муравьёв, прощупав настроение собеседников, почувствовал, что он стоит на правильных позициях.

Завершив переговоры, Н.Н. Муравьёв занялся подготовкой защиты устья Амура от неприятеля: устройством артиллерийских батарей, размещением флота на зимовку в устье Амура, обеспечением солдат и казаков помещениями, продовольствием и т. д. Поручив общее командование войсками и всем персоналом своевременно эвакуировавшему Петропавловск-Камчатский контр-адмиралу В.С. Завойко, генерал-губернатор 30 сентября 1855 г. отбыл из Николаевска в Аян. Оттуда прежним маршрутом, верхом на оленях, лодках, на собачьих упряжках по замёрзшей реке добрался до Якутска, и только в конце декабря прибыл в Иркутск. Выигрыш Тихоокеанской кампании при общем неблагоприятно складывавшемся для России течении Крымской войны был обеспечен.

Третий и четвёртый Амурские сплавы и заселение новых территорий

В навигацию 1856 г. из Забайкалья по Амуру был организован третий сплав, в задачу которого входила расстановка по Амуру постов с продовольствием, на которые могли бы опереться войска при их возвращении в Забайкалье по окончании войны. Получив известие о мире, Н.Н. Муравьёв уже 19 марта пишет обстоятельное письмо военному губернатору Забайкальской области с конкретной программой экстренных мероприятий. Предлагалось: срочно начать подготовку эвакуации войск с низовьев Амура, где было сосредоточено более 3 000 солдат и казаков; для их снабжения в долгом пути (2 300 верст) сплавить по Амуру продовольствие, поставить по левому берегу склады для его хранения, разместить там военные посты. Предложено было создать 5 таких складов через 200–250 вёрст.

Особое внимание Н.Н. Муравьёв предложил уделить посту при устье реки Зеи, сделать его главным и разместить там до 500 солдат и казаков. Этот пост вблизи маньчжурского городка Айгуня и должен был стать опорным пунктом для связи с низовьями Амура. Сам Н.Н. Муравьёв отбывал в Санкт-Петербург для последующего участия в коронации Александра II, поэтому общее руководство сплавом и эвакуацией войск поручалось М.С. Корсакову, назначенному в конце 1855 г. военным губернатором вновь созданной Забайкальской области.

В соответствии с рекомендациями Муравьёва, из Шилкинского завода на 110 судах, баржах и плотках начался сплав войск, казаков и продовольственного груза по Амуру (5 906 пудов муки, 843 пуда крупы, десятки пудов масла, соли, 675 вёдер спирта). По пути в низовья Амура приказано было выгрузить продовольствие на 5 складах, оставить там солдат и казаков. Для хранения продовольствия приказано было строить склады из брёвен плотов. В начале мая караван судов, во главе с пароходом «Надежда», на котором находился М.С. Корсаков, двинулся по Шилке,

затем по Амуру. 21 мая 1856 г. вблизи устья Зеи на левом берегу Амура высадили с барж и плотов 14-й линейный батальон. Началась расчистка территории, заготовка дров, разработка земли под посадку картофеля. Так было положено начало основанию Усть-Зейского поста (ныне г. Благовещенск).

М.С. Корсаков на пароходе сплавился также до Айгуня, где произошла его встреча с местным начальством. После взаимных приветствий он объявил китайцам, что прибыл сюда по распоряжению генерал-губернатора Н.Н. Муравьева, и предупредил их о том, что в течение всего лета вверх и вниз по реке будут ходить русские суда и пароходы. Из низовьев Амура будут возвращаться войска, для обеспечения которых генерал-губернатор приказал оставить на некоторых местах по левому берегу Амура продовольствие, людей для его охраны и оказания, в случае необходимости, помощи.

Принятые меры обеспечили возможность эвакуации в Забайкалье с низовьев Амура бывших там почти трёх тысяч солдат 13-го и 14-го линейных батальонов и казаков. Вверх по реке на судах и лодках, а также пешим порядком по берегу предстояло преодолеть 2 300 вёрст от Мариинска до Усть-Стрелки. Созданные заранее военные посты со складами продовольствия были важными промежуточными базами для уставших от тяжёлого пути людей. 9 августа Н.Н. Муравьев направил М.С. Корсакову предписание оставить на левом берегу Амура посты на всю зиму. В том числе — «оставить на устье реки Зеи не менее 50 казаков, расположив их там сколь возможно удобнее, с тем, что с первым сплавом будущей весны будут к ним доставлены их семейства и все домашнее обзаведение уже для окончательного там поселения»¹³.

По распоряжению Н.Н. Муравьева Н.И. Хилковскому было поручено ехать в Забайкалье для формирования Амурского казачьего полка и подготовки к сплаву будущего года. Генерал-губернатор предложил также М.С. Корсакову и П.В. Казакевичу организовать почтовое сообщение от Забайкалья до Николаевского поста. Так летом 1856 г. всё левобережное Приамурье фактически стало российской территорией.

В начале августа 1856 г. Н.Н. Муравьев писал из Москвы М.С. Корсакову: «Дело Амура, как ты видишь уже из бумаг, явно и решительно поддерживается правительством: теперь не только государь и великий князь, но и все министры в пользу его. Наконец, в глазах и мнении государя, великого князя и военного министра, ты — преемник мой к приведению в исполнение этого дела, которое должно вознаградить Россию за все то, что она терпит от Запада»¹⁴.

21 октября 1856 г. был подписан указ Александра II о создании единой Приморской области из Камчатской области и Приамурского края. Административным центром был объявлен Николаевск, преобразуемый из поста в город. Военным губернатором Приморской области был утверждён П.В. Казакевич. Камчатская флотилия была преобразована в Сибирскую. В её состав были включены 6 винтовых корветов и 6 клиперов. Униженная Парижским миром на Чёрном море Россия создавала мощную флотскую группировку на Тихом океане.

15 декабря 1856 г. Н.Н. Муравьев вернулся из Петербурга в Иркутск. Началась деятельная подготовка к следующему шагу — переселению на Амур казаков Амурского казачьего полка и организации нового сплава переселенцев в летнюю навигацию 1857 г. В апреле на Шилку были стянуты солдаты линейных батальонов, казаки, служащие, подготовлены баржи, плоты, лодки. 16 мая 1857 г. Н.Н. Муравьев выехал из Иркутска, 27 мая караван барж, плотов, лодок с двумя паровыми катерами тронулся вниз по Шилке, затем по Амуру. 3 июня сплав был уже у Усть-Зейского поста.

¹³Цит. по: Шиндялов Н.А. Основатели Благовещенска. Благовещенск, 2006. С. 36.

¹⁴Барсуков И.П. Указ. соч. Т. I. С. 478.

К посту были сплавлены два линейных батальона Восточно-Сибирских войск и дивизион лёгкой артиллерии: всего более двух тысяч человек. Казаки-переселенцы должны были прибыть позднее — в июле. Разместившись лагерем, солдаты начали обустривать территорию для семей казаков будущей Усть-Зейской станицы и готовить для себя зимние квартиры. Один батальон предполагалось оставить здесь на постоянное размещение. Прибывший с солдатами священник походной православной церкви А. Сизой получил разрешение использовать бывший склад продовольствия поста для строительства церкви. Брёвна дома были сплавлены на 2 версты ниже поста, где на возвышенном месте из них построили здание храма. В строительстве принимали участие солдаты, офицеры и сам генерал-губернатор. Строительство церкви завершили осенью 1859 г. Никольская церковь стала и первым зданием будущего города Благовещенска.

Летом 1857 г. по левому берегу Амура от Усть-Стрелки до Хинганского хребта были основаны 15 казачьих селений. Названия селениям давались по именам землепроходцев XVII в. — А. Бейтона, А. Пашкова, А. Толбузина; активных соратников Н.Н. Муравьёва в борьбе за решение Амурского вопроса — М.С. Корсакова, П.В. Казакевича, Н.П. Аносова, А.И. Бибикова, А.С. Сгибнева; золотопромышленников Е.А. Кузнецова и С.Ф. Соловьёва, внесших большие средства в финансирование сплавов. Таким образом, Муравьёв наглядно поддерживал местный патриотизм, не упуская случая подать свою деятельность на Амуре в широком историческом контексте русского освоения Сибири.

Большую работу на Амуре летом 1857 г. проделала топографическая экспедиция М.И. Венюкова. Были составлены карты размещения селений, выполнены необходимые измерения и составлены описания территории от Усть-Стрелки до р. Буреи — общей протяженностью в 1 137 верст. Таким образом, к зиме 1857–58 гг. на среднем Амуре уже проживало около 3 000 русского населения.

В этом же году при впадении реки Уссури в Амур было основано поселение тринадцатого линейного батальона, названное Хабаровским. Забегая вперёд, скажем, что в 1858 г. для привлечения поселенцев было решено, что любой переселенец, отправляющийся в Приамурье за свой счёт, имел право приобрести земельный участок в собственность, а те, кто отправился за счёт казны, получали участки в пользование.

Активную поддержку действиям генерал-губернатора на Амуре оказывало и руководство Русской православной церкви. Архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (Вениаминов) ещё в 1856 г. писал о необходимости, «как в первые времена заселена была Сибирь», переселить сюда выходцев из Европейской России, разместить их по почтовому тракту, сознавая при этом, что без насильственных мер не обойтись. Он специально разъяснял важность русского культурного продвижения: «Эти переселенцы, придя в Сибирь, принесли с собою все свои, общие всем, обычаи, свои познания, свои порядки и свое трудолюбие; для них переменилось почти одно только место, — а общество, т. е. их соседи, те же, что и были в России»¹⁵. Казаки на Амуре строили церкви едва ли не раньше, чем были устроены дома и распаханы поля. Определяя главную цель присоединения к России обширного и почти пустынного Амурского края, Иннокентий отмечал, что она заключается прежде всего в том, «чтобы благо временно

¹⁵Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский. По его сочинениям, письмам и расказам современников. М., 1883. С. 383

и без столкновений с другими державами приготовить несколько мест для заселения русских, когда для них тесно будет в России»¹⁶.

В создании Приамурского края, кроме крестьян и казаков, участвовали регулярные войска. Именно во многом благодаря солдатам были построены первые дороги, города и села, переправы и мосты через реки, телеграф. «При таких условиях, выработался совершенно своеобразный тип сибирского линейного солдата. Он охотник, плотник и кузнец; в лесу и степи он как дома; он везде найдет дорогу и средства к существованию, он обладает талантом объясняться с инородцами, язык которых ему совершенно неизвестен; он невероятно изобретателен в пользовании обстоятельствами и тем, что дает природа; словом, это человек самостоятельный и способный выйти победителем из самых затруднительных положений»¹⁷.

Пятый Амурский сплав и заключение договора о границе с Китаем

Предстояло провести пятый по счету сплав. 6 апреля 1858 г. Муравьев в письме к военному министру высказывал следующее: «До сих пор мы действовали на Амуре, не прерывая дружеских отношений с соседями, имея полное на них влияние. В 1850 г. мы стали у устья реки, в 51 и 52 гг. осмотрелись и заняли нужные пункты вверх по реке, в 53 г. заняли южную оконечность острова Сахалина, в 54 г. проплыли по реке один раз, в 55 г. стали плавать взад и вперед, в 56 г. продолжали плавать и расставили по всему левому берегу казачьи посты. Китайцы никогда и ни на что не давали своего согласия, но никогда не смели действиям нашим препятствовать, напротив, помогали нам с немаловажными для себя издержками; опыт доказал нам, что с китайцами надо действовать, а не говорить»¹⁸.

Муравьев выехал из Иркутска, по льду переправился через Байкал и в двадцатых числах апреля был в Шилкинском заводе. Отсюда экспедиция двинулась вниз по Шилке. Готовясь к предстоящим переговорам, он сформировал представительную делегацию. В неё были включены: П.Н. Перовский (сотрудник министерства иностранных дел, пристав Пекинской духовной миссии), Я.П. Шишмарев (переводчик маньчжурского языка, в будущем активный участник проекта создания независимой Монголии), Е.К. Бютцев, К.Ф. Будогосский, архиепископ Иннокентий (Вениаминов) и несколько служащих.

Стремясь быстрее встретиться с китайскими представителями, Н.Н. Муравьев 7 апреля 1858 г., ещё до полного таяния льда на реках, выехал с участниками делегации на Амур. 5 мая прибыли в Усть-Зейскую станицу. 6 мая туда же прибыл айгуньский амбань с известием, что князь И-Шань уже прибыл в Айгунь и готов вести переговоры. Н.Н. Муравьев согласился и внёс свои предложения о начале и содержании переговоров.

9 мая 1858 г. архиепископ Иннокентий в присутствии генерал-губернатора, в Усть-Зейской станице на расчищенной и подготовленной площади вблизи берега

¹⁶Барсуков И.П. Иннокентий, митрополит московский и коломенский... С. 382. О православной миссионерской деятельности на Амуре см.: Исаченко Б.А. Православное миссионерство на Амуре во второй половине XIX в. // Вестник Амурского государственного университета. 2001. Вып. 12. С. 21–23.

¹⁷Буссе Ф.Ф. Уссурийский край // Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом отношении. СПб.; М., 1895. Т. XII. Ч. 2. С. 430.

¹⁸Цит. по: Болохвитинов Л.М. Русский Амур // Первое сентября. География. 2003. №19.

Амура, заложил храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Поддерживая предложение архиепископа, Н.Н. Муравьев в ознаменование этого события принял решение переименовать Усть-Зейскую станицу в Благовещенскую и преобразовать её в город. 10 мая Н.Н. Муравьев на катере в сопровождении двух канонерских лодок отбыл в Айгунь.

В первый же день переговоров были определены точки зрения сторон на проблему установления границы. Китайские представители изначально не были настроены соглашаться на русские условия. Начались длительные дискуссии. Однако китайские чиновники также были заинтересованы в положительных итогах встречи — в сложных условиях продолжавшейся Второй Опиумной войны с европейскими державами Китаю нужна была поддержка России. 16 мая приемлемый для обеих сторон текст договора был. Главные итоги переговоров — левый берег Амура признавался принадлежащим России, правый берег Амура до реки Уссури — признавался принадлежащим Китаю. Приморье — территории от Уссури до Амура были оставлены в совместном владении. И-Шань отказался решать этот вопрос, ссылаясь на то, что он не уполномочен решать пограничные проблемы в Приморье.

Так, Россия официально восстановила суверенитет над уже фактически принадлежавшим ей левобережным Приамурьем. Это был выдающийся успех многолетних усилий Н.Н. Муравьева и его соратников.

16 мая 1858 г., поздним вечером, оформление договора завершилось. На следующий день, 17 мая, русская делегация на катере вернулась в Благовещенскую станицу. Всё её население с энтузиазмом приветствовало прибывших. Архиепископ Иннокентий устроил благодарственный молебен, затем обратился к Н.Н. Муравьеву с яркой приветственной речью, выразив уверенность, что дела и подвиги его не будут забыты, история воздаст должное его трудам. «Нет сомнений в том, — сказал архиепископ, — что и в настоящее время если и не вся Россия, то вся Сибирь и все благомыслящие россияне и все твои сподвижники с радостью, с благодарностью и с восторгом примут известие о совершенном тобою ныне деле». Затем состоялся крестный ход к храму с молитвами благодарения. После молебна все чины были приглашены на коллективный обед.

Н.Н. Муравьев огласил приветственный приказ: «Товарищи! Поздравляю Вас! Не тщетно трудились мы: Амур сделался достоянием России! Святая церковь молится за нас! Россия благодарит. Да здравствует император Александр, и да процветает под кровом его вновь приобретенная страна! Ура!»

Договор был с пониманием воспринят в Китае. 2 июня 1858 г. в Пекине императорским указом он был ратифицирован. Высокую оценку получил договор и в Петербурге. По представлению Н.Н. Муравьева, активные участники были награждены императором орденами, удостоены материального поощрения и повышены по службе. Н.Н. Муравьев был возведён в графское достоинство и к его фамилии добавили титул «Амурский».

В августе 1858 г. Н.Н. Муравьев-Амурский вернулся в Иркутск. В городе по этому случаю была устроена торжественная встреча. Начались приёмы и банкеты с поздравлениями и чествованием генерал-губернатора. Вот как описывает эту торжественную встречу один из его современников: «У городского шлагбаума по Амурскому трактату выстроены были Триумфальные ворота, изукрашенные флагами и зеленью, где предполагали встретить Н.Н. Муравьева все высшие чины и граждане Иркутска и отправиться вместе с ним в собор для принесения благо-

дарственного молебна... Вечером город был иллюминирован, а на площади против штаба выставлены военные музыканты и певчие; на штабе искусно выведены были из горящих площадей буквы, означающие: «Амур наш»¹⁹.

В том же году состоялось подписание Тяньцзиньского договора, по которому Россия мирно получала все торговые права в Китае, которых недавно добились военной силой другие западные государства. Наконец, в 1860 г. русским послом Н.П. Игнатьевым был заключён дополнительный Пекинский договор, в целом, определивший линию российско-китайской границы от слияния рек Шилки и Аргуни до побережья Тихого океана²⁰. Последний документ лично утвердили императоры обеих стран.

Итоги и лавры

В январе 1861 г. генерал-губернатор сдал свою должность преемнику и ученику Корсакову и навсегда покинул край, где им было сделано так много. Современники долго потом вспоминали, как сердечно провожали его в Иркутске: «Назначенный для отъезда день начался в соборе, в котором при архиерейском служении граф Муравьев, окруженный обществом, отстоял напутственный молебен. Площадь, или, лучше сказать, ряд площадей, окаймляющих собор, кишела народом. После молебна все, имевшие на то право, бросились в близлежащее Собрание. Граф Муравьев дошел до него пешком; народ теснился около него; слышались прощальные крики. Графу приходилось останавливаться, выслушивать прощальные напутствия. Наконец, он в Собрании. Громадная зала последнего, прилегающие комнаты кишели публикой. Тут были и мундиры, и ремесленники со значками, и фраки, и сюртуки, и крестьяне, прибывшие из соседних деревень, и инородцы, и казаки. Не было, кажется, человека, которому бы граф не сказал слова. Кончилось это прощание. В городских экипажах, кто только мог, поехали на Вознесенский монастырь. Казалось, что туда придут только избранные, но пока шел молебен над мощами святителя Иннокентия, пока продолжался завтрак у настоятеля, площадь перед монастырем наполнялась народом, буквально прибежавшим. Чиновники вынесли по сибирскому обычаю на руках графа Муравьева; но только показались в толпе, как моментально были отброшены в сторону, а граф очутился на руках сперва крестьян, а потом инородцев-бурят, поспешно выхвативших его у первых... «Мы тебя, граф, не забудем, не забудь и ты нас», — кричали они... «Не забудь нас!» — подхватил народ. Тронулись повозки, все стояли без шапок; кто бежал сзади; кто обратился к монастырю и крестился, кто набожно благословлял отъезжавшего. Шибче и шибче двигались повозки. Народ долго еще стоял без шапок, следя за ними».

Муравьев уезжал из Сибири. Но сделанное им не могло разрушиться после его отъезда. Теперь оно держалось на плечах тех, кого можно было назвать единой командой, или даже семьей. Офицеры, чиновники, учёные, купцы, священники, казаки, крестьяне — прежде чужие, делая одно дело, стали близки и дороги друг другу. Стоявшие в стороне от скользкого «амурского вопроса», экономя время и

¹⁹Цит. по: Шиндялов Н.А. Основатели Благовещенска. Благовещенск, 2006. С. 47.

²⁰См.: Хевролина В.М. Николай Павлович Игнатьев. М., 2009. С. 71–107.

силы, вдруг оказались на обочине жизни и теперь завистливо посматривали на «муравьевцев». А каждый из тех, кто пожертвовал своим имуществом, здоровьем или карьерой ради общего дела, обрёл в нём смысл и счастье. То самое, именем которого Невельской назвал когда-то залив в устье реки Амур.

Малоизвестные ныне экспедиции 1854–1858 гг. подготовили и завершили закрепление за Россией территории общей площадью более миллиона квадратных километров.

Айгунский договор решил полуторавековую проблему взаимовыгодного геополитического размежевания пограничных территорий, создавая прочные основы для развития дружбы и сотрудничества двух великих государств и соседних народов. Договор был вполне равноправным и юридически правомерным актом. В преамбуле договора сказано, что он заключён «по общему согласию, ради большой вечной взаимной дружбы двух государств, для пользы их подданных и для охранения от иностранцев».

Китай, раздираемый внутренними конфликтами, сопротивляющийся интервенции западных держав, и при желании не мог бы воевать на севере с Россией. Цинскому правительству было важно сохранить южные и внутренние провинции. Поэтому договор о разграничении между двумя странами был, действительно, выгоден обеим сторонам. Во-первых, решался и юридически закреплялся вопрос о границе, что давало старт дальнейшему освоению и развитию территорий; во-вторых, Россия получала судоходную артерию, связывавшую внутренние районы Сибири с Тихоокеанским побережьем; в-третьих, Китай «прикрывался» от вторжения третьих стран в свои северные провинции с моря. Тем самым, создавалась своего рода защитная зона, охраняемая Россией.

«Пока англичане препирались в Кантоне с мелкими китайскими чиновниками... русские завладели территорией к северу от Амура и большей частью маньчжурского побережья к югу от этой реки; они укрепились там, произвели изыскания для железнодорожной линии и наметили места будущих городов и гаваней. Когда Англия, наконец, решила идти войной на Пекин и когда Франция примкнула к ней в надежде урвать что-нибудь для себя, Россия, — хотя она в этот самый момент и отняла у Китая территорию, по величине равную Франции и Германии, вместе взятым, и реку протяжением с Дунай, — ухитрилась выступить в качестве бескорыстного покровителя слабого Китая»²¹, — с раздражением писал об этом в британской прессе небезызвестный публицист Фридрих Энгельс.

Деятельность генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьёва и его команды, направленная на освоение и развитие Сибири и Дальнего Востока, сегодня представляет интерес не только с историко-культурной точки зрения. В рамках организации Амурских сплавов 1854–1858 гг. были впервые нащупаны и опробованы подходы к решению многих сложных геополитических и социально-экономических задач в этом регионе. Уникальный опыт ускоренного создания новых социальных структур в сложных политических (в том числе, внешнеполитических!) условиях, опыт эффективного управления этими структурами заслуживает того, чтобы опереться на него и при реализации современных региональных стратегий. Весь этот опыт с определёнными оговорками и поправками при-

²¹Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 12. С.638.

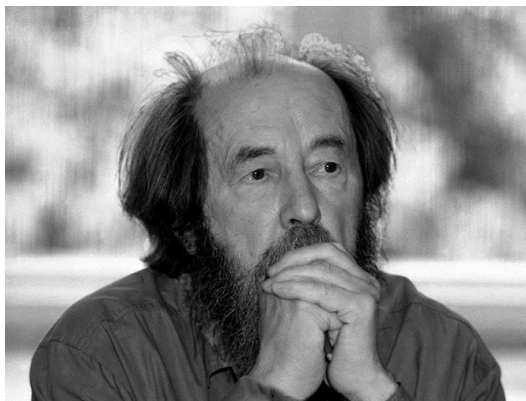
меним и в наше время. Более того, публичная опора на авторитет Н.Н. Муравьёва, на героическое наследие первопроходцев Дальнего Востока России придаст современным стратегиям развития Востока России ту фундаментальную опору, которой они зачастую лишены в глазах местного культурного сообщества, ревниво относящегося к любым попыткам развивать регион по выработанным вдали от него «привозным» рецептам.

Тринадцать лет управлял этот человек Сибирью, а совершил столько, сколько иной не сделал бы и за тридцать! Как ему это удалось? А главное, за что его, жёсткого, порой, даже несправедливого руководителя любили самые разные люди? Наверное, потому что и сам он умел ценить людей. Ведь не капиталы, не приказы, не оружие, в конце концов, вернули Амур России. Это сделали те, кого он сумел объединить и заразить своей верой в возможность решения тяжёлой, почти несбыточной, но очень необходимой для России задачи.



Солженицын, кто он?

ВВЕДЕНИЕ В ДИСКУССИЮ



А.И. Солженицын

В прошлом году Россия отметила юбилей всесветно славленного писателя Александра Солженицына, которого часть российских писателей превозносила как гениального художника слова и спасителя России.

Корней Чуковский во внутренней рецензии назвал повесть «Один день Ивана Денисовича» «литературным чудом»: «С этим рассказом в литературу вошёл очень сильный, оригинальный и зрелый писатель»; «чудесное изображение лагерной жизни при Сталине».

Анна Ахматова высоко оценила «Матрёнин двор», отметив символику произведения: «Это пострашнее „Ивана Денисовича“... Там можно всё на культ личности спихнуть, а тут... Ведь это у него не Матрёна, а вся русская деревня под паровоз попала и вдребезги...»

Валентин Распутин считал, что Солженицын «...и в литературе, и в общественной жизни... одна из самых могучих фигур за всю историю России», «великий нравственник, справедливец, талант. <...> Солженицын — избранник российского неба и российской земли. Его голос раздался для жаждущих правды как гром среди ясного неба. Великий изгнанник. Пророк».

Виктор Астафьев величал Солженицына великим художником слова, и в письме 1962 года к критику А.Н. Макарову Астафьев сообщает: «Сегодня прочёл Солженицына в «Новом мире». Потрясён. Радуюсь. За литературу нашу радуюсь, за народ наш талантливый и терпеливый». Писатель, «которому и без того выпала доля мученика в жизни и в литературе...». После встречи с Солженицыным летом 1994 года Астафьев признавался в письме Валентину Курбатову: «...Беседа полная, с полуслова понимали друг друга, разночтений не было — великий муж Александр Исаевич, великий! С ним общаться нелегко, ответственно, но интересно и, надеюсь, взаимообогащающе».

А вот мнение и других, не менее известных писателей:

Владимир Солоухин: «Солженицын — сын российской культуры, сын Отечества и народа, борец и рыцарь без страха и упрека, достойнейший человек...»

Игорь Шафаревич: «Как писатель, мыслитель, человек Солженицын ближе к Илариону Киевскому, Нестору или Аввакуму, чем к каким-нибудь (!) поздним стилистам (!) — к Чехову или Бунину...»

Владимир Крупин: «Я как писатель обязан очень многим, если не всем, Александру Исаевичу. Страдания, которые перенес Александр Исаевич, возвышают его над всеми нами».

Леонид Бородин: «Солженицын явился той опорой, которая была нам так нужна. «Архипелаг» — это реабилитация моей жизни (посвященной борьбе против советской власти. — *Автор*). В лагерях мы считали Солженицына нашим представителем на воле».

Но часть именитых русских писателей, и среди них Михаил Шолохов, обличала Солженицына как заурядного писателя и предателя России. В газете «Правда» от 31 августа 1973 года было опубликовано открытое письмо советских писателей в связи с «антисоветскими действиями и выступлениями А. Солженицына и А. Сахарова»: «Уважаемый товарищ редактор! ...Советские писатели всегда вместе со своим народом и Коммунистической партией боролись за высокие идеалы коммунизма, за мир и дружбу между народами. Эта борьба — веление сердца всей художественной интеллигенции нашей страны. В нынешний исторический момент, когда происходят благотворные перемены в политическом климате планеты, поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, клеветующих на наш государственный и общественный строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства и по существу призывающих Запад продолжать политику «холодной войны», не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения...» Письмо подписали 31 писатель, и среди них: *Чингиз Айтматов, Юрий Бондарев, Василь Быков, Расул Гамзатов, Олесь Гончар, Сергей Залыгин, Валентин Катаев, Георгий Марков, Сергей Михалков, Сергей Наровчатов, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Константин Федин, Александр Чаковский, Михаил Шолохов, Степан Щипачёв.*

А вот как оценивал собрата-сидельца Варлам Шаламов, известный русский писатель, который подобно Солженицыну отбыл изрядный лагерный срок «за политику», который поначалу одобрительно относился к Александру Исаевичу: «Деятельность Солженицына — это деятельность дельца, направленная узко на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности. Солженицын — писатель масштаба Писаржевского, уровень направления таланта примерно один. <...> В одно из своих чтений в заключение Солженицын коснулся и моих рассказов: «Колымские рассказы... Да, читал. Шаламов считает меня лакировщиком. А я думаю, что правда на половине дороги между мной и Шаламовым». Я считаю Солженицына не лакировщиком, а человеком, который не достоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма. <...> На чем держится такой авантюрист? На переводе! На полной невозможности оценить за границами родного языка те тонкости художественной ткани — навсегда потерянной для зарубежных читателей...»

Словом, Солженицын — сложная, противоречивая фигура в русской литературе, в русской судьбе; а посему мы предлагаем читателям два полярных мнения о бывшем диссиденте, а также Открытое письмо А.И. Солженицыну доктора исторических наук Валентины Твардовской.

Редакция журнала «Сибирь»

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Жить по правде

Как и во всякой большой литературе, в русской литературе существует несколько пород таланта. Есть порода Пушкина и Лермонтова — молодого, искрящегося, чувственного легкокрылого письма, дошедшая до Блока и Есенина; есть аксаковско-тургеневская, вобравшая в себя Лескова и Бунина, необыкновенно тёплого, необыкновенно русского настроения и утраченного уже теперь острого обоняния жизни; их зачатие и вынашивание имеют какое-то глубинное, языческое происхождение, из самого нутра спрятанного в степях и лесах национального заклада. Есть и другие породы, куда встанут и Гоголь с Булгаковым, и Некрасов с Твардовским, и Достоевский, и Шолохов, и Леонов. И есть порода Державина — богатырей русской литературы, писавших мощно и гулко, мысливших всеохватно, наделённых к тому же богатырским запасом физических сил. Сюда нужно отнести Толстого и Тютчева. Здесь же в XX веке по праву занял своё место Солженицын.

Почти всё написанное А.И. Солженицыным имело огромное звучание. Первую же работу никому тогда, в 1962 году, не известного автора читала вся страна. Читала взахлёб, с удивлением и растерянностью перед явившимся вдруг расширением жизни и литературы, перед расширением самого русского языка, зазвучавшего необычно, в самородных формах и изгибах, которые ещё не ложились на бумагу. Приоткрылся незнакомый, отверженный мир, находившийся где-то за пределами нашего сознания, вырванный из нормальной жизни и заселённый на островах жизни ненормальной — тот мир, откуда вышел Иван Денисович Шухов, маленький непритязательный человек, один из тьмы тысяч. И вышел-то на день один из тьмы своих дней между жизнью и смертью. Но этого оказалось достаточно, чтобы многомиллионный читатель обомлел, признавая его и не признавая, обрушив на него лавину сострадания вместе с недоверием, вины и одновременно тревоги.

Вести, литературного характера тоже, доходили из того мира и прежде, но они были разрозненными, прерывистыми, невнятными, как в азбуке Морзе, сигналами, ключом к расшифровке которых владели по большей части побывавшие там. Иван же Денисович, в отпущенный ему день выведенный из барака на работу больным и в работе поправившийся и даже воодушевившийся, ничего от нас не потребовавший, ничем не укоривший, а только представший таким, какой он есть, оказался соразмерен нашему невинному сознанию и вошёл в него без усилий. Вольно или невольно, автор поступил предусмотрительно, подготовив вкрадчивым и тароватым Шуховым, ни в чем не посягнувшим на читательское благополучие, пришествие «Архипелага ГУЛАГ». Без Шухова столкновение с ГУЛАГом было бы чересчур жестоким испытанием. Испытание — читать? «А испытание претерпевать, оказаться внутри этой страшной машины?» — вправе же мы сами себя и спросить. Да, это несопоставимые понятия, существование на разных планах. И тем не менее испытание собственной шкурой не отменяет «переводного» испытания, испытания свидетельством. Обмеренный, исчисленный, многоголовый и неумолчный ГУЛАГ в натуральную величину и «производительность» — он и после Ивана Денисовича для многих явился чрезмерным ударом; не выдер-

живая его, они оставляли чтение. Не выдерживали — потому что это был удар, близкий к физическому воздействию, к восприятию пытки, выдыхаемой жертвами. Воздействие «Иваном Денисовичем» было не слабей, но другого — нравственно — порядка, вместе с болью оно давало и утешение. Чтобы прийти в себя после «Архипелага», следовало снова вернуться к «Ивану Денисовичу» и почувствовать, как мученичество от карающей силы выдавливает исцеляющее слезоточение.

Сразу после «Ивана Денисовича» — рассказы, и среди них «Матрёнин двор». И там и там в героях поразительная, какая-то сверхъестественная цепкость к жизни и вообще свойственная русскому человеку, но мало замечаемая, не принимаемая в расчёт при взгляде на его жизнеспособность. Когда терпение подбито цепкостью, оно уже не слабование, с ним можно многое перемочь. Солженицын и сам, не однажды приговорённый, явил это качество в наипоследнем истяге, говоря его же словом, когда и свет мерк в глазах, снова и снова подниматься на ноги. Л.Н. Толстой словно бы и родился в пелёнках великим. А.И. Солженицыну к своему величию пришлось продираться слишком издалека. «Не убьёт, так пробьётся» — вот это для него, для русского человека! — и давай его бить-колотить по всем ухабам, и давай его охаживать из-за каждого угла, и давай его на такую дыбу, что и небо с овчинку! Вот по такой дороге и шёл к своему признанию Александр Исаевич. Выжил, научился держать удар, приобрёл науку разбираться, что чего стоит, — после этого полной мерой дары во все «ёмкости», никаких норм.

«Матрёнин двор» заканчивается словами, которые почти сорок лет остаются на наших устах:

«Все мы жили рядом с ней (с Матрёной Васильевной. — *В.Р.*) и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит ни село. Ни город. Ни вся земля наша».

Едва ли верно, как не однажды высказывалось, будто вся «деревенская» литература вышла из «Матрёниного двора». Но вторым своим слоем, слоем моих сверстников, она в нём побывала. И уж не мыслила потом, как можно, говоря о своей колыбели — о деревне, обойтись без праведника, сродни Матрёне Васильевне. Их и искать не требовалось — их нужно было только рассмотреть и вспомнить. И тотчас затеплялась в душе свечечка, под которой так сладко и отрадно было составлять житие каждой нашей тихой родины, и вставали они, старухи и старики, жившие по правде, друг после дружки в какой-то единый строй вечной подпоры нашей земле.

Кроме этой заповеди — жить по правде, — другого наследства у нас остаётся всё меньше. А этим — пренебрегаем.

У крупных фигур свой масштаб деятельности и подъёмной силы. Не поддаётся пониманию, как сумел Солженицын ещё до изгнания, в весьма стеснённых условиях, собрать, обработать и ввести в русло книги всё то огромное и сжигающее, составившее «Архипелаг ГУЛАГ»! И откуда брались силы уже в Вермонте совладать с горой материала, надо думать, нескольких архивных помещений для «Красного колеса»! Успевая при этом вести ещё публицистическое путеводство для России и Запада, успевая составлять и редактировать две многотомные библиотечные серии по новейшей русской истории! Тут годится только одно сравнение — с «Войной и миром» и Толстым. Солженицына с Толстым роднит многое. Одинаковая глыбастость фигур, огромная воля и энергия, эпическое мышление, потребность как у одного, так и у другого через шестьдесят примерно лет отстояния от исторических событий обратиться к закладным судьбоносным вехам нача-

ла своего века. Это какое-то мистическое совпадение. Огромная популярность в мире, гулкость статей, звучание на всех материках. Один отлучён от церкви, другой от Родины. Помощь голодающим и помощь политзаключённым, затем литературе. Оба — великие бунтари, но Толстой создал своё бунтарство «на ровном месте», в условиях личного и отеческого (относительно, конечно) благополучия, Солженицын весь вышел из бунтарства, его в нём взрастила система. Солженицына судьба резко бросала с одной крутизны на другую, у Толстого биография после кавказской кампании взяла тихую гавань в Ясной Поляне и вся ушла в сочинительство и духовную жизнь. Но и после этого: повороты, приближающие их друг к другу. Солженицын в Америке погружается в затворничество, Толстой перед смертью совершает совсем не старческий поступок вечного бунтаря — свой знаменитый уход из Ясной Поляны.

И самое главное: «Лев Толстой как зеркало русской революции» и Александр Солженицын как зеркало русской контрреволюции спустя семьдесят лет после революции.

Редкий человек, ставя перед собой непосильную цель, доживает до победы. Александру Исаевичу такое выпало. Объявив войну могущественной системе, на родине призывая подданных этой системы жить не по лжи, а в изгнании постоянно призывая Запад усиливать давление на коммунизм, едва ли Солженицын мог рассчитывать при жизни на что-либо ещё, кроме идеологического ослабления и отступления коммунизма на более мягкие позиции. Случилось, однако, большее и, как вскоре выяснилось, худшее: система рухнула. История любит сильные и быстрые ходы, на обоснование которых затем приносятся огромные жертвы. Так было в 1917-м году, так произошло и на этот раз.

Боясь именно такого исхода в будущем, Солженицын не однажды предупреждал: «...но вдруг отвалились завтра партийная бюрократия... и разгромят наши остатки ещё в одном феврале, в ещё одном развале» («Наши плюралисты», 1982 г.). А за последние полвека подготовленность России к демократии, к многопартийной парламентской системе, могла ещё только снизиться. Пожалуй, внезапное введение её сейчас было бы лишь новым горевым повторением 1917 года» («Письмо вождям Советского Союза», 1973 г.).

По часам русской переломной жизни, ход которых Солженицын хорошо изучил, трудно было ошибиться: как за Февралем неминуемо последовал Октябрь, так и на место слетевшейся к власти образованщины, мелкой, подлой и жуликоватой, не способной к управлению, придут хищники высокого полёта и обустроят государство под себя. Всё это было и предвидено Солженицыным, и сказано, но бунтарь, жаждавший окончательной победы над старым противником, говорил в нём сильнее и заглушил голос провидца. «Красное колесо», прокатившееся от начала и до конца века, лопнуло... но если бы красным был в нём только обод, который можно срочно и безболезненно заменить и двигаться дальше!.. Нет, обод сросся и с осью, и со ступицей, то есть со всем отечественным ходом, с национальным телом — и рвать-то с бешенством и яростью принялись его, тело... и до сих пор рвут, густо вымазанные кровью.

Но сказанное надолго опасть и умолкнуть с переменной власти не могло. И ничего удивительного, что многое из относящегося к одной системе, само собой переадресовалось теперь на другую и даже получило усиление — вместе с усилением наших несчастий. Так и должно быть: правосудие борется с преступлением против национальной России, и новое знамя, выставленное злоумышленниками, честного судью не смутит.

Послушаем же — эхо это или живой голос Солженицына:

«Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь — его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несёт и кричит: «Я — Насилие! Разойдитесь, расступитесь — раздавлю!» Но насилие быстро стареет, немного лет — оно уже не уверено в себе и, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, непременно вызывает к себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а Ложь может держаться только насилием» («Жить не по лжи»).

«Против многого в мире может выстоять ложь — но только не против искусства. А едва развеяна будет ложь, отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падёт» (Нобелевская лекция).

Нет, это не перелицованный Солженицын — всё тот же, клеймящий зло, какие бы ипостаси оно ни принимало.

А вот это совсем любопытно — несмотря на некоторые старые обозначения:

«Один американский дипломат воскликнул недавно: «Пусть на русском сердце Брежнева работает американский стимулятор!» Ошибка, надо было сказать: «на советском». Не одним происхождением определяется национальность, но душою, но направлением преданности. Сердце Брежнева, попускающего губить свой народ в пользу международных авантюр, не русское» («Чем грозит Америке плохое понимание России»).

В точку.

Возвращение Александра Исаевича на многострадальную Родину, начавшееся четыре года назад, окончательно завершилось только недавно, с выходом книги «Россия в обвале» (издательство «Русский путь»), теперь можно сказать, что после 20-летнего отсутствия Солженицын снова врос в Россию и занял по принадлежащему ему нравственному влиянию, а с ним отныне совпадает и угадывание почвенных токов, первое место в России, избрав его в отдалении от всех политических партий, на перекрёстке дорог, ведущих в глубинку, где остается надежда на народовластие, которое понимает он под земством. Опять же: не со всем и в последней книге можно согласиться безоговорочно. Но это отдельный разговор. Это отдельное размышление, и оно снова не обошлось бы без Толстого, который, конечно же, не добивался ни Февраля, ни Октября, но своими громогласными отрицаниями основ современной ему монархической жизни невольно подставил им плечо. Это размышление о подготавливании словно бы самим народом и словно бы вопрекор своим ближайшим интересам великих нравственных авторитетов, чьё влияние и учение согласуется с дальней перспективой отечественной судьбы.

80-летний юбилей А.И. Солженицына — толчок для многих серьёзных размышлений о крестном пути России. Они, разумеется, каждодневны, с ними мы засыпаем и с ними просыпаемся. Но вот наступает однажды день, как этот, приподнятый над роковой обыденностью, в которую засасывает нас всё больше и больше, — и тогда всё видится крупней и значительней. Если рождает русская земля таких людей — стало быть, по-прежнему она корениста, и никаким злодейством, никаким попусчением так скоро в пыль её не истолочь. Если после всех трёпок, учинённых ей непогодой, сумела лишь усилиться и обогатиться на поросль — отчего ж не усилиться и ей и не обратить со временем невзгоды свои в опыт и мудрость?! Есть люди, в ком современники и потомки видят родительство земли большим, чем отца с матерью.

Оттого и звучит она так: Родина, Отечество!

(Восточно-Сибирская Правда. 1998. 19 дек. № 247/248. С. 13)

Солженицын и его апологеты

О личности и об исторической роли Солженицына у нас много, до хрипоты, спорят, хотя спорить, на мой взгляд, особенно не о чем. Это не вопрос прихотливых «ощущений» и литературных «мнений», а вопрос здравого смысла и полноты знаний о писателе. И основная наша беда в том, что многие люди, включая и власть предержащих, до сих пор пребывают в плену мифов или односторонней хвалебной информации о нём, распространяемой в масс-медиа и в так называемой «научной» литературе. Беру это слово в кавычки, потому что не может считаться научной и объективной литература, где звучит лишь славословие и где нет места анализу и критике. Самый яркий пример тому — биографическая книга Л. Сараскиной «Солженицын» в серии ЖЗЛ, переизданная за последние годы несколько раз. «Ох, уж эти не в меру почтительные биографы!» — с вполне оправданной язвительностью писал об этом тысячестраничном панегирике А. Турков, знавший и тот факт, что книгу о «себе любимом» успел лично, ещё в 2007 г., отредактировать сам Солженицын. Пуще всего боялся Нобелевский лауреат, как бы не вышли на свет тёмные, крайне неприглядные стороны его личности и его биографии. И даже книгу американца М. Скэммела о себе, где небольшая критика была всё-таки позволена, предал анафеме, всячески препятствуя её переводу в России. (Может быть, ещё и потому, что М. Скэммел в итоге публично назвал его «никому не нужным политическим динозавром»?..)

Очевидно, что повышенная забота о собственном имидже, о том, как лучше, в наивыгоднейшем свете, преподнести себя не только современникам, но и потомкам, представляла одну из самых характерных черт Солженицына. Никто из писателей в мире не оставил после себя столько фотографий — несколько тысяч! Психологи могут увидеть здесь нарциссизм, тщеславие, причём болезненного толка, и будут, вероятно, отчасти правы. Но гораздо точнее, на мой взгляд, говорить о вполне продуманной артистической тактике саморекламы или «самопиара»: то в образе писателя-фронтовика, сочиняющего в блиндаже, при тусклом свете, свои будущие творения, то в образе несчастного лагерного эка, то — скромного учителя, то — пламенного гуру-проповедника, вздымающего руки к небу... С точки зрения прозелитов, а также обывателей — ни дать ни взять — героический эпос! Но почему-то не верится в этот «эпос». Наверное, прежде всего потому, что слишком фальшиво воспринимается он на фоне традиций русской литературы, всегда считавшей любую саморекламу неприличием и пошлостью. А возвращение из Америки в 1994 г. на поезде «Владивосток–Москва», с остановками и речами «городу и миру» (как было запланировано в сценарии субсидировавшей это шоу компании Би-Би-Си) — что это, как ни пародия на въезд Самозванца в «смутную» Россию? Только охмурённая ельцинскими обещаниями толпа могла видеть в пассажире с отрощенной специально к этому вояжу апостольской бородой некоего нового мессию. Даже многие прежние поклонники Солженицына нашли в этом показушном транзитном шоу «потерю вкуса» писателя (о потере нравственных ориентиров почему-то предпочитали не говорить, включая и факт заселения автора «Архипелага» в подмосковный VIP-особняк на месте бывшей дачи одного из сталинских сатрапов Л. Кагановича).

На мой взгляд, именно здоровое, незамутнённое разного рода дурманами нравственное чувство — основа здравого смысла — и позволяет со всей отчётливостью осознать, что между высокопарным призывом Солженицына «жить не по лжи» и его реальными поступками на протяжении всей его жизни слишком часто стояла глубокая, непреодолимая пропасть.

Только один маленький штрих из книги Солженицына «Бодался телёнок с дубом» откроет здесь многое. Описывая, как снимался у фотографа в 1962 г. для обложки «Роман-газеты» с повестью об «Иване Денисовиче», сделавшей его знаменитым на весь мир, писатель с откровенным цинизмом признался: «То, что мне нужно было, выражение замученное и печальное, мы изобразили...» Другими словами, он просто дурачил миллионы своих читателей, выдавая себя за «печальника» и «главного ээка» страны.

То, что вытворял в подобном духе Солженицын — артист, стратег и тактик — на Западе у нас почти неизвестно. Неизвестен, например, альбом из 100 фотографий «Solzhenitsyn: A pictorial record», выпущенный в 1974 г. на английском, французском и немецком языках. Общий тираж его неведом, но, видимо, не мал. Заметим: альбом появился вскоре после изгнания писателя из СССР и почти сразу же после выхода в Париже «Архипелага ГУЛАГ», что можно рассматривать как звенья одной цепи. В этом «рекордном» альбоме, составленном самим автором, впервые была опубликован и тот снимок, который можно назвать самым уникальным примером фотомошенничества XX века. У героя здесь не только явно сыгранное «выражение замученное» лица, но и лагерная униформа с номером и невесть по какому фасону — явно не лагерному — сшитой кепкой с тем же номером. При этом подпись под снимком гласит: «In the special camp, an the day Solzhenitsyn was released» («В особом лагере, в день освобождения Солженицына»). Таким образом, с подачи самого Солженицына западному обывателю внушалась мысль о «невыносимых страданиях», перенесённых автором «Архипелага», и о том, что он имеет право говорить от имени всех «миллионов» советских заключённых...



А.И. Солженицын

Разумеется, в то время в России-СССР никто, находящийся в здравом уме, не поверил бы — как не поверит и до сих пор, — что в лагерях можно было фотографироваться, тем более «в день освобождения» (как на выпускном вечере?!). Но этот снимок обошёл весь мир, представлялся на разных биеннале, и везде принимался за чистую монету! Он и до сих пор входит в число самых тиражируемых снимков Солженицына на Западе. Но в России с ним теперь всё-таки стали обходиться поскромнее. Недаром Л. Сараскина не решилась включить его в свою ЖЗЛ — видимо, опасаясь «ненужных» вопросов. Тем более, что в книге первой жены Солженицына Н. Решетовской «В круге втором» (М., 2006) под этим снимком сделана гораздо более правдоподобная подпись: «Постановочная реконструкция после освобождения».

«Постановочная реконструкция» — это, выражаясь более прямо, — «туфта», «фальшивка», «жесть» и т. д. Правда, первая жена (бывшая основным «фотолептописцем» своего мужа в 1950–1960 гг.) так и не раскрыла, когда, в каком году, делалась эта имитация. Тут подросла вторая жена (вдова), Н.Д. Солженицына, которая везде, где можно, заявляет, что снимок на самом деле сделан всё-таки не в «день освобождения» мужа из лагеря, в 1953 г., а в казахстанской ссылке, в 1954 г. Но и в это трудно поверить, так как сопоставление данной фотографии с другими многочисленными фотографиями Солженицына, сравнение его возраста, черт лица и т. д. даёт гораздо больше оснований утверждать, что писатель-артист позировал на аппарат скорее всего десять лет спустя, примерно в 1964–1965 гг., в период создания «Архипелага ГУЛАГ», для иллюстрации к своей задуманной для переправки на Запад книге (как и другой известный снимок обыска-«шмона», где у «зэка» Солженицына явно выпячивается круглое, отъевшееся брюшко).

Можно приводить ещё десятки подобных фактов, обойдённых слишком «почтительными» к своему герою биографами и исследователями Солженицына. Писатели-фронтовики В. Бушин и А. Пыльцын давно обратили внимание на большие нестыковки в эпизодах участия Солженицына в Великой Отечественной войне (которую сам писатель всегда называл не иначе, как «советско-германской»): он, представлявший себя «боевым офицером», практически никогда не был на передовой, так как служил командиром звуковой артиллерийской разведки, располагавшейся в глубине фронта; он ловким обманным путём, с использованием подложных документов, «выписал» себе на фронт жену Н. Решетовскую (будучи 26-летним капитаном, в то время как подобные вольности не позволяли себе даже бывалые генералы); история ареста Солженицына на фронте в феврале 1945 г. в Восточной Пруссии за якобы «антисталинские» высказывания в переписке с друзьями представляет, скорее, его хитроумный трюк, чтобы спасти себя от гибели в предстоящих кровопролитных боях за Берлин, и т. д. (К последнему эпизоду можно добавить позднее, 1990 г., признание Солженицына С. Залыгину в Вермонте о том, что он «посажен был за дело», и, если бы особисты СМЕРШа нашли его зашифрованные записи, он бы «получил не восемь лет, а «вышку».) Разумеется, скрывал тогда на фронте Солженицын и свои симпатии к генералу А. Власову, в которых он признался много позже...

В сборнике «Книга, обманувшая мир» (М.: Летний сад, 2018), который мне довелось составить и издать после долгих трудов, представлено ещё множество других материалов, убедительнейшим образом доказывающих, что и сам Солженицын, и его «главная» книга «Архипелаг ГУЛАГ» — это не только огромный мировой миф, но и огромный блеф. Тех, кто увидел в самом названии нашего сборника некий «жёлтый» сенсационный оттенок, могу разуверить — это спокойный, уравновешенный научный труд, лишь с небольшой долей «перца» (сарказма), неизбежного в данном случае. Но основой всех статей сборника, как мне кажется, является «единство нравственного отношения к предмету», о котором когда-то писал Л. Толстой и которое является самым необходимым не только в литературе, но и в истории. В книге приводятся самые «неудобные» для современных поклонников Солженицына вполне однозначные высказывания о нём самых разных писателей: от М. Шолохова («какое-то болезненное бесстыдство автора») до Ю. Домбровского («...Иван Денисович — шестёрка, сукин сын, потенциальный охранник и никакого восхваления не достоин. Крайне характерно, что отрицательными персонажами повести являемся мы (рассуждающие о «Бро-

неносце «Потёмкине»), а положительными — гнуснейшие лагерные суки... Уж одна расстановка сил, света и теней говорит о том, кем автор был в лагере...») (В последнем случае Ю. Домбровский попал не в бровь, а в глаз — как известно, в «Архипелаге» сам Солженицын признался, что его завербовали в осведомители под кличкой «Ветров», и хотя сам он категорически отрицал, что стукачом у оперов не служил, никто из старых лагерников ему никогда не верил.)

Весьма актуальной является и оценка другого представителя лагерной Колымы А. Яроцкого. Он рассматривал публикацию «Архипелага» на Западе как глубоко аморальный антипатриотический демарш писателя, и свою книгу воспоминаний «Золотая Колыма» заключил красноречивым завещанием: «...Лаять на свою родину из чужой подворотни не хочу».

Особого внимания здесь, без сомнения, заслуживает взгляд В. Шаламова. Этот действительно великий русский писатель обладал неоспоримым моральным превосходством перед Солженицыным, поскольку его лагерный опыт составлял почти двадцать лет, включая шестнадцать лет Колымы, и сам он являлся крупнейшим художником, фактически первым открывшим лагерную тему в русской литературе. Много лет занимаясь судьбой и творчеством Шаламова, могу сказать, что он, отторгнутый обстоятельствами жизни и своей инвалидностью (по глухоте) от участия в общественной жизни, обладал редкой проницательностью и прозорливостью. Хотя «Колымские рассказы» не увидели света на родине при его жизни, а его дневниковые записи о Солженицыне были опубликованы лишь в середине 1990-х годов, и то и другое произвело переворот в сознании многих читателей. Несомненно, это послужило одним из важнейших толчков к демифологизации образа Солженицына. Что особенно важно, Шаламов был свидетелем зарождения замысла «Архипелага»: его автор ещё в 1964 г. вёл с ним тайные переговоры о сотрудничестве в работе над книгой, и отказ Шаламова от этого предложения сам по себе чрезвычайно знаменателен. Ещё более красноречивы прямые и резкие отзывы Шаламова об открывшихся ему планах своего «конфидента», связанных с Западом (например: «Деятельность Солженицына — это деятельность дельца, направленная узко на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности»). Шаламов с негодованием называл Солженицына и «аферистом», и «спекулянтом на чужой крови». Он не мог на склоне своих лет прочесть напечатанный на Западе «Архипелаг», но узнав о его выходе, первым назвал Солженицына прямо и честно — «орудием холодной войны».

Принципиальное значение имеет и вывод Шаламова, сделанный им ещё по прочтении «Одного дня Ивана Денисовича»: «Солженицын лагеря не знает и не понимает», т. е. «лёгкий» лагерь, изображённый в повести, отражал границы столь же «лёгкого» личного опыта автора. Надо заметить, что и сам Солженицын признавался Шаламову, что его опыт заключённого — «четыре года, в общем-то благополучной жизни». Ведь кроме известной привилегированной марфинской «шарашки», исходя из биографии в книге Л. Сараскиной, можно узнать, что её герой провёл на общих лагерных работах в Экибастузе лишь несколько месяцев, основное время будучи бригадиром, нормировщиком, библиотекарем, т. е. «придурком». Следовательно, приращение «знания» и «понимания» лагерной системы у Солженицына в «Архипелаге» произошло исключительно за счёт расчётливой эксплуатации отнюдь не своих, а чужих страданий и свидетельств (артистически вмонтированных в текст «Архипелага»), и это должны ясно осознавать читатели, помня мысль Шаламова: «Малый личный опыт писателя в искусстве нельзя скрыть».

Всё это ещё раз подчёркивает фальшивость упомянутой выше «лагерной» фотографии Солженицына и фальшивость самой идеи «Архипелага», который являлся, в сущности, компиляцией многочисленных воспоминаний бывших лагерников, хлынувших в «Новый мир» после публикации «Ивана Денисовича». Очевидно, что Солженицын действовал здесь сугубо «по-деловому» — по вполне буржуазному принципу «зачем же такому добру пропадать» — во имя давно уже вынашивавшихся им планов — громко заявить о себе на Западе как «главном ээке» страны, дабы прославиться и утвердить идею о наличии в СССР «правой» (точнее, «ультраправой») оппозиции, стремящейся во что бы то ни стало сменить государственный и общественный строй...

Тех, кто не сильно просвещён в этом вопросе, можно адресовать к книге «Бодался телёнок с дубом», где писатель откровенничал, что «западное радио слушал всегда», т. е., по крайней мере, со времён казахстанской ссылки, и тогда же, в 1954–1956 гг., изготовив фотокопии своих первых произведений (пьеса «Республика труда» и др.), мечтал «найти того благородного западного туриста, который гуляет где-то по Москве и рискнёт взять криминальную книгу из торопливых рук прохожего». Позднее таким же образом были изготовлены копии новых вещей, включая рассказ «Щ-854» (будущий «Иван Денисович»), и готовились к отправке на Запад под псевдонимом «Степан Хлынов». «Однако распахнулась дружба с «Новым миром» и перенаправила все мои планы», — без тени смущения признавался Солженицын.

Так складывался первый слой многослойного пирога-мифа о Солженицыне. Он был создан, как это ни печально признать, журналом «Новый мир» во главе с А. Твардовским. Именно Твардовский, приложивший громадные усилия для напечатания первой в СССР повести о лагере, создал Солженицыну ту славу, которая стала фундаментом всей его последующей литературной карьеры и обусловила особый пиетет читателей по отношению к нему. Но ни Твардовский, ни его соратники, ни тем более читатели, не догадывались о том, что на самом деле автор «Ивана Денисовича» ведёт с ними двойную игру, попросту обманывая их и скрывая свои истинные намерения. В итоге, после всех неудачных попыток выйти на откровенный разговор и осознания того, что открытость и теплота человеческих отношений — не удел Солженицына, Твардовский (в декабре 1967 г.) признаётся в своём дневнике: «Его я уже просто не люблю». О причинах этой отчуждённости, пожалуй, точнее всего написал А. Кондратович, бывший свидетелем терзаний Твардовского: «Откровенность, искренность во взаимоотношениях он ценил выше всего. Солженицын не был с ним искренен — и это А.Т. тяжело переживал. В известной мере переживал как предательство, а что может быть тяжелее этого». Но у самого Твардовского давно было подозрение, что в поведении Солженицына после первоначальной громкой славы появились явные признаки мании величия — он не раз повторял простонародную фразу, что у его подопечного писателя «темечко не выдержало». Крайне не нравилась Твардовскому и «говорливость» Солженицына, т. е. его безудержное красноречие. При этом бывший лагерный «придурок», «шестёрка, сукин сын» (вспомним определение Ю. Домбровского) изображал из себя «матёрого ээка» и морально давил на редактора «Нового мира», беззастенчиво заявляя в письме к нему в 1969 г.: «Мои навыки — каторжанские, лагерные. Без рисовки (!) скажу, что русской литературе я принадлежу не больше, чем русской каторге...»

Нельзя не заметить, что щегольство своим опытом у настоящих лагерников

считалось самым дурным тоном, и в этом отношении Солженицын тоже перешагнул через все грани. Ведь и на предполагавшееся вручение ему Нобелевской премии в шведском посольстве в 1970 г. он собирался явиться в лагерной телогрейке...

Но на кого же больше всего — кроме осаждавших его с середины 1960-х гг. западных корреспондентов — действовали хитроумные артистические трюки Солженицына? Разумеется, на круг московских интеллигентов-литераторов, никогда не нюхавших запаха тюрьмы и лагеря и воспринимавших создателя «Ивана Денисовича» как единственного воплотителя настоящей «правды». Нисколько не преувеличивая, можно смело утверждать, что первоначальный «культ» Солженицына (действующий и до сих пор в этой среде) сложился в либеральном литературном сообществе Москвы, воспринимавшем себя, по выражению В. Шаламова, как «прогрессивное человечество». На этот счёт можно назвать и конкретную дату — ноябрь 1966 г., когда состоялось известное расширенное заседание секции прозы Московской писательской организации, обсуждавшее повесть Солженицына «Раковый корпус». Именно на этом заседании впервые прозвучали пышные восхваления, ставившие автора, в общем-то, весьма средней по литературным достоинствам повести в один ряд с великим классиком русской литературы — Л. Толстым. «Это вещь силы «Смерти Ивана Ильича!» — возглашал, например, А. Борщаговский. Но поистине «судьбоносная» экзатическая фраза прозвучала тогда из уст Ю. Карякина: «Солженицын — не солжёт!...»

Да, это тот самый Ю. Карякин, который тридцать лет спустя, при встрече «нового политического года» в декабре 1993 г., когда проельцинские «демократические» силы катастрофически провалились на выборах в парламент, возгласил в прямом ТВ-эфире: «Россия, ты одурела!..» И его незамысловатый каламбур о том, что «Солженицын — не солжёт!» был, как можно понять, предвестием личной, весьма характерной эволюции, которую проделал этот талантливый публицист и литературовед, исследователь Достоевского, ставший со временем едва ли не главным рупором идей Солженицына в России. Заметим, что именно Ю. Карякин, привлечённый в эпоху М. Горбачёва в советники президента СССР и находившийся в близких отношениях с «архитектором перестройки» А. Яковлевым, более всего способствовал процессу «реабилитации» Солженицына, начавшемуся в конце 1980-х гг. Нельзя не заметить также, что Ю. Карякин является, в сущности, «крёстным отцом» Л. Сараскиной, прошедшей тот же путь — от «придавленности» идеями Достоевского до апологии Солженицына.

Но оба эти литературоведа, очевидно, никогда не задумывались о том, что имеют дело, в сущности, с абсолютно разными духовными субстанциями: Достоевский, всегда устремлённый ввысь, к идеалам Христа, и убеждённый в том, что каждый писатель должен быть обязательно «благороден» по духу, никоим образом не соединим с Солженицыным, который исповедовал — и практиковал на каждом шагу — иезуитский принцип «цель оправдывает средства». И Ю. Карякин (возможно, бессознательно), и Л. Сараскина (несомненно, вполне сознательно) закрывали глаза на то, что Солженицын систематически занимался обманом и мистификациями, и что он — чего ни при каких обстоятельствах не мог позволить себе Достоевский! — в сущности, служил силам, враждебным России, в каком бы качестве она в тот период ни находилась. Вся эта несовместимость ярче всего раскрывается в одном из красноречивейших признаний Солженицына в книге «Бодался телёнок с дубом», где речь идёт о его известном письме IV съезду Союза

писателей СССР. Согласно этим признаниям, он «придумал» это письмо зимой 1967 г. в своём «укровище» в Эстонии, где писал «Архипелаг», а затем размножил письмо в количестве 250 экземпляров и разослал самым разным писателям, а также на Запад. По его словам — которые не вырубишь никаким топором! — «это была комбинация (курсив наш. — В.Е.), утвердившая меня, как на скале. Ведь Запад не с искажённого «Ивана Денисовича», а только с этого шумного письма выделил меня и стал напряжённо следить...»

Несомненно, что эта проговорка сверхэгоцентричного автора — наивысшая точка его саморазоблачения. Методы Солженицына (комбинаторские, заставляющие вспомнить не только героев Гоголя, но и Остапа Бендера) обнажены здесь настолько очевидно, что они даже не нуждаются в моралите: мы наглядно видим, какими ловкими путями писатель, возмнивший себя уже тогда «вершителем судеб мира», стремился одурачить как советских писателей, так и западное общество, дабы оказаться первостепенной фигурой Мирового Театра. И неслучайно один умудрённый писатель после громкого резонанса от письма Солженицына заметил: «...Что-то бесит во всех этих разговорах о Солженицыне. Наверное, идолопоклонство. Кончается работа головы и начинается работа колен».

* * *

Критическая «работа головы» по отношению к Солженицыну, к несчастью, на весьма длительное время отключилась не только у многих наших литераторов и рядовых читателей, но и у властей. Особенно ярко это проявилось в период «перестройки», когда «политический мастодонт», наглухо закрывший себя забором с колючей проволокой (так!) в далёком Вермонте, вдруг оказался востребованным в самом Советском Союзе. К нему устремились разного рода переговорщики — как со стороны М. Горбачёва, так и со стороны Б. Ельцина, боровшихся за власть. При этом шёл своего рода торг за то, кому из этих лидеров достанется право первым напечатать «Архипелаг ГУЛАГ» и получить соответствующие политические дивиденды. Речи о том, что эта книга ещё недавно прямо признавалась «антисоветской» и тенденциозной, что она реально способствовала дискредитации политического строя СССР в глазах всего мира, — уже не шло, ведь ни бывший ставропольский комбайнёр, ни бывший свердловский прораб, вознесённые к вершинам власти, никогда не читали «Архипелага» и стремились только к одному — показать, кто из них больше «демократ». Эта трагикомедия увенчалась тем, что «Архипелаг» (с подачи М. Горбачёва и А. Яковлева) был напечатан при ещё устойчивой, казалось бы, советской власти в зальгинском «Новом мире» в 1989 г., но Б. Ельцин не отстал и ничтоже сумняшеся присудил «Архипелагу» Государственную премию РСФСР за 1990 год...

Многочисленные читатели, получившие, наконец, доступ к «запретному плоду», но не знавшие, как, с помощью каких ухищрений он создавался, были, конечно, потрясены книгой и воспринимали её как долгожданную «истинную правду» о лагерях и советской системе в целом. Почти никого не вводила в смущение даже фантастическая цифра о «66,7 миллиона человек», якобы ставших жертвами советской власти с 1917 года. Например, внезапно «прозревшие» бывшие преподаватели советских вузов, срочно издавшие в 1994 г. конъюнктурный учебник «От Горького до Солженицына» (И. Фейнберг и И. Кондаков) прямо возглашали: «После цифры 66,7 миллиона человек уже ничто не удивительно и не страшно...»

Эта цифра, стоит заметить, являлась ключевым пунктом исторической «концепции» Солженицына, или лучше сказать — главной «начинкой» той информационной «бомбы», которую он бросил против собственной страны. Но здесь он пользовался, опять же, западным, крайне сомнительным источником — расчётами псевдо-«профессора» И. Курганова, бывшего советского экономиста, перешедшего в 1942 г. в г. Ессентуки на сторону гитлеровцев и затем перебравшегося в США. Включив эту явно бредовую цифру Курганова в «Архипелаг» и освятив её своим именем Нобелевского лауреата, Солженицын совершил, наверное, величайшую в истории человечества фальсификацию, которая теперь уже навсегда будет связана с его именем.

Разумеется, трезвомыслящие люди никогда ни на дух не поверили бы, что Советский Союз с населением 235 миллионов человек (данные на 1967 год, когда заканчивался «Архипелаг»), потеряв от репрессий якобы 66,7 миллиона, мог бы при этом победить в Великой Отечественной войне, в которой он реально потерял 27 миллионов человек. Современные исследования, например В. Земскова, показывают, что Солженицын преувеличил свою цифру как минимум в десять раз, а если строго подходить к понятию «жертвы политических репрессий» (исключая уголовный элемент, который составлял две трети контингента лагерей, а также тех, кто не погиб, а только сидел или находился в ссылках) — в двадцать раз! Но трезвомыслящих людей в горячечные годы «перестройки» было немного, и привычка оперировать «миллионами», «десятками миллионов» жертв «тоталитарного режима» с тех пор вошла в обиход не только либеральных идеологов и пропагандистов, но и в сознание многих наших наивных сограждан. Кого же, как не Солженицына — лже-лагерника, фантаста и инсинуатора — можно назвать главным виновником этого очередного витка российской «разрухи в головах»?

В своё время мне пришлось проштудировать немало откликов западной прессы на смерть Солженицына в августе 2008 года, подводивших итог его деятельности. Теперь сделать это просто, благодаря интернет-порталу «ИноСМИ», где переводится то, чего наш читатель обычно не знает. Более всего поразила передовая статья крупнейшей американской газеты «Уолл Стрит Джорнэл» от 5 августа под жирным заголовком **«Правда и воля Солженицына помогли Западу торжествовать в холодной войне»**. Это откровение очень красноречиво: значит, сами американцы признали, что наш «великий писатель», в сущности, работал на них. Тем более, что сопровождалась статья такими тирадами: «Концлагерем Ивана Шухова был на самом деле весь Советский Союз. После выхода в Париже в 1973 году монументального труда Солженицына по истории советской пенитенциарной системы, озаглавленного «Архипелаг ГУЛАГ», ни один серьезный человек ни в одной стране мира больше не сможет оправдывать преступления Сталина или бесчеловечность коммунистического тоталитаризма. Представленные в книге документы доказывают, что на руках у комиссаров была кровь 60 миллионов жертв. Сущность коммунизма была до мельчайших подробностей разоблачена и оказалась рабством, террором и империализмом». Ещё более красноречив отклик в английской «Файнэншл Таймс»: «Солженицын не просто засвидетельствовал в мельчайших подробностях её (советской системы) злодеяния — он помог её разрушить, причём так, чтобы её невозможно было уже построить заново. За это западный мир прославил его и наградил Нобелевской премией по литературе...»

Читая эти откровения англо-американской прессы, отчётливо видишь, насколько и чем ценен Солженицын для Запада и насколько глубоко въелись в сознание и подсознание западного мира идеи и «факты», выплеснутые в своё время писателем. Но тут можно увидеть и другое: пропагандистские штампы прессы

направлены не только на то, чтобы у западного обывателя (а также и истеблишмента) новейшего времени поддерживались семена ненависти к Советскому Союзу как к «империи зла», но и постоянно возобновлялись ещё более старые семена, связанные с вековым дремучим недоверием и страхом перед Россией: «Таковы эти дикие, ненормальные русские...» В связи с этим очевидно, что «Архипелаг ГУЛАГ» — хотел того автор или нет — изначально выступал ещё и инструментом разжигания русофобии, которая давно стала важнейшим фактором международной политики.

Казалось бы, эта историческая роль Солженицына должна быть особенно понятна тем, кто пережил все мороки ельцинской эпохи, все её реальные жертвы (а они, по подсчётам демографов, вполне сопоставимы с жертвами сталинской эпохи) и кто пытается теперь ввести Россию в нормальное русло. Но, видимо, даже многочисленные референты-советники нынешней власти не читали обзоров западной прессы и не стремились их донести до своих «шефов». Всё это наглядно видно в событиях того же 2008 года, когда тогдашний премьер-министр страны (В. Путин) после встречи с вдовой писателя Н. Солженицыной принял явно импульсивно-волюнтаристское решение, которое обязало Министерство образования РФ включить «Архипелаг ГУЛАГ» в школьную программу по литературе. Как известно, вскоре вдовой писателя было подготовлено сокращённое издание «Архипелага» для школ, вышедшее в 2010 г. в свет в государственном издательстве «Просвещение».

Эти акции, получившие широкий общественный резонанс, стали ещё одним своеобразным тестом на здравомыслие постсоветского российского социума. Многочисленные критические отклики на них в печати, а также в Интернете, явились неопровержимым свидетельством того, что «лагерная эпопея» Солженицына — как и сам её автор — отнюдь не пользуются сколько-нибудь широким и значимым общественным авторитетом в современной России. Хотя полномасштабных социологических опросов среди населения на этот счёт не проводилось (а они были бы очень уместны), весьма показательны данные об отношении к внедрению «Архипелага» в школы со стороны самих педагогов. В сжатом виде они таковы: «Архипелаг ГУЛАГ» не имеет отношения к литературе, это публицистика; с идеологической точки зрения произведение небезукоризненно; в нём тенденциозно, однобоко трактуется драматическая и героическая советская эпоха».

Следует подчеркнуть, что этот опрос проводился не где-нибудь, а в Рязани, с которой был связан Солженицын, и где, казалось бы, у него должен быть особый авторитет. Но такого авторитета у него там, судя по всему, не существует, и вся внешняя нынешняя помпезность — вроде установок мемориальных досок и памятников (как и по всей стране, начиная с Владивостока и кончая Москвой) — это искусственность, навязанный сверху ритуал. Не берусь судить здесь о «субъективных» факторах, вроде попыток Н. Солженицыной и её соратников к настойчивому проталкиванию своего мужа в пантеон «великих классиков русской литературы», но вынужден заметить, что классиками людей делает только отстоявшееся время. И бессмертный завет Л. Толстого: «Нет величия в том, в ком нет простоты, добра и правды»...

Прошедший недавно 100-летний юбилей писателя ещё раз показал, что так называемая «солженицизация всей страны» — по примеру навязанной в своё время Хрущёвым «кукурузизации» — никак не удаётся. Наверное, это закономерно, прежде всего потому, что никакой волей не заставить людей служить противоестеству, и потому что до людей всё-таки постепенно доходит настоящая правда о Солженицыне...

ВАЛЕНТИНА ТВАРДОВСКАЯ

ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Открытое письмо А.И. Солженицыну по поводу его книги «Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни»

Александр Исаевич!

Вы решили ознакомить мир со своей жизнью на родине в течение тех памятных лет, которые начались публикацией «Одного дня Ивана Денисовича» — событием поворотным не только для Вас, но и для многочисленных читателей, Ваших соотечественников. С этого момента жизнь Ваша стала общественным фактом.

«Я верю, что Вы выдержите испытания славой» — приводите Вы в книге слова Александра Трифоновича ТВАРДОВСКОГО, человека, который открыл — сначала себе, а потом читателям — Вас вместе с Вашим героем, Вашим писательским миром, вобравшим в себя целый пласт человеческой жизни нашего века. Открыл и принял, как то, без чего уж и его собственное существование и существование других людей представлялось ему уже неполным. <...>

Что было потом — достаточно известно с фактической стороны и вместе с тем нуждается в серьезном исследовании и оценке. Как историк я отдаю себе отчет, насколько такая задача трудна, вне зависимости от посторонних делу соображений и препятствий. У меня и в мыслях нет предпринимать такую попытку своими силами и тем более походя. Но и не откликнуться на Вашу книгу для меня невозможно. Слишком большое место отвели Вы в ней моему отцу. «Портрет» ТВАРДОВСКОГО составляет самое ядро Вашей версии развития советской литературы и истории за тот большой отрезок времени. <...> **Над всей вереницей людей, прошедших по страницам Ваших воспоминаний, возвышаетесь Вы — единственный, кто знал и знает, что делать, куда идти. «Я вижу лучше, я вижу дальше, я решил» — в этих словах из Вашей книги — для меня весь Вы, Александр Исаевич** — каким Вы были, и в еще большей степени, каким хотите выглядеть сейчас, «выпрямляя» собственную жизнь в соответствии с заданной целью. *(Здесь и далее выделено редакцией.)* И ТВАРДОВСКИЙ для Вас — прежде всего — **отражение Вашей жизни, только с отрицательным знаком, так сказать, анти-СОЛЖЕНИЦЫН.** Не сразу заметишь ту нить, на которую Вы тщательно нанизываете все факты, но, заметив, уже не можешь за ней не следовать. Нить эта, пронизывающая книгу, — несовместимость двух начал. Одно воплощается в Вас — Александре Исаевиче СОЛЖЕНИЦЫНЕ — цельном, лишенном сомнений и колебаний, всегда и везде идущем «напролом», последовательном в своем отрицании всего в нашей жизни, что имеет первоисточником революцию, идет от нее и уже потому обречено стать злом непоправимым, пока Россия не вернется к своим исконным устоям патриархальным, но подновленным под руководством свободной от идеологии технократической верхушки. Не только социализм, но и демократия в этом случае, конечно же, ни к чему. <...>

Двойственность ТВАРДОВСКОГО — одна из краеугольных Ваших идей. Она видится Вам в том, что ТВАРДОВСКИЙ не отряхнул с себя того, что Вы считаете «историческим прахом», не отряхнул, хотя и мучился теми страшными событиями и судьбами, которые неотделимы от определенной эпохи в истории нашей страны и только равнодушно-циничному или мертвенно-доктринерскому взгляду могут представляться частностями, просто «зигзагами». Но ведь и Вы, Александр Исаевич, не очень далеки от этого доктринерства, только вывернутого наизнанку. Вы тоже жаждете простых решений, однозначных формул.

Читая Вашу книгу, я снова и снова думала о том, что между Вами и А. Т. различия не просто во взглядах — они в самих основаниях личности. Вы человек раз навсегда решенных для себя вопросов. <...> Но есть простота, что хуже воровства, говорит русская пословица. Она обкрадывает души и мозг, лишая действительной исторической перспективы, без которой призыв к мужеству и правде, как бы красноречив он ни был, остается пустым звуком.

Для ТВАРДОВСКОГО же не было готовых ответов. Он был открыт вопросам, касалось ли это сокровенных проблем творчества или сложнейших проблем общественной жизни. И самым открытым для него до последних дней жизни был вопрос об исторической, объективной, бескомпромиссной оценке поколения, к которому принадлежал он сам, поколения, в сознании, делах, судьбах которого столь противоречиво соединились победы и поражения, ясность и слепота, мужество и бессилие. <...> И потому более всего волновало его, как помочь новым поколениям выработать самостоятельность мышления, критическое сознание, верность себе.

Нет, не к забвению призывал он, повторявший: «Память, как ты ни горька, будь зарубкой на века». Забвение было для него физически невозможно, самоубийственно. Но и память для него не была просто призывом к возмездию и покаянию. «На одной злобе, на одном отрицании ничего не построишь» — вот о чем говорил он, касаясь расхождений с Вами. <...>

«Жизнь научила меня плохому, и плохому я верю сильнее», пишете Вы — и это не случайное для Вас признание. Вчитываясь в Вашу книгу, понимаешь, что **в Вашей душе действительно живет вера в плохое, разрешающая Вам искать в любом человеке, с которым сталкивает Вас жизнь, прежде всего дурное, некую ущербность, слабость, неполноценность — все, что принижает человека.** <...>

Но обращает на себя внимание и другое — то, что она, эта Ваша вера в плохое — не стихия, не бессознательное порождение темного чувства, с которым Вам трудно справиться, а скорее контролируемое Вами мироощущение. Ведь и люди, которые населяют Вашу книгу — я имею в виду не только тех, кого Вы заведомо считаете своими врагами, — все изображены так, что своими изъянами и слабостями, вымышленными или действительными, призваны служить контрастным фоном для Вас, своеобразным пьедесталом, на котором возвышаетесь Вы — Единственный. Результат, мне кажется, получился прямо противоположный. <...>

Трудно представить себе что-либо более поучительное в этом смысле, чем рисуемая Вами картина Ваших взаимоотношений с журналом, на страницах которого Вы начали свой писательский путь. С особой выпуклостью выявились здесь Ваши «волевые начала», авторитарность, нетерпимость. Именно эта **нетерпимость к разномыслию с Вами — в основе вашей концепции несостоятельности ТВАРДОВСКОГО как поэта и редактора.** Признавая убежденность ТВАРДОВСКОГО, Вы, в конечном счете, всегда разногласия с ним трактуете как

результат его непоследовательности, заискивания перед властью, даже просто беспринципностью и трусостью. В основе освещения всех фактов — заведомая истинность Ваших мнений, столь же заведомая наперед данная неправота ТВАРДОВСКОГО, так и не сумевшего подняться до СОЛЖЕНИЦЫНА. Послушай ТВАРДОВСКИЙ Вас, и все было бы иначе.

Что именно иначе? Ваша программа, в сущности, не очень велика. Главное, если не единственное в ней — публикация без всякого промедления всех до единого Ваших произведений. Невыполнение ее Вы прежде всего ставите в вину А. Т. Сегодня ТВАРДОВСКОГО нет, а история «Нового мира» еще не написана, и похоже, что это обстоятельство облегчает Вашу задачу. Но откуда у Вас эта уверенность, что ТВАРДОВСКИЙ, у которого была, по Вашему же выражению, своя «орбита», должен был тем не менее подчиниться Вашему влиянию, следовать за Вами. А если он не делал этого, если, высоко ценя Ваше сотрудничество, не мог и не хотел бы ни при каких обстоятельствах принести в жертву ему всю новомирскую прозу (представленную и теми именами, которые Вы сами относите к активу отечественной литературы, и другими), то, конечно же, потому, что сам вельможа, скованный своей номенклатурностью, он крепко держался за подлокотники редакторского кресла...

Известный девиз — «Кто не с нами, тот против нас» Вы, фактически, переделали на свой лад — **«Кто не с СОЛЖЕНИЦЫНЫМ, тот против совести и правды»**. И с этой точки зрения для Вас нет фактически разницы между «Новым миром» и другими журналами, в том числе и относившимися к нему с явной враждебностью. <...> Как ни парадоксально, но при многочисленных страницах, посвященных Вами «Новому миру», этот журнал фактически отсутствует в Ваших «Очерках литературной жизни». В них есть лишь слабый, неспособный редактор и несколько карикатурно изображенных его сотрудников — подхалимов и трусов. Но журнал — это не только плохой или хороший редактор, не только редколлегия и небольшой редакционный коллектив в целом. Это — куда более обширный круг авторского актива, разнообразных представителей литературного мира, ученых и публицистов, тяготеющих к данному журналу, и не менее широкий круг авторов рецензий, статей; и, наконец, читательский актив, адресующий журналу свои отклики, замечания, пожелания и оценки из всех краев, и больших и малых городов, и поселков страны. <...>

Ничего этого в Вашей книге нет и не могло быть — здесь Вы просто некомпетентны, не в курсе дел, за которыми не следили, но которым теперь беретесь выносить свой приговор. <...>

Иллюстрируя свою концепцию несостоятельности ТВАРДОВСКОГО, его неспособности удержать в своих руках журнал, Вы рисуете его «заблудившимся, бессильным» человеком, опустившимся пленником собственного недуга, скованным по рукам и ногам своей «номенклатурностью», официальным положением «первого поэта России», окружившего себя беспринципными приспособленцами и в результате выронившего из своих «слабых рук» «Новый мир». Без такого ТВАРДОВСКОГО сооружаемый Вами для себя пьедестал был бы, видно, не так прочен и высок, как Вам бы хотелось, и Ваша миссия и исключительность, и единственность Ваших суждений о будущем могли бы показаться не столь убедительными, какими они кажутся Вам самому.

Но существуют элементарные нравственные правила, принятые всеми людьми, независимо от их убеждений и степени их развитости. Вы и здесь исклю-

чение? Утверждающий примат нравственности над политикой, Вы во имя своих личных политических замыслов считаете возможным преступить всякие пределы дозволенного. Вы позволяете себе бесцеремонно использовать подслушанное и подсмотренное в замочную скважину, приводите сплетни, взятые не из первых рук, не останавливаетесь даже перед тем, чтобы «цитировать» ночной бред А. Т., записанный, по Вашему уверению, дословно. Призывающий людей «жить не по лжи», Вы с предельным цинизмом, хотя иной раз и не без кокетства, рассказываете, как сделали обман правилом в общении не только с теми, кого считали врагами, но с теми, кто протягивал Вам руку помощи, поддерживая в трудное для Вас время, доверяя Вам. Неужели Вы, называющий себя верующим христианином, пишущий слово Бог с большой буквы, не понимаете кощунственности всего этого.

И сейчас, выворачивая наизнанку чужую жизнь, произвольно распоряжаясь сведениями о ней, случайно попавшими в Ваши руки, к себе Вы относитесь с предельной «личной бережностью», Вы откровенный ровно настолько, чтобы завоевать доверие читателя, а также оправдать в его глазах право на свое вторжение в самые запретные области чужой жизни. Но Вы отнюдь не склонны раскрыться с той полнотой, которая рекламируется в Вашей книге. Так, по-своему перетолковывая борьбу А. Т. за присуждение Ленинской премии повести «Один день Ивана Денисовича» (хотел-де орден получить за обложку своего журнала), Вы ведь ничего не говорите о своей готовности тогдашней обеими руками принять эту премию. И кто знает, какой могла бы оказаться судьба СОЛЖЕНИЦЫНА-лауреата?

А как Вы рассказываете о себе в сценах ухода ТВАРДОВСКОГО из «Нового мира»? «Не уходите, Александр Трифонович», — уговаривали Вы его, думая про себя: давно ему следовало это сделать. Страшновато представить Вас в роли руководителя журнала или хотя бы единственного советника редактора. Генеральство и двоедушие отравили бы этому журналу жизнь и без всяких внешних стеснений. <...>

Оспаривать нарисованный Вами портрет ТВАРДОВСКОГО, входя в детали жизни отца, доказывая противоположное по принципу: «не так», «не совсем так», «совсем не так», — занятие, с моей точки зрения, постыдное и бессмысленное. Ведь Вы-то знали, что делали, у Вас-то была определенная задача, и то, какими средствами Вы ее решили, пожалуй, более всего обнаруживает ее идейную и нравственную суть. Этой задаче и подчинялась Ваша память, ставшая своеобразно избирательной. Все, что способно нарушить нужную Вам картину, забывается, отбрасывается, замалчивается, отрицается. Местами было трудно-сознательное искажение истины или полное непонимание водит Вашим пером — но впечатление неправды не оставляло меня даже в тех местах, где Вы вроде бы дословно приводите слова А. Т. Вам помнится, например, что в разговоре с Вами ТВАРДОВСКИЙ не смог привести никаких доводов в пользу Революции, кроме одного: «Что бы со мной было, кем бы я был, если бы не революция!» То, что А. Т. называл это в качестве единственного обоснования целесообразности революции — пусть, как и многое другое, останется на Вашей совести. Но характерно, как Вы поняли или, вернее, как не поняли эту фразу. Для Вас она — доказательство чуть ли не своекорыстной заинтересованности человека, которому социальная ломка позволила взобраться «наверх».

Для ТВАРДОВСКОГО же его собственная судьба просто была частицей судьбы народа. Нужно совершенно не знать, не понимать этого человека, чтобы предположить, что в основу отношения к действительности он мог положить личные

обстоятельства. И Вы обнаруживаете на каждом шагу такое незнание, непонимание. Не я буду свидетельствовать читателям Вашу неправду. Против Вас — все, что осталось от ТВАРДОВСКОГО, его собственные произведения, книжки журнала, редактировавшегося им шестнадцать лет, огромная переписка с писателями и читателями, его живой образ в памяти всех, знавших его. Все это — не ночной бред, не домыслы и измышления, не сплетни, которые нельзя проверить. Это — реальность, в которой самой силы опровержения Ваших воспоминаний и которая со временем будет действовать против Вас только сильнее.

*Впервые опубликовано в итальянской газете
«Унита» 24 июня 1975 г. В «Сибири» публикуется в сокращении.*



Тайны поэтического слова

САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ТЕКСТА «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
И ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЕСЕНИНА

*850-летию со дня похода князя Игоря на половцев
и 120-летию со дня рождения Есенина посвящается*

По свидетельству современников, «он (Есенин. — А.О.)... знал на память почти всё «Слово о полку Игореве» (1, с. 330). Евгений Осетров, усиливая значимость «Слова» для Есенина, пишет: «Автор «Марфы Посадницы» страстно увлекался «Словом», глубоко чувствовал его народный характер, знал его, как и Пушкин, наизусть и восторженно писал о нём в «Ключах Марии», в трактате, носящем характер эстетического манифеста» (2, с. 197).

Указанное выше даёт основание полагать, что «Слово» должно отразиться не только в трактате, но и в стихах Есенина.

Художественная природа и жанровая особенность «Слова» не может быть определена однозначно, поскольку во время его создания не существовало граней между родами поэзии, между жанрами.

В настоящее время исследователи определяют его как художественное произведение, не соотнося с конкретным жанром. Этому есть основание, поскольку текст изобилует художественными и зачастую поэтическими приёмами. В нём наличествуют ассонансы, аллитерации, повторы строк и образов. Следует согласиться с академиком Дмитрием Лихачёвым, который заключил: «В повторяемости один из секретов завораживающей силы «Слова о полку Игореве»... Она идёт в самых неуловимых и трудно осознаваемых сферах — от чисто звуковых до чисто смысловых, от коротких повторов внутри одного предложения до повторов, разделённых большими расстояниями» (3, с. 276).

1. Повторы в «Слове» и в произведениях Есенина

Подлинный текст «Слова» представлен его Автором строками, не разделёнными на слова, союзы, предлоги. В настоящее время существует множество переводов и переложений, насыщенных и домыслами авторов, и поэтическими приёмами. В настоящей статье принят перевод, который считается научно обоснованным (4). Рассмотрим отрывок «Слова».

«Вступите же, господа, в золотые стремяна за обиду сего времени, за землю русскую, за раны Игоревы, буйного Святославича!

Галицкий Осмомысл Ярослав! Высоко сидишь на своём златокованом престоле, подпёр горы Венгерские своими железными полками, заступив королю путь, затворив Дунаю ворота, меча бремена через облака, суды ряда до Дуная. Грозы

твои по землям текут, отворяешь Киеву ворота, стреляешь с отчего золотого престола салтанов **за** землями. Стреляй же, господин, в Кончака поганого раба, **за** землю Русскую, **за** раны Игоревы, буйного Святославича!

...Ингварь и Всеволод, и все три Мстиславича, не худого гнезда соколы!.. Где же ваши золотые шлемы и копья польские и щиты? Загородите полю ворота своими острыми стрелами за землю Русскую, за раны Игоревы буйного Святославича!» (4).

Как видно из текста, он изобилует округлыми буквами **о, а, е, с, в**; обращает на себя внимание предлог «за» и буква «з». Наблюдаемая в «Слове» особенность имеет тесную связь с произведениями Есенина.

* * *

*Занеслися залётною пташкой
Панихидные вести к нам.
Родина, чёрная монашка,
Читает псалмы по сынам.*

*Красные нити часослова
Кровью окропили слова.
Я знаю — ты умереть готова,
Но смерть твоя будет жива.*

*В церквушке за тихой обедней
Выну за тебя просфору,
Помолюся за вздох последний
И слезу со щеки утру.*

*А ты из светлого рая,
В ризах белее дня,
Покрестися, как умирая,
За то, что не любила меня (5, т. 5, с. 157).*

В стихотворении — 7-кратный повтор «**за**» усилен 4-кратным «**з**».

В стихах также читаем:

Заглушила засуха засевки...

*Запою я тебе втихомолку,
Как живу я царевной тоскую,
Заману я тебя, заколдую,
Уведу коня в струи за холку.*

Русалка под Новый год

Зашумели над затоном тростники...

*Задремали звёзды золотые,
Задрожало зеркало затона,*

*Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.
С добрым утром*

*И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру вместо злата.
На Кавказе*

*Забудь про деньги ты,
Забудь про всё,
Какая гибель?!
Ты ли это, ты ли?
Ответ*

В стихах Есенина наблюдается единство с Автором и в построении поэтического образа. В «Слове», например:

*На Немизе снопы стелют головами,
Молотят цепями булатными,
На току жизнь кладут.
Веют душу от тела.*

У Есенина к этому образу имеется реминисценция:

*А потом их бережно, без злости,
Головами стелют по земле
И цепями маленькие кости
Выбивают из худых телес.
Песнь о хлебе*

Наблюдаемая звуковая перекличка стихов Есенина и «Слова» не единственное проявление их взаимосвязи. В прозе поэта также обнаруживаются аналогичные повторы «**за, аза, з**».

«Сказав, она почувствовала, как груди её **защемили** снова, **глаза затуманились**. Она **забыла**, **зачем** ходила в церковь...» (5, т. 4, с. 147). «Несколько раз она приближалась к Корнею, но, глядя на его спокойно **закрытые глаза**, вздрагивала и, **заложив** руки **за** голову, начинала ходить по избе (Там же, с. 153).

2. «Золото» в «Слове» и стихах Есенина

У Автора «Слова...» насчитывается в тексте 24 слова, имеющих основой **золото**: «**Золотое** стремя, **златым** шлемом, **пересел** из седла **золотого**, в моём **тереме** **златоверхом**, **изронил** **золотое** слово, **злачёные** стрелы, **золотой** стол...».

Есенин тоже одарил многие и многие стихи словами, производными от **золота**. «**И горят** **снежинки** /В **золотом** **огне**. **Задремали** **звёзды** **золотые**. На **подвесках**

из лёгкого золота. Хвойной позолотой /Взвенивает лес. Золотое ожерелье. Где златятся рогожи в ряд. Положили гурьбой/ Золотые снопы...». В первом томе — 44 «**ЗОЛОТЫХ**» слова.

Во втором томе — щедрой горстью Есенина рассыпано «золото» по стихам 64 раза. *«Ревёт златозубая высь. С златою крышей кров. Золотой примял песок. Звени, звени, златая Русь. Разломлю, как златой калач. Здравствуй, златое затишье. Золотою лягушкой луна /Распласталась на тихой воде. Закружилась листва золотая. Куст волос золотистых вянет. Золото овса давать кобылам...»* и т. д.

Третий том содержит 24 «золотых» слова. *«Эх ты, златоглавый. Отговорила роца золотая. В золототканное цветенье. Отдам, как розу золотую. Золото холодное луны. В волосах есть золото и медь. Золотая сорвиголова. Луна золотую порошею. Сергунь! Золотой! Послушай!..»* и т. д.

Обнаруживаемые связи Есенина со «Словом» как в звуковом, так и в словесном составе имеют и другую глубинную связь, таящуюся в сакральном смысле орнамента букв и слов.

3. Орнамент букв и его сакральный смысл

В начале статьи уже указывалось о мощном влиянии «Слова» на творчество Сергея Есенина.

Рассмотренная выше общность обретает ещё большую значимость, будучи осенённая прозрениями Есенина, изложенными в «Ключах Марии».

Есенин начинает свой трактат тем, что «прежде чем подойти к открывшимся нам тайнам орнамента в слове, мы коснёмся его линий под углами разбросанной жизни обихода. За орнамент брались давно» (5, т. 4, с. 174). Изложив взгляд на символику предметов крестьянского обихода, на «весь абрис хозяйственно-бытовой жизни», он заключает: «Нет, не в одних только письменных свитках мы скрываем культуру наших прозрений, через орнаментику букв и пояснительные миниатюры... Вглядитесь в цветочное узорчье наших крестьянских простынь и наволочек. Здесь с какой-то торжественностью музыки переплетаются **кресты**, цветы и ветви». Учитывая ранее изложенное Есениным по вопросу символики, связанную с коньками на крышах, узорчьем на полотенцах, простынях — приходим к однозначному выводу, что орнаментика букв также скрывает культуру наших прозрений. И далее, «...разобрав весь, казалось бы, внешне непривлекательный обиход, мы наталкиваемся на весьма сложную и весьма глубоко орнаментичную эпопею с чудесным *переплетением духа и знаков*» (выделено мною. — А. О.). Можно соглашаться или нет с Есениным по поводу толкования образа букв: А, Б, В, Я, Ё, Ъ, но — однозначно! — он не только интуитивно чувствовал, но прозревал, что за внешней видимой формой буквы — чт: орнамента! — скрывается *Нечто*. Тем более, *Нечто-Этого* следует ожидать в орнаменте слова и лепке слов.

Узелковая письменность, орнамент и фонетическое письмо

Знания чаще всего сокрыты в символах, образах, цифрах, нотах, буквах, узорах. Из знаков и образов плетутся речь, песня, обряды, вышивка, резьба... Более глубинное их значение дано знать не всем, но ощущение гармонии, меры и красоты через творчество — верные шаги к истине. И этим может овладеть каждый.

Символика является наследием истории человечества, когда люди стали выражать свои мысли, своё мироощущение посредством условных знаков. Изучение древней культовой символики раскрывает духовный мир человеческих обществ в дописьменную эпоху. Сходные культовые символы и орнаментальные мотивы имеют широкое распространение. Довольно часто обнаруживаются сходные или даже тождественные элементы у родственных и неродственных народов.

Как полагают учёные, первородными знаками-символами — стойкими хранителями следов исчезнувших эпох — являются: камни «чашечники», пограничные камни, каменные круги, мегалитические сооружения. И сегодня на камнях можно прочесть рунические надписи. Однако Рунике предшествовала «узелковая письменность». Число узелков на верёвке передавало определённое сообщение. К основной, замкнутой в круг красной нити подвязывались узелки, составляющие *слово-понятие*. Отсюда пошло: *«узелки на память»*, *«связывать мысли»*, *«говорить путанно»*, *«завязка»*, *«развязка»*. Изображённые на плоскости знаки узелкового письма стали именовать Объёмными Вязями — узорами, орнаментом.

Одним из самых распространённых мотивов в орнаменте русской народной вышивке являлся крест, почитаемый христианами как символ мученичества Иисуса Христа. Однако и этот священный символ оказывается на проверку более близок язычеству, нежели христианству, поскольку почитание его в глубокой древности напрямую связывалось с «живым» священным огнём, а точнее, со спо-



Конец полотенца

собом его добывания: трением двух сложенных поперёк (крестообразно) палочек. Этот священный огонь был ближайшим источником земной жизни человека, и его знаку придавался особенный, магический смысл.

Учитывая величайшее значение, которое в ту пору придавалось «живому» огню, неудивительно, что инструмент для его добывания стал объектом повсеместного почитания, «даром божьим». Ему стали придавать функции оберега, своего рода талисмана, защищающего от злых сил. И всё это происходило за несколько тысяч лет до появления христианства!

Другие элементы узоров также имеют глубинное символическое значение, которое, возможно, подразумевает Есенин.

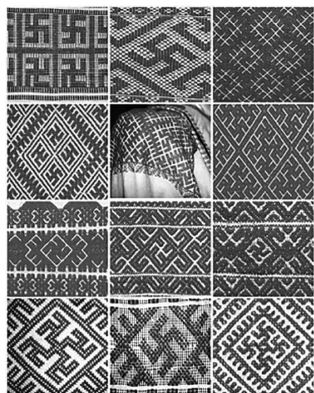
О свастике

Поскольку этот символ оживает в среде скинхедов, уместно остановиться на нём внимание. Свастика, пожалуй, основополагающий знак для солярной (солнечной) символики. Самые недалёковидные и необразованные, чей разум отягощен глупыми пропагандистскими выкриками СМИ, считают этот знак неизменным атрибутом фашизма. Это не так. Любой историк или философ, а тем более, язычник, проследит историю этого знака из глубин многих тысячелетий. Впервые этот символ, наряду с некоторыми другими символами германского язычества, присвоил для своей фашистской державы Адольф Гитлер. С тех пор и повелось, как фашизм — так свастика. На самом же деле знак сей не имеет никакого отношения

к безобразию, называемому фашизмом. Знак сей есть изображение Солнца, обращение к светлым богам. Знак этот приносит благо и справедливость в мир Яви, несёт в себе огромный заряд светлой магической энергии.

Классическое санскритское название этого символа происходит от индоевропейского корня «su/swa», что означает «связанный с благом».

Вспомним птицу Мать Сва (покровительницу Руси), бога Сварога, Сваргу — место обитания светлых богов славянских мифов. К этому же корню относится слово «свет». У славян свастику называли Коловрат или Солнцеворот, и начинается он с шести лучей. *Коло* — это *круг, кольцо, колесо, колодец, колобок*. Коловрат во все века и у всех народов был символом Солнца, есть основания даже полагать, что Солнце в древности называлось именно «Коло».



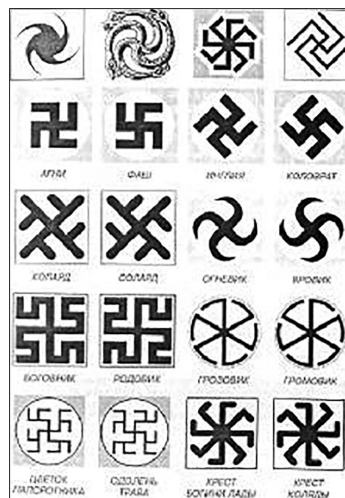
Также некоторые авторы связывают его с единством статики и динамики. Причем динамический смысл имеет только вращающаяся свастика. Если она вращается по часовой стрелке (вправо), то символизирует стремление ко всему связанному с жизнью, с положительными качествами и активным мужским началом; вращение же против часовой стрелки, напротив, указывает на умирание, на отрицание всего положительного и пассивность поведения. Свастика — это не только четырёхлучевой знак, о котором рассказывалось выше. Бывают также и свастики с 2, 3, 5, 6, 7, 8 и более лучами. Каждый

вид свастики имеет свое специфическое магическое значение.

Итак, обратившись к славянской символике, можно действительно постичь сущность жизни, обрядов, оберегов, как и читая буквенный текст, тоже состоящий из символов.

...Одновременно с узелковым письмом возникло и рисуночное: информация передавалась в виде рисунков, они иногда подавались в виде последовательного ряда картинок, раскрывающих информацию-событие в движении. Далее было слоговое письмо, в котором отсутствовали знаки, символизирующие гласные. Сейчас мы пользуемся фонетическим письмом. Читая фонетически, мы скользим по поверхности текста, и для его понимания необходимо прочитать целое предложение или абзац. Чтобы понять что-то глубинно, нужно освоить не сочетание букв, не буквописание, а соединение образов — соединение по сути. С этого начиналось Образование, т. е. призвание образа, умение соединять и понимать смысл букв и слов.

...Самые древние из сохранившихся документов были записаны руническими знаками (рис.1), но их стирало Время, катаклизмы и ещё в большей степени, повсеместное уничтожение при изменении режимов правления. Возможно, что Руника, в которой знаки состояли из примитивных прямолинейных линий, исчезла, как «энергетически слабая письменность», что будет следовать из анализа букв русской азбуки (рис.2). Дополнительно к этому, как отрицательный момент, сле-



дует добавить, что рунические знаки не имеют гармоничного внутреннего лада в своём построении, как скажем, славянская азбука, которая начинается с одной линии — **і**; затем идут двулнейные — **у, х, г, т**; трёхлинейные — **А, и, к, л, п, н, ч, ц**, в них наблюдается внутренняя гармония: горизонтальная линия опускается от **п к н** и до низа **Ц, в И** она меняет направление. Далее идут четырёхлинейные — **д, м, ш, щ**; пятилинейная — **ж**, в которой видно двойное **к**. Прямолинейные буквы закончились, начинается сочетание линии с овалом: **Р, Ь, Ъ, Б, В, Ф, Ы, Я**. В рассмотренных прямолинейно-овальных знаках наблюдается взаимная рефлексия элементов буквы: во всех знаках меняется положение овала относительно вертикальной линии — и всё! В букве **З** отсутствует линия. Азбучный ряд можно закончить округлыми знаками: **б, е, о, с, э, ю**. Ничего подобного в Рунике не наблюдается.

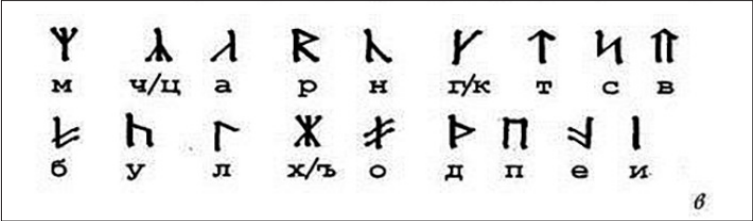


Рис.1. Вендские (славянские) руны

Однако вернёмся к Есенину и отношению к его пониманию смысла орнамента в русском быту и отождествления его с магией букв.

Выкованные атеистами-безбожниками, некоторые литературоведы напрочь отрицали мистическую составляющую слова в произведениях. Так, например, уничижительно характеризуется тяготение Есенина к символизму: «...Он с одобрением цитирует рассуждения А. Белого о том, что «звук слов — заговор, «корни слов — магия» и т. п. Заметно в статье («Ключи Марии». — А. О.) и влияние Н. Клюева, с его мистической трактовкой бытовой символики» (5, т. 4, с. 274).

Попытаемся разобраться, так ли уж «мистичны» мистические воззрения на природу буквы и древнейших символов, если рассмотреть их в свете новых открытий в этой области.

Открытия физики конца XX столетия

В конце XX века томским учёным В.Г. Шкатовым (6) измерены с помощью приборов специфические торсионные поля букв и геометрических фигур, которые именуются «торсионный контраст» и сокращённо обозначаются ТК (рис. 2, 3). **Значения ТК даны в процентах (%) по отношению к чистому листу бумаги, энергетика которого принята за нуль.** Знак % для краткости изложения в тексте не обозначается.



Рис. 2. Энергетические характеристики строчных букв

Из рис. 2 видно, что ТК для различных букв имеют как положительные, так и отрицательные значения, **относительно чистого листа бумаги, значение которого принято исследователями за нуль!** Учёные, ассоциируя это с духовностью, связывают положительные величины с понятием *Добро*, отрицательные — со *Злом*.

Из рис. 2 также следует, что положительный ТК имеют овальные буквы. Прямолинейные же буквы, за исключением *щ, ц, ш, т, х*, имеют ТК отрицательный. Отсюда следует вывод, что при измерениях рунических букв они все должны попасть в зону отрицательного ТК, поскольку среди них нет ни одной овальной буквы.












№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фиг.											
ТК	-8	-6	-1	-1	0	0.5	1	3	5	6	7

Рис. 3. Энергетические характеристики плоских фигур

Можно, входя в область «мистики», высказать следующее: положительное значение «Т» является результатом её происхождения от священного символа — христианского **креста**, имеющего положительное ТК; «Х» положительное, потому что является символом **креста** святого Андрея Первозванного. Вместе с этим, как было сказано выше, существует другая трактовка этих символов: две перекрещенные палочки встречаются в древнейших памятниках, имеющих дохристианское происхождение, и символизируют способ получения огня — ближайшего источника жизни! — путём трения перекрещенных палочек. Можно предположить, что христиане не случайно переняли древнейший языческий символ, — они продвинули его значимость, и он стал символом не только земной физической жизни, но и символом духа, символом вечной жизни, проповедуемой не только христианством. Какие бы умозрительные аргументы ни выдвигались, но подоплёка одна, и потому энергетика обоих крестов одинаковая.

Положительное «О» произошло от египетского символа Солнца ☼ — источника всей жизни на Земле, возможно, поэтому имеет максимальное ТК=6. На многое, ранее скрытое, мистическое открывают глаза измерения физиков...

Из рассмотренного проявляется скрытый сакральный смысл орнамента, о котором пишет Есенин. «Вглядитесь в цветочное узорочье наших крестьянских простынь и наволочек. Здесь с какой-то торжественностью музыки переплетаются **кресты**, цветы и ветви» (5, т. 4, с. 181). Безусловно, что цветы и ветви — не прямолинейные, и тем более, не треугольные фигуры, а овальные, т. е. имеющие положительную энергетику. Можно добавить, что на Руси нательные девичьи рубашки вышивались по подолу «**защитным крестом**».

Из рис. 3 видно следующее: то, что умозрительно постигли учёные в свастике, нашло точное подтверждение при физических измерениях, а именно: свастика с лучами, направленными по часовой стрелке, имеет положительную энергетику, а обратная свастика имеет отрицательную энергетику. Наши пращуры это чувствовали, а может, и знали.

Количественный анализ «Слова»

Имея в арсенале качественное понимание сущности орнамента узорочья, о котором столь убедительно и пространно пишет Есенин, нетрудно перейти к по-

ниманию сакрального смысла «словесного узорочья». К этому приводят дополнительные аргументы Есенина. Рассматривая литературные произведения X, XI веков, он пишет: «...Лепка слов и образов поражает нас не только смелостью своих высказываемых положений, но и тонким изяществом своего построения». *Лепка слов* — тонкое изящество построения! Но слова лепятся, строятся из букв. Они создают орнамент слова, строки, строфы и произведения в целом. Подсчитав буквенный состав «Слова» и пользуясь данными рис. 1, можно оценить в нём энергетическое, сакральное (священное) соотношение Добра и Зла. Минуя промежуточные детали расчётов, получаем общее количество букв $N=665$. Положительные значения $TK=1691$; отрицательные $TK=-323$. Итоговый положительный $TK=1368$. Отсюда среднее значение энергии на букву составит $TK = 1368:665=2,09$.

Аналогичные анализы, например, стихотворений Рубцова «Судьба», «Огороды русские», «До конца» дают соответственно $TK=2,0$; $2,08$ и $2,26$.

При анализе «Молитвы Оптинских старцев» получается $TK=1,86$.

Сравнение этих данных с анализом «Слова» однозначно говорит: положительная энергетика древнерусского Памятника исключительно высока. Текст его богословен. Священен.

Количественный анализ стихов Есенина

Расчёты по приведённым ранее поэтическим строкам Есенина дают количество букв $N=671$. Положительное значение $TK=1649$; отрицательное $TK=-348$. Итоговый положительный $TK=1301$. Среднее на букву $TK = 1,94$.

Сравнение среднего TK на букву «Слова» и стихов Есенина указывает на близкие значения: $2,08$ и $1,94$ — различие 7%.

Под сенью литературы и физики

Если бы, согласно Есенину, мы познали творческую, мыслительную значимость бытового орнамента, букв, образов, «то увидели бы почти сплошь составные части в строительстве избы нашего мышления... постигли бы тайну гласных и согласных, в спайке которых скрыта печаль земли по браку с небом» (5, т. 4, с. 188).

Какую тайну прозревал Есенин в «гласных и согласных», остаётся только догадываться. Уж не ту ли, что энергетически отрицательные буквы, в основном, согласные? Что из среды гласных только «у, ю, и» перешли в отрицательную область, но зато из согласных — 12 букв оказались в положительной области. Одни из них — *т, х*, — возможно, по причине их «священного происхождения», другие — например, *ж, з, в, ч, б, с* — округлили свои составные элементы.

Активные оппоненты развиваемого взгляда на энергетику букв саркастически предлагают выбросить отрицательные буквы из азбуки. Этот процесс уже давно по отдельным буквам осуществлён. Такие «корявые» буквы, как *пси, кси, юс малый, юсь большой, ижица*, удалены из азбуки. Рассмотрение текстов допечатных книг (рукописных) являет активное движение некогда «узких, сжатых» букв, превратившихся в округлые *о, е, з, с*.

Примечание для гуманитариев. В Природе нет ничего положительного или отрицательного. Эти понятия привнесены субъектами (читай, учёными) для удобства сравнения, анализа, понимания происходящих явлений. Так, когда говорят:

минус 20 градусов (-20°C), под этим понимают отрицательную температуру, т. е. мороз. Но при этом никто не задумывается (да и не надо в повседневной жизни!), что эта величина относительная, она установлена учёным Цельсием, который за нуль градусов (0°C) принял температуру воды с находящимся в ней льдом. Учёный Кельвин доказал, что настоящий абсолютный нуль градусов соответствует — 273°C . Этот нуль принят учёными и обозначен 0°K . При таком раскладе — 20°C соответствует $+253^{\circ}\text{K}$, т. е. исключительно высокой температуре!

Возвращаясь к плюсам–минусам букв, следует сказать, что буквы не имеют отрицательной энергии. Достаточно принять за 0% не чистый лист бумаги, как это сделал Шкатов, а принять за 0% показания прибора на букве **Ф**, так сразу все буквы примут положительные значения! Но при этом абсолютная разница между буквами **О** и **Ф**, равная 9%, сохранится.

При таком смещении нуля относительные энергетические показатели на букву, в рассмотренных нами текстах, не изменятся.

Список использованной литературы

1. Прокушев. Ю. Дума о России. Избранное. — М. : Сов. Россия, 1988.
2. Осетров Е. Мир Игорева песни: этюды. — М. : Современник, 1976.
3. Лихачёв Д.С. Великий путь: Становление русской литературы XI–XVII веков. — М. : Современник, 1987.
4. Слово о полку Игореве. — М. : Книга, 1988.
5. Есенин С.А. Собрание сочинений: в 5 т. — М. : Худ. лит., 1966.
6. Сайт «Символика славянской вышивки».



ТАМАРА БУСАРГИНА



Вы снова здесь, изменчивые тени...

Воспоминания о писателях «Иркутской стенки»

Эти воспоминания — не продолжение рассказа о моём детстве («Сибирь». 2015. № 3). Пора военного детства видится мне чем-то отдельным от всего последующего, хотя, возможно, она всё и предопределяет. Может быть, давно пройдя все временные стадии своей жизни с ошибками и рефлексиями, особенными в каждом возрастном отрезке, и дойдя до времени подведения итогов, я поняла — времена помимо моей воли выстраиваются как-то по-своему, противятся системе, хронологии. Это, наверное, потому, что я уже давненько живу вне времени. Я просто вспомню интересных людей, с которыми меня связала судьба, выхвачу из полотна жизни какие-то запомнившиеся фрагменты, попытаюсь дать некоторым известным событиям свою, пусть и на посторонний взгляд спорную, оценку — ведь это будет итог моих «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Так уж случилось, что фамилию «Пакулов» я услышала гораздо раньше нашего знакомства. В доме политпросвещения (ДПП), где проходила конференция «Молодость. Творчество. Современность», раздался с трибуны голос известного в Иркутске художника В.С. Рogaля: «...А Вы, товарищ Пакулов, головой не вертите, мы не для того «заваявывали» советскую власть, чтобы молодёжь всякие выкрутасы выделявала!» Самым большим «выкрутасом» молодых писателей, художников, музыкантов в те благословенные времена была их самовольная организация в общество «Творческое объединение молодых» (ТОМ). Кто-то из комсомольского начальства (уж не помню, кто именно) стал говорить о том, что ТОМ никто не разрешал, а потому он незаконнорождённое дитя. Я с молодым безрассудством и задором вышла на трибуну и высказалась в таком духе: плохо, что в своё время не дали до конца переболеть всеми этими «измами». Вот теперь молодёжь и начала с того, на чём остановились. А в том, что ТОМ незаконнорождённое дитя, тоже

ничего дурного нет — значит, зачато оно по любви, а потому обещает быть жизнеспособным. Молодёжь была в восторге.

Часть пути из ДПП мы шли с Ростиславом Смирновым, преподавателем университета. Он сказал: «Гвалта, конечно, много, но если что доброе и выйдет из всего этого, то это Пакулов. — Немного погодя он добавил: — Если не сопьётся».

В пору «всесоюзного запоя шестидесятых» кипело всё и вся, но особенно молодёжь, она ждала перемен — хотелось большей свободы творчества, хотя никто, ни писатели, ни художники, толком и не знали, «куда нам плыть». Сборищ было много, в основном в ДПП, и, конечно, все они проходили с санкции комитета комсомола и под его бдительным приглядом. При всём характере этих тусовок — «шумим, братцы, шумим» — польза от них, как оказалось, была: из «стенки», как окрестили позже эту обалдевшую от «оттепели» молодёжь, стремящуюся догнать «скач жизни», из их общего бурлящего варева вышли индивидуальные, всяк на свой лад, писатели, поэты, драматурги. Они и составили костяк Иркутской писательской организации на многие десятилетия. К слову сказать, никакой такой внятной программы у «стенки» не было, хоть их идейный вождь, тогдашний журналист из «Молодёжки», Юлий Файбышенко пытался что-то сформулировать. Прежде всего это был протест против «руководящей и направляющей», а всяк продолжал работать, как ему работалось, не имея в виду внести нечто новое и «р-революционное» в своё творчество. Важно было держаться «комком» (пакуловское определение), «стенкой». Это придавало ощущение безопасности. Более «левыми» были художники, их не устраивала, прежде всего, ориентация на передвижничество, навязываемое компартией как эталон. На полуподпольные выставки Старикова, Пинигина и др. ходили с молодым и сладостным чувством конспираторов, но эти несерьёзные и скородельные, а часто просто в пику властям, хулиганские выставки проходили мирно — никто никого не гонял. Всё как-то стихло помаленьку с отлётом Ю. Файбышенко в Москву, где он вскоре погиб при неизвестных обстоятельствах.

К слову сказать, и само слово «стенка» приобрело хождение и хоть какой-то смысл после читинского семинара, куда так дружно вломились пишущие молодые иркутяне и громко о себе заявили. Не входившего изначально в «стенку» Валентина Распутина (он тогда жил в Красноярске) после читинского семинара тоже было причислили к ней, хотя он, думаю, сразу понимал свою отдельность от любых «тусовок».

Однажды, на одном из сборищ молодёжи в ДПП, в зал ввалилась небольшая шумная группа. Понятно, начинающие писатели. У соседа я спросила, а кто из них Пакулов. Мне указали на человека в «стариковском», как мне казалось, тёмно-синем драповом пальто с каракулевым воротником и болотного цвета берете, который еле держался на его густых волнистых волосах. Говорил громко, смеялся, был возбуждён и суетлив. Рассмотрела, а потом и слушала его внимательно — ведь Ростислав Смирнов выделил его из «стенки». Стихи (что-то из «Царь-пушки») мне действительно понравились.

А познакомились мы с ним при особых обстоятельствах. В середине почему-то очень холодного мая 1963 года в Иркутск приехал Кастро, «команданте» из Кубы. Увидеть его, когда весь город высыпал на улицу, было невозможно. Я работала тогда в Художественном музее, окна его выходили на улицу Карла Маркса. Мы, зная, что он проедет по нашей улице, открыли окна, устроились на подоконнике. Вдруг в музей приходит Пётр Реутский (он часто заходил в музей, любил

и даже знал живопись — ведь на Высших литературных курсах в Москве, где он учился, историю искусства вела сама Нина Михайловна Молева), мой хороший приятель, с которым у меня завязывались более или менее романтические отношения. С собой он привёл Глеба Пакулова и объяснил, что лучшего места для лицезрения великого «команданте» в городе сейчас не сыскать, а потому попросил нас потесниться на подоконнике. Глеб при знакомстве отрекомендовался Геннадием. Его тогда все звали Генкой. (Дело в том, что, как отобразил это сам Пакулов в повести «Глубинка», когда отец Глеба в хорошем, на радостях, подпитии вместе со своим другом Филиппом шли регистрировать новорождённого, мудрёное имя, которым мать наказывала назвать сына, они забыли. По дороге встретили двоюродного брата Филиппа, которого звали Глеб, и решили, что имя красивое и вполне годится мальчику. Мать до самой смерти не смирилась с этим, сама, а затем и всё остальное семейство, стали звать его Геннадием. Часто думаю, сущность человека, судьбу его, как корабля, определяет имя — это известно издревле. В Пакулове уживались, и я это заметила скоро, два человека. Публичный — это всё-таки Глеб. Однажды мы на такси возвращались из гостей, Глеб вышел первым. Расплачиваясь с водителем, услышала от него: «Сколько я знаю Глебов, они все сумасшедшие».)

Кастро промелькнул как комета, мы только и видели макушку его головы, да и то, кажется, она была покрыта шапкой-ушанкой. Генка со второго этажа музея комментировал всё это уличное действо так остроумно, что сразу же вызвал во мне, мало сказать интерес, я думаю, что это была, с моей стороны, почти любовь с первого взгляда.

Лицезрение великого «команданте» решено было отпраздновать, что мы и сделали у Реутского. Сейчас, конечно, с юмором вспоминаю ту явно постановочную сцену ревности, что учинил мне Реутский, я очень скоро поняла, что все спектакли, рыцарские ристалища входили в «дежурные блюда» всех этих застолий. Вспоминается почему-то реплика Петра Реутского, часто звучащая из его уст, а потом ещё чаще в пародийном исполнении Г. Машкина: «Я хоть и маленький, но я полутяж».

С Глебом Пакуловым мы не виделись довольно долго — он, геофизик, уехал в геологическую партию куда-то в Читинскую область, а я, как всегда в мае, уехала в Ленинград на летнюю сессию, что делала ежегодно целых шесть лет: ведь после окончания Иркутского госуниверситета я училась на заочном отделении Ленинградской Академии Художеств на отделении истории и теории искусств. (Часто думаю, как же щедрa была советская власть к тем, кто хотел учиться: дорога оплачивалась во время летней и зимней сессий, а также в течение шести месяцев дипломной сессии за студентом-заочником сохранялась зарплата!) Глеба я потеряла из виду надолго, встретились зимой в конце 1963 года у Реутского. В тот вечер был А. Преловский, пришёл Ю. Файбышенко с полубезумным, как мне показалось, человеком. И действительно, едва открылась дверь, он с диковатым взором и очень громко начал читать свои, видимо, стихи. О чём они, тоже не помню, осталось впечатление сумбура. Это был поэт Владимир (так, кажется) Трофименко. Всем стало ясно, что если от него не избавиться, то уж и во весь вечер никто не прочтёт своего, а всем хотелось повитийствовать. Кое-как от него избавились — и всё пошло как обычно, читали стихи, Реутский, аккомпанируя себе на гитаре, пел небольшим проникновенным голос какие-то жалостливые «приблатнённые» песни, он их помнил во множестве со времён своего тюремного детства. А корон-

ным номером его в тот вечер была чечётка на столе, он редко баловал своих гостей этим истинно артистичным представлением, мне довелось это видеть лишь однажды. В тот же вечер Пакулов мне сказал, что у него нелады с женой и они разводятся. О встрече не договаривались — на следующий день я уезжала на зимнюю сессию в Ленинград.

О Петре Ивановиче Реутском у меня сохранились самые тёплые воспоминания. Небольшого роста («малычукового», как он сам определял свой рост и размер своей обуви), всегда почему-то с красноватым лицом и потрескавшимися губами, с шапкой густых тёмно-русых волос, в безупречно чистенькой рубашке — он вообще был необыкновенным чистюлей. В квартире его, где не выводились друзья, постоянно тусовалась «стенка», было чисто, как в амбулатории. Однажды он рассказал, как в один из приездов в Иркутск к нему пришёл Е. Евтушенко с женой (видимо, с Галей), и Галя, не принимая никакого участия в их разговоре, принялась мыть посуду. «Я в неё тут же влюбился, вот прямо она гремит посудой на кухне — и ты влюбляешься!» Видимо, все его жёны предпочитали принимать участие в посиделках, а не греметь посудой на кухне. После развода с очередной женой его небольшая на Набережной Ангары квартира (думаю, как и все последующие) была постоянным местом сборищ творческой молодёжи. Хозяин квартиры привлекал талантом, самобытностью, молодечеством. Конечно, гости выпивали и веселились, но главное, спорили и делились впечатлениями о новинках в литературе, читали собственные стихи и стихи тех советских поэтов, которых вдруг стали печатать, обсуждали потоком хлынувшие к нам всякие заграничные новинки, по крупницам разбирали рассказ А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», а позже роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». (Благо, в те времена все читали одно и то же — выбор был не так уж и велик. Я часто по тому, что мы читали, восстанавливаю события своей жизни, как восстанавливал возраст своих детей какой-то чеховский муж — по гастролям в их городе того или иного музыканта.) Словом, квартира Петра Реутского была творческим клубом, где учились друг у друга. Поэтому Пётр Реутский мог с полным основанием напоминать многим из тех, кто добился хоть какого-нибудь успеха в творчестве, — «вы все вылетели из моего рукава!» Знаменитая фраза о гоголевской шинели, из которой вылетели лучшие русские писатели второй половины девятнадцатого века, перефразированная в Иркутске Петром Ивановичем, стала знаменитой, и хоть впоследствии она приобрела несколько иронический и даже ёрнический (особенно в воспроизведении её Геннадием Машкиным) подтекст, в этом утверждении Реутского была большая доля истины).

А вот Реутского-поэта жаль. У меня сложилось очень стойкое убеждение: чем щедрее Господь наделяет человека талантом, тем скупее ответственностью перед ним, и в результате «трудоголики пера», не обладая и сотой долей таланта того же Реутского или Пакулова, высиживали на мягком месте (в том числе и в казённых кабинетах) и титулы и достаток. О Реутском нельзя сказать, что он, как в старину говаривали, вёл «рассеянный» образ жизни, он умел работать, но куча знакомых из разных кругов, от пилотов до артистов, писателей и поэтов разного возраста и достоинства отвлекали его от дела в самые золотые для поэтов годы, чему он, конечно, и сам способствовал — «верховские чаю не пьют!» — квартиру в центре города на Набережной Ангары никак не могли обойти «мимоидущие товарищи-кутилы». Потом, после женитьбы на Галине Ивановне, в другой квартире на улице Карла Маркса, куда мы однажды попали, уже с Глебом Пакуловым, через

какой-то тоннель, всё, говорят, было по-старому. Возможно, это одна из причин, по которой семья приняла решение покинуть Иркутск.

В последние годы жизни Петра Реутского мы встречались очень редко. До его отъезда «поближе к Москве» в Гаврилов-Ям, что многие справедливо считают большой ошибкой, мы как-то встретились с ним в городе. Выглядел он неважно. Пётр Иванович поведал мне о том, что врач определил у него преждевременное старение и что он сейчас думает, как бы ему закончить роман. Он убеждённо сказал: «Роман будет кормить не только меня, но и моих внуков». Я решила, что как многие поэты, Реутский в зрелые годы решил перейти на прозу, но он имел в виду, как теперь понимаю, свой роман в стихах, прочтя который я уверилась — врач поставила верный диагноз. А очень жаль, и хоть в романе есть страницы, достойные Петра Реутского, но разве это идёт в какое-нибудь сравнение с его прежним, всё-таки смею заметить с сожалением, недооценённым творчеством. А умел он многое. Он мог писать упруго, мускулисто.

*Девушка идёт по пляжу
В гамме солнечной метели,
Капли чёртиками пляшут
На её упругом теле.*

Так же написаны многие его поэмы (этот жанр он любил).

*Семь лесорубов —
это семь «я»,
Это как семь чертей.
Хлюпает под ногами земля,
Чёрных ворон черней.*

Какая звукопись!

Помню в его исполнении (а читал он свои стихи прекрасно) поэму о голодном мальчишке, который в тюрьме лепил чапаевского коня из хлеба. (Вообще он часто вспоминал и, конечно, романтизировал своё тюремное детство, и всегда боялся голода. Однажды ни с того ни с сего посоветовал мне — если придется голодать, главное — не двигайся). Нам, детям войны, уже вовеки не забыть очереди, в которых давали «по триста граммов хлеба в руки».

*Как будто из глубин веков
Мне слышен голос:
«Кто последний?»
Стою четырнадцатилетний,
Я старше всех из мужиков.*

Я с большим удовольствием вспоминаю его стихи, написанные в лучших традициях русской классической лирики — прозрачно, чисто, целомудренно, а главное — красиво!

*Что-то всё-таки произошло,
Только вспомню, и кровь моя стынет.
Ты не радость отныне, а зло,
Отзвучавшее эхо в пустыне.*

.....

*Ну и что ж! — повторяю с утра.
В этом слабость моя или сила!
Жаль, что кроме душевных утрат
Ничего мне ты не приносила.
Почему так тепло и красиво
По-над озером звёзды горят?*

Несмотря на определённую начитанность, хорошее знание русской поэзии, Пётр Реутский был поэтом первозданности, а не культуры, что можно считать характерной чертой сибирской и, в частности, иркутской поэзии (А. Горбунов, М. Трофимов).

Прочитав недавно воспоминания Альберта Гурулёва об университетских годах (а мы с ним однокашники, учились на одном факультете, хотя и на разных специальностях: я историк, а он филолог, но все дисциплины общественного плана — историю КПСС и всё другое марксистско-ленинское, как то философию, экономику, логику и пр. — слушали вместе в двадцатой аудитории), мне тоже захотелось (что будет и кстати в год столетия со времени основания нашего «Иргосуна») вспомнить свои студенческие годы. И первые — в Иркутском госуниверситете, и по второму кругу — в Академии Художеств, что овеваны волшебным Ленинградом-Петербургом, с его белыми ночами, которые как раз приходились на летнюю сессию. Ночные прогулки, миражи каналов и мостов, Эрмитаж и Русский музей, где мы проходили практику и где нас пускали и в запасники... Конечно, вспоминаешь и своих учителей, сожалеешь, что не оправдал их надежд. Но всё-таки главное — это сам город. Уже сейчас, побывав в Италии, Испании, Германии, я понимаю, насколько он красив, необычен, этот наш вполне европейский город с русской душой. Город-мираж, несмотря на всю весомость его каменно-чугунного естества.

Ленинград для меня город-праздник, и это несмотря на то, что жили во время сессии скученно и без особых удобств. Интерьеры Академии Художеств, особенно её коридоры, произвели на меня, при поступлении особенно, довольно мрачное впечатление. Как заметил язвительный В. Маяковский (он, как известно, посещал там классы рисования), соавтор комплекса, академик архитектуры А.Ф. Кокорин, обойдя здание после окончания работ, повесился на его чердаке. Это правда, но причины были, конечно, другими.

Всё же думаю, почти всё, что потом мне пригодилось в педагогической работе, я получила в Иркутском госуниверситете. Вспомню, что смогу, о своих учителях.

Я проходила курс историка во времена, когда Иркутский госуниверситет ещё хранил традиции классического образования, что сложились в других университетских городах России. Из Москвы, Петербурга, Омска, Казани волны революции прибили к нам прекрасные кадры. И позже, уже в военное лихолетье, многие учёные из Центральной России и Украины работали в Иркутском университете и тоже оставили свой след. Качество преподавания, да и перечень дисциплин, которые мы изучали, отвечали действительно университетскому уровню образованности. Я спрашиваю сегодняшних историков-студентов: «Вы изучаете старославянский, древнерусский и латынь?» — «А зачем?» — мне отвечают. А мы изучали. Нам внушали, что тексты летописей, переведённые на современный язык, уже не содержат аромата эпохи. Я до сих пор помню, почему «почнеть хотети» звучит не только приятнее для русского слуха, чем экономное и некрасивое «захотеть». Главное — ритм, музыка Слова, в ней и заключена «душа» времени. А куда в науке без латыни? До сих пор в ушах звенит знаменитое «ама-а-арэ-э, ама-а-тис»

бывшего дьякона, преподавателя латыни. Он всё пропевал своим роскошно поставленным басом.

Нас заставляли читать.

Незабвенный Сергей Владимирович Шостакович, энциклопедист, специалист по международному праву и востоковед, вечно куда-то спешил и начинал лекцию ещё в коридоре. Я помню, однажды, рассказывая о протоиндийской культуре, о Махенджо-Даро, он спросил: «Знаете ли вы такую пословицу *Соловья баснями не кормят*? Так вот она оттуда. И мы, похоже, из тех же времён и тех же мест». Сейчас как чьё-то озарение и открытие нам преподносят то, что давно известно. Повторю, он интересовался нашим чтением не только исторической, но и художественной литературы. Однажды, рассказывая о мавританской Испании, он спросил у аудитории, кто читал «Кармен» и чья это повесть. Нас, прочитавших эту новеллу Проспера Мериме, было двое. Сергей Владимирович обещал на экзаменах добавить нам по баллу, и обещание сдержал, нарисовав нам в зачётке плюсы (пятёрки заработали сами). Он снижал оценку по истории Востока (этот курс он блестяще читал!), если мы не процитируем ему хоть один-два стиха китайца Ли Бо или Омара Хайяма, Руми, Хелами. Не один он был такой. Фёдор Александрович Кудрявцев (он вёл источниковедение и историю Сибири) тоже любил спрашивать на экзамене, какую книгу мы сейчас читаем, а потом, хитро прищурившись, интересовался, а сибиряков читаете? Мы знали, что сибиряки — его конёк, и что-нибудь из Уткина, Молчанова-Сибирского, Гольдберга имели в запасе. Он на лекции, бывало, расчувствуется до слёз, читая стихи сибиряков. Фёдор Александрович был основателем хора студентов-историков, продиктовал нам тексты и сам напел мелодию старых студенческих гимнов, начиная, конечно, с «Гаудеамуса». Мы пели на вечерах и студенческих застольях о том, как пошёл купаться Веверлей и что из этого вышло, пели гимн русских студентов Гейдельбергского университета «Наша жизнь коротка», где предлагалось выпить не только за великий народ и великую Русь — нашу Родину-мать, и, в угоду времени, мы, как и в своё время студенты землячеств Гейдельбергского и Дерптского (Тартуского) университетов, пили за того, кто «Что делать?» писал, а также за того, «кто писал «Капитал» и за друга его, что ему помогал». Светлая память Фёдору Александровичу Кудрявцеву! Археологию вёл у нас И.В. Арембовский, последний из учеников знаменитого антрополога и археолога И.В. Петри. Больной, прошедший войну, совершенно глухой, и потрясающе красивый, он преподносил археологию и все её, особенно сибирские, проблемы как сказку. Мы хоронили его в нашу первую сессию, в январе. Свой раздел курса он дочитал, а экзамены мы сдавали уже ПЭПЭХА. Павел Павлович Хороших (кстати, дядя Арембовского) запомнился тем, что на экзамене непременно привставал и пожимал руки получившим пятёрку. А мы почти все её получили — И.В. Арембовского слушали, затаив дыхание. Доктор экономики И.Н. Трегубов наизусть знал всего Пушкина, цитировал его по всякому поводу, утверждая, что нет ничего на свете важного, о чём бы Александр Сергеевич не написал. Сейчас-то я это точно знаю. Кстати, знаменитое пушкинское «история принадлежит поэту», которое я впервые услышала из уст И.Н. Трегубова, является для меня на всю жизнь непререкаемой истиной. Из семинара «Французская революция» (запомняла фамилию преподавателя, кажется, это был Б.Л. Вульфсон) мы с ужасом узнали, что все эти народные защитнички, Мараты и Робеспьеры, так чтимые советской властью, в ангелы, мягко говоря, не годятся, и очень боялись за него — кому не известно, что в каждой группе были вольные и невольные

доносители. К тому же окна нашего института благородных девиц, где умещались все университетские факультеты, выходили на сад Парижской Коммуны, что внушало дополнительный трепет перед всей этой французской катавасией. И с какими французскими церемониями этот профессор, помню, извинялся перед опоздавшими за то, что осмелился без них лекцию начать.

А как не вспомнить Михаила Алексеевича Гудошникова, от общения с которым я твёрдо уверовала: ничто так не может воссоздать эпоху, почувствовать её аромат, как *Слово*! М.А. Гудошников был замечательным знатоком русской монастырской культуры, истории и литературы древней Руси и петровской России. Будучи уже в преклонных летах, рассказывая о Петре Великом (произносил это имя как-то уменьшительно — *Пётрих Пёрвий*), Михаил Алексеевич на память воспроизводил многие его указы, так естественно и мило цитировал иные петровские тексты с непечатными по нынешним временам словами! И вообще, было впечатление, что он и сам оттуда и близко всех знал.

Всегда жалела, что нашему курсу не повезло — доктор богословия и советский профессор, преподаватель философии, логики и психологии Михаил Васильевич Одинцов вышел к тому времени на пенсию. А вот мой папа, закончивший университет по геологическому факультету вместе с М.М. Одинцовым и Н.А. Флоренсовым в 1936 году, его слушал и много интересного о нём рассказывал! Например, как студенты (вчерашние рабфаковцы) на семинаре М.В. Одинцова по эстетическим взглядам Леонардо да Винчи упорно называли его «Леонард Давыдыч». Ввиду ухода М.В. Одинцова прекратился в университете набор на отделение «Логика и психология».

Не припомню ни имени, ни фамилии искусствоведа, которая один семестр читала курс истории русского искусства (мы знали, она была москвичкой и совсем не надолго приехала в Иркутск вместе с мужем офицером), но именно эту встречу считаю судьбоносной. Я и раньше ходила в художественный музей, но после её лекций стала ходить ещё чаще, и попала на глаза Лидии Григорьевне Пуховской, которая в те времена была, и не только в вопросах найма на работу, едва ли не важнее самого Алексея Дементьевича Фатьянова (Фатьянов был женат на её тётке). И я уже знала, что после окончания университета пойду работать в музей.

Как давно это было!.. Это было тогда, когда по дороге в университет и обратно часть улицы Карла Маркса от улицы Ленина до сада Парижской Коммуны мы шли по тёплым, милым деревянным чурбашикам. После одного из обычных — до постройки Иркутской плотины — наводнений Ангара разлилась до улицы Ленина, лиственничная брусчатка вспучилась шубой, и этот участок Большой улицы закатали в асфальт.

Гуманитарные факультеты занимались во вторую смену, с трёх часов. Ко времени, когда лекции и семинары заканчивались, начинались спектакли в драматическом театре — ни одна премьера не обходилась без нас! Во имя этого можно было и с последней пары сбежать! Я помню «Овод», «Приваловские миллионы», «Баню» («Баню» ещё и потому, что на премьере вдруг рухнули какие-то супрематические конструкции из досок и реек, но всё обошлось благополучно). Обязательно старались увидеть спектакли, где играла супружеская пара Серебряков—Александрова.

Сейчас общаюсь с музыкой, в основном, по каналу «Культура». В университетские «баснословные года» мы слушали в филармонии С. Лемешева, Пантофиль-Нечецкую, М. Максакову (её, кажется, чуть позже), Александровича,

пианистов и скрипачей, Рихтера и Нейгауза. Привычка ходить в филармонию, заложенная в университетские годы в Иркутске, пригодилась в Ленинграде, где мы с академической подружкой из Севастополя, Людмилой Бойко, старались не пропустить ни одной премьеры филармонического оркестра с Е. Мравинским, доставали билеты и на концерты фон Карояна, и на всех заезжих из Москвы и заграничьи знаменитостей — Г. Вишневскую, Е. Образцову, Т. Милашкину, В. Атлантова, С. Ростроповича, Ойстрахов (отца и сына) и многих-многих других. Про балет уж и не говорю, мы смотрели всё, в том числе и выпускные спектакли вагановского училища, и я с удовольствием потом в звёздах русского балета узнавала выпускников-вагановцев. Сейчас все они уже давно на пенсии! Грустно, но и отраднo, что воспоминания о встречах с прекрасным никогда не девальвируются!

Много нашего студенческого народа жило в общежитии на улице 25 Октября, и мы, горожане, знали, что живут там весело, хотя, может быть, и менее сытно, чем мы. Многие жили только на стипендию в двадцать два рубля, питались в складчину, кладя в общую копилку по 15 рублей в месяц. Всех нас, а особенно общежитских, спасал бесплатный хлеб на столах университетской столовой: пока подходила очередь за тридцатикопеечным обедом, мы вволю наедались очень вкусным хлебом с горчицей и солью.

Наши немногочисленные гуманитарные мальчики, честно говоря, особым успехом у девочек-историков не пользовались. А зря, многих проглядели! Но в фаворе были парни из ИВАТУ и «горняки». После свадьбы с ивагушником три-четыре девочки обязательно обретали себе женихов, и в результате такой цепной реакции ко времени окончания университета большинство становились замужними. А «горняков» любили за красивую форму: как приятно было, вальсируя, положить руку на их мужественное плечо и ощутить под рукой бархатистый орнамент их погон! Но горняки предпочитали почему-то медичек!

После окончания третьего курса Академии Художеств, на шестом году моей работы в Художественном музее, для меня наступили тяжёлые годы. Не знаю толком, что послужило причиной тяжёлой депрессии, о которой не очень хочется вспоминать. Наследственный фактор нельзя исключить — многие в нашей семье расплатились за непорядок с нервами, которые нам достались в наследство от деда-грузина (самое обидное, что мы его, кроме мамы, в глаза не видели). Депрессией страдала мама, а моя тётя, мамина сестра, с нею так и не справилась. Музей пришлось оставить — я уехала в посёлок Мама, где мама моя с отчимом, тоже геологом, тогда работали. Пребывание в этом геологическом посёлке связано у меня с воспоминаниями о концерте, данном студентами третьего курса шукинского театрального училища. Запомнился красивый пластический этюд с зонтиком Сергея Райкина и Наталья Гундарева, которую забыть просто нельзя. Когда она вышла на сцену, зал загудел — настолько её облик не соответствовал понятию «артистка». Полная, квадратная, без всяких намёков на талию, в мини-юбке, не с лучшими в мире полноватыми «ножницами»-ногами, Гундарева с явным вызовом осмотрела зал, подождала, когда он успокоится и начала читать монолог Лушки из «Поднятой целины» М. Шолохова... Говорят, что у комнаты гостиницы, где она проживала, был приставлен милиционер — от мужчин не было отбою.

А музей я вспоминаю часто. Кроме Лидии Григорьевны Пуховской, работал со мной Альберт Григорьевич Костеневич, которого увезла в Ленинград приехавшая из Эрмитажа с выставкой голландской живописи XVIII века Надежда Петрусовиц — сейчас он старший научный сотрудник Эрмитажа, доктор искусствоведения. Работала со

мной будущая жена В. Преловского Виктория Балышева. Получали мы (старшие научные сотрудники) по 55 рублей, экскурсоводы по 50 рублей. А директор музея Алексей Дементьевич Фатьянов аж 64 рубля! (К слову сказать, эрмитажные сотрудники получали почти столько же.) Культура и тогда содержалась по остаточному принципу, но не в пример нынешнему времени, зарплата управленцев не очень отличалась от нашей. Однажды, ожидая А.Д. Фатьянова, женщина из управления культуры (не помню её фамилию, знаю, что она курировала музеи), не теряя времени, вынула из сумочки недошитую, ситчик в горошек, блузку, иголку и нитку. Вскоре мы увидели её в этой обновке.

И что удивительно, спрос на нас был большой, а мы были энтузиастами: по годовому плану без всякой дополнительной оплаты каждый сотрудник музея должен был проводить по клубам, школам и всяким заводам до ста бесед и лекций о художниках! Вообще, лучшего места для профессионального роста, чем музей, просто быть не может. Вот отчего там работают десятилетиями, несмотря ни на что: на мизерную зарплату, на утомительность и надоедливых этих поточных, на одну тему по сто раз в году, лекций, а особенно экскурсий по постоянной музейной экспозиции. Огорчала и невозможность всерьёз заняться исследовательской творческой работой. А зато — ежедневно встречи с художниками, с писателями, с приезжающими знаменитостями, персональные выставки местных, столичных и даже зарубежных художников, выставки из столичных музеев. Всё это навсегда осталось в музейном периоде моей жизни.

С Пакуловым (я сразу же, как узнала его законное имя, стала звать Глебом, а за мной и все остальные), вяло перекинувшись несколькими письмами, вскоре потеряли друг друга, да, честно говоря, для меня многое тогда потеряло всякий смысл, и Глеб, похоже, тоже испугался моего состояния. Я иногда от общих знакомых слыхивала кое-что о его разводе, связях, шатаниях-болтаниях, сама потихоньку стала отходить, в музей идти мне уже не хотелось, и я поступила работать в педагогический институт, о чём никогда не пожалела. Меня сразу нацелили на научную работу — я решила исследовать художественную жизнь Восточной Сибири в революционные и постреволюционные годы. Работа в архивах Иркутска, Читы, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска, Омска, Москвы и Ленинграда заняла годы, и, забегая вперёд, скажу, что уже с готовой работой лет семь я ездила в столицы дважды в год — негде было в то время, да и сейчас, защищать диссертации по изобразительному искусству. Наконец, мне повезло. В 1979 году специально для защиты диссертации одного чеха, который исследовал русский натюрморт XIX века, открыли в Московском педагогическом институте им. Герцена при кафедре искусствovedения Совет по защите кандидатских диссертаций по живописи и методике её преподавания. В Совет вошли все светила тогдашнего искусствознания. Чеху не повезло — академик М. Алпатов, председатель Совета и самая большая величина в те годы по истории русского искусства, решил, что чех смотрит на русский натюрморт западными глазами и ничего в нём не понял. Я защитилась единогласно.

Глеб внедрялся в мою жизнь как-то незаметно, появлялся время от времени. Однажды, по приезде из Египта, я обнаружила дома старинную чугунную пишущую машинку, явно списанную в какой-то конторе, — в своих долгих бездомных скитаниях он оставлял свой скарб, где придётся. Машинка до его приезда из геологической партии на зимнюю камералку в Иркутск стояла в моей комнате. Захаживал частенько в моё отсутствие. Бывало, я прихожу с работы, а дома меня встречает пьяненький папа и объясняет: «глебнули по маленькой». После скоро-

постижной смерти второго мужа мамы (с папой они уже давно не жили), осенью 1968 года она вышла на пенсию и приехала в Иркутск. Однажды (помню — это было в октябре) меня провожал домой мой старинный, приехавший из Киева, знакомый. Мы сидели с ним на скамейке напротив кухонного окна нашей квартиры, и в окне я увидела Глеба. Он чаёвничал с родителями. Как я ни растягивала свидание с киевским приятелем, Глеб, похоже, решил меня дожидаться. Встретились, поговорили о том о сём, я его проводила. Потом он мне рассказал, что идти ему было некуда и он попросился переночевать к дежурному в «Молодёжке», спал в каком-то бумажном мешке из-под книг. Вскоре мы встретились с ним на Большой улице, серьёзно поговорили у медных поручней почтамта и пришли домой вместе.

Семейка у нас, прямо скажем, была странная. В трёхкомнатной небольшой квартирке в комнате в 10 квадратов жил папа со своей женой Машей. Маша решила, что родители мои после приезда мамы сойдутся и ушла жить к подруге, но мама её вернула. Самой же маме пришлось жить в одной комнате (она считалась у нас большой, аж целых шестнадцать метров) с племянником, сыном покойной сестры Нины, студентом политехнического института, а мы с Глебом поселились в третьей десятиметровой комнатке. Помню, вскоре к нам пришла одна из бывших претенденток на Глеба и, уходя, сказала мне: «Я предлагала ему лучшие условия. Не уверена, что здесь он долго продержится». Но, худо-бедно, мы прожили с Глебом сорок два года, и из них целых восемь лет в нашей маленькой комнатке на улице Лыткина, дом № 73.

Не только бытовые причины осложняли наши отношения в первые годы совместного проживания. Я старалась быть по возможности терпеливой к его невыносимым для меня привычкам, которые он нахватал в силу нескладности и вообще совсем другого опыта его жизни. Притереться друг к другу нам помог дом в Порту Байкал. До этого мы с мамой и Глебом ездили по железной дороге, высматривали себе что-нибудь подходящее и чуть было не купили половину дома по железнодорожной ветке в районе Большого Луга — другую половину этого длинного барака занимала семья В.И. Трушкина. Вскоре мы узнали, что жена В.И. Трушкина погибла, попав под поезд. Как-то летом 1970 года пришла ко мне приятельница и рассказала, что она провела хорошие деньки с другом в большом пустующем доме в Порту Байкал и что дом продаётся. Хозяева его жили в Ангарске, найти их было просто, и мы приехали с хозяйкой дома на место. Мысль о покупке чего-то другого у нас тут же улетучилась: хоть и не ближний путь до Порты Байкал, но красота кругом, а сам дом из могучего лиственника, большой, просторный! Мама, а, естественно, лишь она и была кредитоспособной на то время, не торговалась, дома в ту пору были дешевы — с ликвидацией Кругобайкальской ветки Транссиба люди, не имея работы, покидали Порт. Хлопот, конечно, было много: Глеб разбирал ненужные стайки, засыпал старинные погреба, подправил баню, мы с мамой успели кое-что посадить в огороде, занялись побелкой дома, покраской внутренних перегородок, красивых резных дверей с медными ручками и резными десюдепортами (фр. — «над дверью») с мотивами солнца. Вообще, в доме оказалось много необыкновенного: чугунная каслинского литья печная дверца с рельефом рога изобилия, прелестная дверца для поддувала — крестьянин в лапоточках везёт барыню, красивые металлические отдушины с пружинами, вделанные в толстые плахи пола медные ручки подвалов (их было в доме два). На веранде стоял самовар, почти ведёрный, с большим подносом, постоянный спутник всех наших посиделок, а в большой кладовой мы обнаружили ещё самовары, в том числе один с монограммой баронессы Корф, и др.

Дом построен в 1937 году из местной лиственницы, которую, как рассказывала дочь хозяина Валентина, после заготовки отец сушил несколько лет. Дом стоял очень красиво, на взгорке, со стороны он казался летящим. Меня всегда поражали окна дома — идеальных пропорций проёмы, с богатым кокошником, с причелинами тончайшей резьбы и поддонами с редким мотивом рыбы. (Этот мотив, возможно, связан с бурятской культурой, ведь отделкой дома занимался какой-то мастеровитый бурят: уходя на работу в порт, хозяин дома Потылицын брал с собой доску и вечером приносил домой резной карниз. Но, возможно, мотив связан и с христианской культурой, ведь рыба — символ Христа.)

Глеб, конечно, почти в первый же день вселения в дом схватил все свои снасти (коробка со снастями — единственное, что он сберёг от прошлой жизни) и побежал на Ангару рыбачить. Но, оказалось, рыбалка здесь с большим секретом — у него и мушки не те, и на червей здесь не во всякий день что-либо нарыбачишь. Рыбалка в основном донная, а не верховая, и делать для неё настрой большое искусство. Но постепенно здешние рыбаки рассекретили, как надо располагать на настрое дробины, и кое-что другое поведали Глебу в посиделках под водочку на ангарском берегу, и Глеб, имея опыт рыбной ловли на Амуре, в реках и озёрах Прибайкалья и Забайкалья, вскоре стал лидером-рыболовом. «Облавливат» — говорили местные рыбаки. И правда. Однажды на Троицу Глеб поймал столько рыбы, что идя вверх к нашему дому по распадку, повесил на калитки всех обитаемых домов по связке «харюсков». Пришлось смирять рыбачий раж, да и мама ругалась (зачем лишнее?). Помню, как Глеб, по прошествии приблизительно пяти лет со дня нашего приезда в Порт Байкал, однажды сказал маме: «Ольга Евстафьевна! Радость эта ненадолго — будете ещё вспоминать эту рыбку!»

Кроме рыбы, были там и другие радости. Грибов было немерено — подосиновики, подберёзовики, опята, свинушки, чёрные грузди росли недалеко от дома, с потеплением появились во множестве белые грибы. Зайцы зимой протапывали настоящие дороги уже в двухстах метрах от дома. Глеб, вместе с потерей во время своего холостяцкого бездомья ружья царских времён, доставшегося ему от отца, совсем охладел к охоте, да и раньше охотился в основном по нужде — во время войны мальчишкой и в геологических партиях, когда было туго с провизией. Ставить петли считал нечестным. Так что зайца мы ели лишь однажды на Новый 1974 год — его нам принесла и положила на крыльцо наша собака Дик. Наш дом крайний в распадке, а потому к нам наведывались и медведи — один из них задрал телёнка у соседей. Однажды нам пришлось вернуться из похода за смородиной, что росла недалеко от дома по ручью — навстречу нам бежали женщины: «Не даёт ягодку Миша, ругатся!» Позднее отстроил усадьбу и поселился рядом с нами охотовед В.И. Носырев и, несмотря на то, что медведи не трогали людей, решил открыть на них настоящую охоту, не пожалел даже медведицу. Местные жители заставили его отвезти в город медвежат, которых он содержал в вольере, но все знали, что с малышами стало. Забегая вперёд скажу, что этот сосед заставил меня вспомнить украинскую пословицу: «Нэ купуй хату, купуй сусида». И навсегда невзлюбить охоту и охотоведов.

Глеб иногда винил себя в том, что стал родоначальником нашествия на Порт Байкал дачников. Но как могли повлиять писатели, художники, среди которых вроде и не было охотников, на всю экосистему округа?

П.И. Бирюков, друг и биограф Л.Н.Толстого, в одном из писем к писателю попросил его написать свою биографию. В ответном письме Л.Н. Толстого я на-

шла строки, созвучные своим мыслям по поводу воспоминаний вообще. «Я попробовал думать об этом, — пишет Л.Н. Толстой, — и увидел, какая страшная трудность избежать Харибды самовосхваления (посредством умолчания дурного) и Сциллы цинической откровенности о всей мерзости и глупости своей жизни». В силу законов жанра я, вспоминая прошлое, неизбежно передаю своё личное восприятие людей и событий, своё собственное к ним отношение. Наполненность и масштабы «глупостей и мерзостей» у тех, кого я вспоминаю (в моём, конечно, измерении), вряд ли совпадают с толстовскими, они у каждого свои — «Откуда начну плакать окаянного моего жития деяний?»... Постараюсь честно касаться лишь тех из них, что сказались на творчестве и судьбе того же Пакулова. Опыт не просто откровенных воспоминаний, а «запредельно откровенных», по определению безвременно ушедшего от нас писателя Владимира Карнаухова, у меня уже есть («Тот вечер и та ночь» // Сибирь. 2007. № 3). У меня по-другому, видимо, не получится, тем более, что факты жизни, например, громкоживущего Глеба Пакулова, как правило, всем известны, однако внутренние пружины многих его поступков я, возможно, лучше знаю и чувствую.

Я сразу поняла, все мои упования на тихую жизнь, на возможность видеть Пакулова, наконец, за письменным столом — пустое. В первый же свой приезд в Иркутск он приглашал кучу народа. В то время, не то что в нынешнее, даже хлеб приходилось привозить из Иркутска. А гости, за редким исключением (Вампиловы, москвичи Вороновы) привозили только водку. Выручала рыба.

Ох, сколько «всяких и невсяких» у нас гостили, иногда и подолгу, уже не припомню. Иногда я чувствую себя виноватой перед мамой, которая большую часть своей «дачной» жизни простояла за плитой.

Толком и не знаю, кто из писателей когда приезжал, а потому буду писать о людях, которые запомнились, а ещё о животных — какой смысл жить в деревне, в посёлке (а к тому времени от густонаселённого рабочего Порты Байкал осталось лишь название), в котором не мычит корова, не поют петухи, не лают собаки, не придёт лошадь и не положит свою большую красивую голову на штaketник ограды, ожидая от тебя куска хлеба с солью? Всё это ещё было. Мы уехали с Молчановской пади тогда, когда из всей этой живности остались лишь собаки.

Осенью 1970 году мы с мамой впервые познакомилась с тогда уже знаменитым и самым благополучным писателем Геннадием Машкиным. «Звезда Востока», как звала его тётка Валерия Стукова, шумной компанией ввалился к нам под вечер в сопровождении В. Стукова (они тогда были «не разлей вода»), Геннадия Кинжалова и Владимира Удатова. Ещё до покупки байкальского дома мы с Глебом у себя в городской квартире не раз встречали писателей, и, учитывая мой опыт знакомства с ними у Петра Реутского, я, честно говоря, уже никакого трепета перед ними не испытывала. Из писателей (страшно подумать, из них лишь Саня остался в памяти молодым!) сразу же я выделила и, думаю, по-особому привечала (как потом и мама) Валентина Распутина, он и в молодости просто источал какую-то основательную и, как мне казалось, густую и тяжеловатую ауру. Это впечатление, бывало, улетучивалось, когда он в компании, чуть подвыпив, рассказывал сочинённую или достоверную, но всегда по-писательски расцвеченную историю своих или приятельских походов. Но уже тогда я заметила за ним одну странность — я не припомню его откровенно, «во весь рот», смеющимся (это роднило его с Вампиловым). Эмоции его, что называется, «были под контролем». Приметила я за ним и такое: в застолье, вдруг, на голом месте, он засмеётся и так откро-

венно, по-детски. Понятно, о чём-то своём. Уже в те годы часто в компании ему было скучно и одиноко. Он научился пить в одиночестве. Парни рассказывали: в начале семидесятых гуртом ходили в кафе, что располагалось в деревянном доме на набережной, напротив памятника Гагарину. Захаживал туда, когда накатывало, и Валентин Распутин, кивал им, подходил к стойке, брал неполный стакан коньяка, выпивал, не закусывая, и молча удалялся.

Но это отступление. О Распутине, если получится, разговор впереди. А пока о Геннадии Николаевиче Машкине. Я знаю двух (а может быть, и трёх) Машкиных, так не похожих один на другого. Общее у них — лишь постоянное наличие желчи, правда, в разных кондициях. Я знавала Машкина в добром здравии и Машкина в подпитии, хотя в этом промежуточном состоянии он был вполне терпим и даже интересен. (Ловлю себя на том, что то же самое я могла бы сказать и о своём муже.) В первый же вечер знакомства, когда была выпита вся авоська с водкой, привезённая гостями, вмняемым остался лишь Стуков (он всегда пил аккуратно), Кинжалов с Удатовым куда-то тихо улеглись, а вот Машкина мы увидели во всей красе. Но, Машкин есть Машкин, он проспится и станет многознающим, интересным собеседником. Он был малоприспособленным для таёжной жизни, но как геолог-теоретик был грамотным. Именно поэтому Геннадий Николаевич был интересен геологам маме и Глебу, и в нашем байкальском доме бывал не единожды. Наутро было забавно узнать, что совсем недавно Машкин на дух не переносил спиртного, и Глебу, который приезжал к отцу Машкина «дяде Коле» в Селиваниху порыбачить, приходилось прятать бутылку, иначе она будет вылита в Иркут.

Мне приходилось читать в воспоминаниях Бориса Лапина и кое от кого слышать о том, что привезённая из геологической партии и представленная читинскому семинару повесть Машкина «Синее море, белый пароход» была настолько несовершенной, что её пришлось править чуть ли не всей «стенкой». Действительно, что-то наши филологи правили, не без того. Но мне всё это напоминает шолоховскую историю — а кто писал за Машкина «Арку», «Вечную мерзлоту» или повесть «Егор, сын охотника»? Эти повести надо отнести к достижениям сибирской прозы. Конечно, Машкин отомстил за эти разговоры. Он написал язвительный «Вальс монашки», где многим досталось, но более всего Ю. Самсонову, предлагавшему, говорят, Машкину соавторство. Он там фигурирует под образом Самсона Лошадьева.

Среди друзей-приятелей, писателей, близких и по творчеству, и по веселью, бродило много побасенок о некоторой прижимистости Геннадия Николаевича. Говорят, однажды собралась вся братия что-то отпраздновать «вскладчину» на заливе Иркутского моря. «Эпса (*он почему-то так звал свою жену Эмму Ивановну*) дала мне трояк, вот вам, — и вынул из кармана немыслимую для тех времён бумажку... В. Стуков утверждает — 100 рублей. Машкин побледнел, а Глеб Пакулов торжественно произнёс: «Мы все, Гена, знаем, что ты щедрой души человек!» Денежки, конечно, плакали, компания вволю повеселилась. Моей маме однажды пришлось остаться с детьми Машкина, Наташей и Максимом. Привычка давать всем прозвища не обошла и его детей. Он звал их «шонные» или «мои шонные». Дело в том, что как-то утром он позвал детей завтракать, и сонная Наташа сказала ему: «Папа, не приставай! Мы ещё шонные». Уезжая в город по делам, он оставил своих «шонных» моей маме на два дня, дал на прощание им своё любимое напутствие «Будьте аккуратистами и интересантами» и укатил недели на две...

Конечно, бережливым Машкина сделало тяжёлое военное и послевоенное

детство. Даже после войны Машкин со своим братом Юрой зарабатывали на хлеб продажей прищепок для белья — сами выстругивали деревянные части, гнули проволоку. И обидно, что во времена реформы всё, что он заработал совсем нелёгким писательским трудом, превратилось в пыль. Трудиться за письменным столом он умел и, как это ни парадоксально звучит, очень хорошо, что Геннадий Николаевич был «запойным», следовательно, у него были и абсолютно трезвые, плодотворные рабочие дни, и даже недели (я всегда ставила его в пример Пакулову, у которого вообще никакой системы не было). В девяностые годы, особенно после смерти жены Эммы Ивановны, Машкин, похоже, совсем потерялся, дети жили отдельно, из квартиры не выводились пьянчужки, допился до того, что чуть не сгорел. Здоровье его сильно пошатнулось после падения — он сломал шейку бедра, что и спровоцировало рак, так рано сведший его в могилу. Но... мы забежали чуть-чуть вперёд. А тогда Глеб решил его спасти — познакомил с нашей соседкой, прекрасной женщиной Людмилой Терентьевной Рондик. Она не только скрасила его быт, она продлила ему жизнь. Царствие им Небесное! В тяжёлые девяностые, чаще осенью, Машкин с Людмилой Терентьевной приезжали к нам в Солнечный, мы варили, по определению Машкина, «пороховенький супок» (от чего он производил это слово: то ли от того, что содержимое пакетика быстро варилось, то ли от того, что оно было порошкообразным, не знаю). Похлебав супчика, все садились в нашу «Сарепту», переплывали Чертугеевский залив, высаживались на овощное поле сельхозинститута и подбирали то, что оставили нам студенты, — зелёные листья капусты, морковь. Листья обмывали в ванной, затем солили с морковкой.

Всяким вспоминается Машкин. Он иногда привозил с собой интересных людей из Москвы. Однажды он появился вместе с Георгием Ивановичем Куницыным. Об этом узнал Сергей Иоффе и ещё кто-то — пришли послушать человека, который, вращаясь в правительственных кругах, много чего знал интересного. Не тут-то было! Весь вечер «на манеже» был Машкин, он воспроизвёл весь свой репертуар, начиная с «ок-ок, казачок» — это о Реутском, потом опять о нём — как он шашечкой (тук-тук-тук!) разрубил однажды свою жену Галину Алексеевну пополам и хорошо сделал: с тех пор она стала приносить домой две зарплаты. Язвительный Геннадий Николаевич намекал на то, что жена «сухенького бандита» (это тоже поэт Реутский) работала на двух работах. Когда кончились байки о Реутском, решил позубоскалить над другими — у него для многих были заготовлены прозвища, занятные, часто не очень добрые истории. Особенно доставалось талантливым. Серёже Иоффе это надоело, он решил уходить и на крыльце, прощаясь, сказал мне: ну вот, пришёл послушать умного человека, а слушал двадцать первый раз машкинские байки. (Откуда этот «сухенький бандит»? Да всё оттуда же, откуда и вампиловская «сумочка к ребру» — из писем графоманов в «Молодёжку». Точно не помню, но кто-то написал историю о ночном разбойнике, который напал на поэта, наслушался его стихов и... «сухенький бандит так и оцепенел». Что-то в этом роде. Прозвище не шло Реутскому — поэт был крепенького и ладного телосложения, ведь он некоторое время даже выступал в цирке.)

Геннадий Николаевич часто производил впечатление зачарованного. Однажды утром на даче он ходил по комнате, не переставая пел какую-то китайскую людоедскую песню, из которой знал лишь четыре строчки. Пел, растягивая последнюю букву:

*Мина — чугунный арбуз-з-з,
Мину в землю зарой-й-й —
Костей человеческих груз-з-з
В небо взлетает горой-й-й.*

Пел, пока не остановили. Любимой его похвалой тоже было что-то из китайского: «Ты, Мяо, хороший член кооператива!» При этом была важна интонация.

В те времена писатели часто ездили в командировки. Из командировок Глеб привозил разные истории: многие из них происходили в разное время и в разных местах, у меня в мозгу они давно перемешались, иные превратились в байки — важно, что они передают дух их молодого, творческого, часто авантюрного дружелюбия и дух времени. Однажды хорошей компанией они были где-то на севере Иркутской области. Читали каждый своё — Филиппов и Пакулов — стихи, Машкин что-то из своей геологической прозы, профессор Богач, естественно, о Пушкине в Молдавии. В обеденный перерыв пошли в столовую, Машкин и Пакулов встали вместе с рабочими порта к раздаче, отгороженной от кухни металлическими перилами. Кто-то из рабочих пронесет мимо стойки на подносе полную тарелку супа, он плещет через край, и Машкин, впериw в тарелку ничего не видящие глаза, произносит: «Позвольте всхлебнуть!» Помог опомниться парню Глеб: «Не обращай внимания. Он стихи читает». Хорошо же выглядела вся эта писательская братия, если стоявший за Глебом мужик, явно из бывших эзков, спросил, указывая на Филиппова: «А этот, длинный, кто?» «Мой телохранитель», — ответил Глеб. «А-а. А рядом с ним кто?» — «Профессор». Мужик с одобрением произнёс: «Хорошая кличка — «Профессор».

Глеб и самодеятельный композитор Валерий Стуков (автор и исполнитель песен на стихи русских, советских и сибирских поэтов, был украшением этих поэтических концертов) рассказывали: однажды у них был, как говорят артисты, чёс по железной дороге. По окончании концерта на одной из станций они по связи договорились о концерте на другой, перечислили организатору всех его участников, в конце списка назвали Удатова. На другом конце линии решили, что будут удавы, что и было объявлено в афише.

Размышляя о Машкине-писателе, можно с сожалением сказать, что писательское время у него было длинным, а плодотворное, творческое — коротким. Не считая пришедшейся ко времени, прошумевшей и в некотором роде прославившей его повести «Синее мое, белый пароход», самые большие его художественные достижения укладываются в сборник повестей «Егор — сын охотника». Ему давались рассказы о том, что он хорошо знал. И зря, как мне кажется, он взялся за довольно объёмные вещи, которые он называл романами. Да дело и не в определении жанра, к тому времени уже никто не заботился о его чистоте. «Дальняя тайга» или «Выстрел из кембрия» интересны как повествование о действительных фактах, связанных с поиском золота или нефти, что он, как очевидец и геолог, хорошо знал, но вряд ли это «романы», как ты их ни называй, роман-хроника или как-нибудь ещё, не получилось у позднего Машкина стать «сочинителем» характеров, психологом, способным проникнуть в логику поступков своих героев, да мало ли чего ещё надо «романисту», например, суметь сохранить до последней страницы запал, энергетику повествования. Всё, что не касается просто фактов в этих произведениях, вяло и вымученно, и если нет интереса к теме, вряд ли появится желание прочесть книгу до конца. Но как живая история, описанная не только свидетелем, но и участником поисков в Сибири полезных ископаемых, эти книги, вероятно, будут жить.

Не скажу, чтобы Глеб, а я в особенности, испытывали к Машкину какое-то особое тёплое чувство, и сам он, по-моему, мало кого любил. Да и нездоровье не улучшает характер и не вызывает прежнего желания общаться. В последние годы он чаще принимал гостей у себя дома, Людмила Терентьевна заботилась об этом. Мы с Глебом видели его в последний раз в больнице.

Все уже ушли, и каждый, кого очень любил и кого не очень, унёс с собой что-то единственное, унёс частичку тебя самого. Царствие им Небесное!

Глеб, хоть и не сразу после покупки дома на Байкале, решил взяться за что-нибудь более солидное, чем небольшая по размеру повесть «Ведьмин ключ», изданная в 1970 году журналом «Ангара», детские повести «Горнист Чапая» и «Девочка Лея», «Тиара скифского царя», вышедшие отдельными книжками. Он решил, что это будет историческая повесть или роман. Я советовала ему закончить поэму «Поле Куликово», пролог к которой, напечатанный в 1964 году в подборке «Бригада», неоднократно издавался как самостоятельное стихотворение. Продолжать поэму он не стал — Блока не переплюнешь. Он решил писать о том, что ему неоднократно снилось. А сны были из истории — это разные вариации одного сюжета: он видел сражение на плоской (что с историей архитектуры древней Греции не согласуется) крыше большого античного храма, где русские совместно со скифами, вооружённые только короткими мечами-акинаками, после долгого боя всё-таки сбросили с крыши греков. Глеб утверждал, что это были они, все его знания по античности и хрестоматийные картинки из древней истории выдавали греков-воинов. И сам он был воином, а после окончания схватки становился ногой на акротерий (это такое украшение на углах античных храмов), отталкивался от него и долго летал над местом боя — он летал во сне всю жизнь. (Летал во сне и Валентин Распутин, что он и описывает в повести «Наташа», там он летал над крышей нашего байкальского дома.) Глеб, как и Блок, был уверен (и это, похоже, правда), что мы со скифами ближайшая родня. Придумать сюжет ему большого труда не составляло, а вот одеть всё это живой плотью — одной фантазией не обойдёшься — пришлось много читать. Помню, сборы были долгими. Белую бумагу он очень не любил, и кто-то, кажется Сергей Иоффе, дал ему толстую стопку сероватой, мягкой и тёплой по тону бумаги, которую он сшивал, нашёл кусок синего дерматина и сделал обложку. Вот за таким занятием его однажды застал Александр Вампилов. Передняя нашего байкальского дома делилась на два пространства только печью, а потому их разговор я в общих чертах могу воспроизвести. Вампилов спросил Глеба, для чего он приготовил такую толстую тетрадь, не иначе задумал написать роман века. «Это будет повесть или роман, как получится, о началах русского века, мне интересно знать корни, истоки — «откуда есть пошла Русская земля». «А кому это ещё будет интересно? Какие корни? Давным-давно сгнили эти корни, опять начнёшь фантазировать насчёт всяких скифских тиар? Кончай ты с этой историей».

Роман Глеба Пакулова «Варвары» выходил солидными тиражами дважды в Иркутске и трижды в Москве (в лихие девяностые годы два раза так называемым контрафактом).

Конечно, творческие устремления у них начисто не совпадали. Вампилов вообще не приветствовал историко-романтические пристрастия Пакулова. Он не признавал того, что, как писал С. Зотов в журнале «Наш современник» (2006. № 7) по поводу пакуловской «Гари», сегодняшние вопросы можно ставить на любом, в том числе и на историческом материале, «так как ничего не меняется в характере

человека и сильные характеры всегда прекрасны». Его не интересовала русская история вообще и история как литературная тема в частности, в этом смысле Вампилов не «почвенник». Глеб знал и чувствовал Вампилова, а главное, любил его, поэтому никогда не объяснял такую творческую позицию Вампилова его «нерусскостью», хоть и были к тому случаи. Однажды в весёлой компании «коммерческого подворья» (есть ещё, слава Богу, живые свидетели этой сцены) режиссёр Георгий Гаврилов решил вслух порассуждать, какого же Вампилов роду-племени: по творчеству — русский европеец, а по крови — полубурят. Вампилов долго терпел эти генеалогические разборки, затем встал со стула и с глазами, налитыми яростью, обратился к Гаврилову: «Запомни, я — монгол!» Видимо, судьбу своего отца, расстрелянного за «панмонголизм» и принадлежность Вампиловых к знатному монгольскому роду, он никогда не забывал. Наблюдая грустного Вампилова, а он чаще всего и был таким, я почему-то вспоминала И. Бунину, который свойственную ему «грусть без объяснения предела» приписывал своим монгольским корням.

У каждого писателя свои причины и свои темы, которые не дают спать по ночам. В середине восьмидесятых годов Глеб Пакулов ночью в доме на Байкале на обоях записал стихи, которые ему приснились:

*Ой ты, Русь, ты моя неизмерная!
Песни-стрелы куда домечу?
Гаревую тебя, нерассказанную
С тех до этих времён волочу.*

А Вампилов жил современностью, судьбой и помыслами сегодняшних русских мужчин и женщин, и мог на лёгком, казалось бы, фарсовом материале (двое забулдыг-студентов обманом проникли в чужой дом) ставить серьёзные проблемы.

Глеб знал с раннего знакомства с Вампиловым, особенно после Читинского семинара, что не у всех, конечно, но у многих из писательского окружения было особое отношение к Сане. На Читинском семинаре 1965 года Пакулов с Вампиловым оказались в одинаковом положении — у них не было публикаций. Но Марк Давидович и Борис Костюковский, вспомнив, что в серии «В помощь художественной самодеятельности» выходили какие-то миниатюры Вампилова, обшарили все библиотечные подвалы Читы и нашли-таки, что искали. (Эти доброхоты не знали, что Александр Вампилов уже тогда числил их по специфическому литературному ведомству — «мастера вводного слова»!) У Глеба к этому времени был написан рассказ «Ведьмин ключ», в 1964 году в знаменитой серии «Бригада» была опубликована подборка «Славяне», в которую вошли две поэмы, стихи. Стихи понравились, но Пакулов, как известно, привёз с собой пьесу, наскоро переделанную для ТЮЗа из детской повести «Горнист Чапая». Безалаберному Пакулову никто даже не напомнил об издании «Славян», которое было, кстати, и у Филиппова, одного из авторов «Бригады» и организатора семинара. В результате приём Глеба Пакулова в Союз писателей затянулся на целых десять лет — сам Марк Давидович не жалел ни денег, ни времени, приезжал в Москву всегда, когда стоял вопрос о приёме Пакулова в ССП. Он был чужой тому клану писателей, которые в то время всё и определяли — об этом после гибели Вампилова предупреждал его В. Шугаев. От тотальной неприязни всей этой братии не спасло даже отчество, которое он получил от отца, названного так в честь Иосифа-обручника. Так повели святцы. В стремлении же посадить Вампилова на божницу позже стали до-

ходить до смешного. Заведующая домом-музеем Вампилова в Кутулике по каналу «Культура» рассказывала: когда лодка перевернулась, Вампилов поплыл, но зная, что друг не умеет плавать (это после амурского детства и почти пятилетней службы на флоте!), вернулся прицепить руки Глеба к лодке, и затем продолжил плыть к берегу. А как описан этот момент у Андрея Румянцева — Вампилов (и тут он знал, что Глеб не умеет плавать), плывя, кричал ему: «Держись за лодку! Я поплыву к берегу (а куда бы ещё ему плыть? — Т.Б.), пришлю помощь». Какова драматургия, когда счёт шёл на секунды! Да и кто мог в этом хаосе хоть что-нибудь услышать? Отнесём это на счёт харизмы Вампилова. Поймёшь О.М. Вампилову, вдову драматурга, которая сетовала в «Комсомолке», что в Иркутске сделали из Вампилова идола. (Ольга Михайловна, я надеюсь, ещё не читала так называемый «Синописис» фильма о Вампилове «Облепиховое лето», где трагедия, по утверждению сценаристов, случилась оттого, что «у жены Вампилова и Глеба, его лучшего друга, завязываются странные отношения... Вампилов садится в лодку с другом, чтобы поговорить о том, что с ними происходит. Лодка переворачивается». Верно, от накала разговора.) До такого ещё никто не додумался! Протест сценаристам выразили многие, в том числе и И.А. Прищепова, они обещали сценарий изменить, но оставили за собой право на вымысел. Посмотрим!*

А плавал Глеб прекрасно, потому-то и крикнул ему Саня: «Плыви!», но Вампилов не подумал, что у Глеба высокие, но тесные болотные с раструбом сапоги, он снять их в воде не смог, они тащили вниз — вот и всё. Я часто думаю: купив эти сапоги, я спасла Глеба или усугубила всё дело — плывущий Глеб мог бы помочь Саше. Да что теперь о том размышлять...

Мне тяжело вспоминать о Вампилове, и я мало чего хочу прибавить к тому, что уже писала о нём. Да и вспоминается всё какими-то клочками. Помню под вечер Глеб (это было совсем незадолго до гибели Саши) встречал семью Вампиловых с парохода. Ольга с Леной пришли домой, а Глеб с Сашей долго оставались на берегу и пришли уже затемно, во-первых, трезвыми, что приятно удивило, но какими-то тихими и грустными. Позже Глеб рассказал: Саня со слезами на глазах говорил о том, как непорядочно повёл себя знаменитый московский режиссёр (не стану называть его имени, он потом прилюдно каялся — недопоняли, пропустили и т. д.). Вампилов договорился с ним о встрече по поводу постановочных перспектив «Утиной охоты». Режиссёр велел привратнику говорить, что его нет в театре. Вампилов решил подождать, мало ли какие дела задержали, но вскоре увидел эту знаменитость выходящим из театра. Больше Вампилов к нему не обращался. Страшно подумать, сколько унижений, обид претерпел Вампилов, предлагая свои пьесы в театры. Неужели надо было умереть, чтобы вдруг открылись все их достоинства!

Тяжёлыми были его предсмертные дни, настолько душевно тяжёлыми, что Вампилов из боязни с ними самостоятельно не справиться, обратился к известному в Иркутске психиатру за помощью. Тот ему посоветовал идти в церковь. Это было, по словам врача (он ещё жив), приблизительно за две недели до гибели Вампилова. Был ли он в церкви, не знаю. Смутно припоминаю, что собирался креститься. Он к этому, судя по «Старшему сыну», был готов, в пьесе ясно прослеживаются христианские мотивы добра, прощения, любви.

*Сценарий изменился, но правды не прибавилось. Непонятно, ради чего сделали фильм — ни вампиловского творчества, ни личности, ни байкальской природы, ни «облепихового лета». И самая большая неправда — нет даже намёка на присутствие Валентина Распутина в жизни Вампилова, тогда как иркутянам и исследователям творчества того и другого очевидно, насколько их дружба-соперничество была плодотворна для обоих.

Вампилов, несмотря на молодость, имел очень трезвое представление о жизни и не ждал для себя благоприятной писательской погоды, а действовал, проявляя, на мой взгляд, некоторое нетерпение в устройстве своих пьес, но при этом сноровку и даже артистичность, когда, особенно у чванливых москвичей, подвергался всяческой проверке. Саша рассказывал, как однажды во МХАТе Олег Табаков пристально взгляделся в Вампилова и церемонным жестом, но при этом изощрённо и витиевато матерясь, стал приглашать его сыграть в шахматы. Вампилов принял вызов и так цветисто ответил на его приглашение, что проиграли всю партию в гробовом молчании.

Недавно мой племянник Алексей вспомнил лето не то 1971-го, не то 1972 года, когда они были на даче в одно время с Леной Вампиловой. Лена вынесла из дома книжку с картинками, села на крыльцо, полистала, нашла нужную сказку и стала вслух её читать. Читала она бегло. Когда надоело, передала книгу Алёше, и тут выяснилось — он не умеет читать, а они ровесники. «Я до сих пор не могу забыть её взгляда, — вспоминает племянник, — сколько в нём было презрения, что я ушёл в огород и там от злости поплакал». Мы сидели на заваulinке, Глеб заметил, что «девочки быстрее развиваются, с ними, наверно, интереснее» (у Глеба сын от первого брака рос в Киеве у бабушки, так что это сравнение шло вовсе не от собственного воспитательного опыта, а так — чисто умозрительно). «Хорошо, что у тебя девочка», — добавил он.

«У меня их две» — услышали мы, но удивились не самому известию, а тому, что Вампилов обмолвился о том, что тщательно скрывалось. Многие знали, что у него дочь от артистки-травести ТЮЗа Галины Винокуровой. Она на год младше Лены и жила в Севастополе с матерью и бабушкой. В своё время Саша договорился о трудоустройстве ждущей ребёнка Винокуровой в каком-то уральском театре, и вместе с Валерием Стуковым они проводили её из Иркутска. Валерий Стуков довольно долго переписывался с Галей, хранил некоторые её письма и несколько фотографий девочки. Но затем всё передал в фонд Вампилова. Девочка, судя по фотографиям, копия Вампилова, по письмам матери очень талантлива, пишет стихи и собирается поступать в Академию Художеств. Вдруг она унаследовала вампиловские способности, а писательство — не единственная из них, он хорошо рисовал, прилично для самоучки музицировал. Судьба девочки (О Господи, ей уже пятьдесят, и, по слухам, она поэтесса и художница) могла бы заинтересовать фонд Вампилова хотя бы потому, что это факт биографии драматурга, и я уверена, совсем не пустой звук для него при жизни. Но уж очень фонд Вампилова заботится о стерильности образа писателя. А он, как и его Сарафанов в «Старшем сыне» — лучшей, судя по современной постановочной истории, из его пьес — монахом не был.

Что поделаешь? Размышляя о грехах нашей молодости впору возопить вместе с Николаем Гумилёвым: «Счёт, Асмодей, нам подготовь!»

О гибели Вампилова написано много небылиц, и мне до конца жизни их не опровергнуть, а потому я и не собираюсь этого делать, тем более, что об этом провела настоящее исследование Ирина Александровна Прищепова, литератор из Порга Байкал, и результаты его опубликованы. Но как забыть визит одного писателя (Царствие ему Небесное!), который пришёл к нам домой и сказал: «Знаешь, Глеб, ходят слухи, что в лодке вы с Сашей дрались». Глеб вытаращил глаза, а посетитель спросил: «А почему тогда одна щека Вампилова содрана?» «Я не знаю», — Глеб растерялся на миг, в это время я широко открыла дверь и выпроводила посетителя вон. А щека действительно была содрана — ведь его везли из Листвянки в

полуторке на голом полу. Много было чего, писать не хочу, только добрые люди, крепкая казачья закваска да моё терпение, говорю это без ложной скромности, помогли Глебу потихоньку, хоть и очень долго и со срывами, падениями, иногда, казалось, до самого дна, приходить в себя. Но срывы были и тяжёлые. Как-то, а прошло уже года два с той августовской ночи, Глеб мне говорит: «Ты думаешь там, вцепившись в лодку, я только к толпе на берегу взывал, я к Нему взывал. Пусто Там». Я не заметила, как он вышел в другую комнату, взял подаренную архиепископом Иркутским Вениамином Библию 1956 года издания, вышел в сени, положил её на порог и стал с остервенением рубить. Услышав стук, я выбежала в сени и не помню, как отобрала её. Позже, по совету архиепископа Новосибирского и всея Сибири РПСЦ владыки Силуяна, я решила предать Священное Писание очистительному огню, да не успела — Библия куда-то исчезла.

На страницах рукописи «Глубинки» я нашла такие строки: «22–29 декабря — чёрные даты — отказано в приёме в Союз. Что им ещё? Надо писать, презрев завистливых графоманов. Не член — ну и хорошо. А Ж. — член, а Ш. — членище... Грохануть бы что-нибудь серенькое, но в словесах гремучих о БАМе. Пойдёт. Примут — нуждишка отбежит, хату, глядишь, дадут... Гроханул бы, да Богородица не велит... Отовсюду гонят, нигде не принят, секретариат не помогает, денег нет. Надо толкаться, а где взять острые локти... У меня никогда не было квартиры с тёплой водой. 47 лет — а что?»

Поздняя приписка: «Ты был счастлив, Глеба, а не замечал! Всего-то 47 лет!» Приписка сделана в конце восьмидесятых годов, когда на нашу семью навалились беды — на него, поскольку я работала и даже ездила по долгу службы на всякие ФПК и семинары в Москву и Ленинград, легла забота о моей маме, которая в полном параличе пролежала четыре года. А незадолго до этого Глеб по собственной доверчивости и глупости (точное слово) попал в историю с соседом, который втянул его в разборки с браконьерами. В.И. Носырев был пакостник хоть куда, уже под него копала милиция. История противная, совсем не такая, как её представил суд, но и правда могла бы оправдать подростков, а не пятидесятилетних мужиков. Втянув Глеба в эту авантюру, Носырев рассчитывал на заступничество за Глеба братьев-писателей, особенно В. Распутина. Он, да отец писателя Владимира Карнаухова, действительно вытащили Глеба из этой истории. Виктор Носырев, вскоре по выходу из тюрьмы, сгинул где-то в красноярской тайге — врагов у него было много.

А вообще Глеб везучий человек. Он и родился-то случайно. Старший брат Глеба, Сергей, дал матери деньги и настаивал на аборте, ведь голодное время, недавно от голода в семье умерла трёхлетняя девочка, у матери после потери дочери случился инсульт, да и вообще брат, а ему было уже за двадцать, считал всё это неприличным. Привезли мать в районный центр, а там ремонт и принимают лишь рожениц. Мать нашла, что это судьба и родила вот такого Геннадия-Глеба. В семилетнем возрасте он упал, гоняясь за махаоном, со сплотки — разошлись брёвна, и он оказался под ними, взглянул вверх и не увидел просвета. Егохватила сестра Неля, поднырнула под плот и бездыханного вытащила на берег. Еле откачали. А сколько раз, работая в Сосновской экспедиции, он падал с вертолётom во время геофизической съёмки. Самый же удивительный случай произошёл в Читинской области: во время одного из маршрутов он свалился со скалы, сколько времени он пробыл без сознания, не помнил. Очнулся и увидел, что голова его лежит меж двух больших, отшлифованных временем острых игл-сучков повалившейся когда-то сосны.

Судьба его зачем-то хранила.

Когда на наш дом были большие нашествия гостей, как, например, во время какого-то совещания московских и сибирских писателей в 1975 году, мы с мамой старались уехать в город — лицезрение этой ватаги ничего приятного не сулило, да и гостям надо дать свободу. Разговоров, воспоминаний об этом гостевании было много, но мне запомнился рассказ Валентина Распутина, которого мы с мамой встретили на пристани в Листвянке, он ждал автобус в Иркутск, а мы переправы в Порт Байкал. Он стал расхваливать нашу кладовую, мощную, прямо-таки крепостную дверь в неё и сусек-сундук, на котором ему пришлось провести вторую половину ночи. Дело в том, что сколько бы гуляки ни запасли водки, её же всё равно не хватит, а купить там спиртное даже и днём было трудно. А до утра дотянуть как-то надо. Валентин тайно ночью взял несколько бутылок, закрылся на засов в этой крепости-кладовке и улёгся на сусек. Пропажу хватились, стали ломиться к нему в кладовую, но ничего не вышло. Когда все успокоились и ушли в дом, Валентин, немного погодя, открыл тихо дверь, выкатил бутылку, она стукнулась о порог веранды, и пока с радостным гиком писатели всем скопом наваливались на неё, Валентин успевал закрыться. Так он им выкатил бутылок пять. Ночь простояли.

Несколько лет спустя уже от Виктора Астафьева я слышала об их утренних страданиях, о том, как он, а также Евгений Носов, Владимир Соколов, Пётр Реутский и другие лежали вповалку в нашей большой комнате и пришла Нэлли Матханова. Виктор Петрович говорит: «Чё стоишь, помогай Глебу уху варить!» — «Он и сам справится». — «Да хоть картошки ему почисть!» — «Ну нет, я недавно маникюр сделала». — «Ну тогда ложись рядом» — это мог сказать, конечно же, только Виктор Петрович Астафьев.

Бывал он у нас несколько раз, и дважды с Марьей Семёновной. Второй его приезд с женой мне особенно запомнился — они заехали к нам в 1977-м или в 1978 году, после Улан-Удэ, где Марью Семёновну приняли в СПР. Сам Виктор Петрович считал, что нужды в этом никакой бы и не было, если бы жену, которая только «Пастуха и пастушку» десять раз перепечатывала, оформили как секретаря писателя Астафьева, хотя, насколько я поняла, Марья Семёновна своих писательских амбиций не скрывала, видимо, на том основании, что была хорошей рассказчицей. Марья Семёновна была больна, её незадолго до этого кусал клещ, да и вся эта неприятная процедура с приёмом в писатели подточила её нервы. Она с неделю пролежала в коридоре, на старинной кровати со всякими шишечками и загогулинами, на сенном матрасе — эта кровать была любимым местом Виктора Петровича. А ещё ему нравилось, что хозяин-строитель нашего дома носил фамилию Потылицын — это девичья фамилия его матери и любимой бабушки. Много было чего приятного — Виктор Петрович читал кое-что из своих «Затесей», которые писал всю жизнь, смешно рассказывал о ежегодных посиделках с фронтовиками в коридорах медкомиссий, где очень серьёзно проверяли друг друга на предмет — не отросли ли у кого руки-ноги и не прозрел ли у кого стеклянный глаз за прошедший год. А какое удовольствие было ходить с ним в лес, где каждую травинку он знал по имени-отчеству!

После того как Астафьев переехал в Красноярск, особенно после того как он прочно, своим домом, утеснился в Овсянке, к нам на Байкал он, кажется, не приезжал. Глеб с ним встречался в Иркутске лишь однажды на декаде советской литературы в 1984 году.

Всяким вспоминается Астафьев. Этот человек получил от Господа Бога столько даров, что хватило бы и на десятерых — блестящий рассказчик, потрясающий певец (я, любительница поспать, просыпалась рано, выходила на крыльцо слушать его пение с лодки, когда поутру у Шаман-камня они рыбачили с Глебом). У него был, насколько я могу судить, баритональный тенор, но, главное, пел он «с душой». К русской песне он относился трепетно. Помню, на веранде, где мы в основном и сумерничали, иногда и под водочку, запели про Стеньку Разина, и кто-то из гостей (а их было много, всем был интересен Астафьев), войдя, что называется, в «раж», решил доставить удовольствие любителю крепкого слова Астафьеву, переиначил слова песни: вместо «не видала ты подарка» пропел «ни ...я ты не видала от донского казака». Надо было видеть Астафьева! Глеб наутро сказал мне: «С таким лицом он, наверное, в атаку ходил». Фольклор непечатный он употреблял, невзирая на лица, и звучал он как-то беззлобно и без выпячивания, так, вставные словечки. Рассказывал, как однажды в Праге в их Союзе писателей разговорились о белочехах. Чехи утверждали, что они сделали много чего хорошего, и сибиряки должны их добром помянуть. «Да поминают, ё... и песню сложили — на нас напали злые чехи, ё... село родное подожгли, ё... твою». Хорошо поговорили.

Глеб, в отличие от многих, которые пользовались приездом Астафьева, приносили свои рукописи (этим особенно злоупотребляли В. Жемчужников с Н. Матхановой), никогда не домогался его писательского покровительства, его отношение к Астафьеву было совершенно бескорыстным и дружеским. Глеб всегда считал, что тёплые и доверительные письма Астафьева к «Глебушке» Пакулову могут говорить о таких же ответных чувствах Астафьева к нему. (Они почти все опубликованы. См.: Скиф В. Байкальское Переделкино. М. : Вече, 2015. С. 95–99, 103).

То, что произошло с В.П. Астафьевым к девяностым годам, понять трудно, хотя многие черты его характера, врождённые и благоприобретённые, предопределили, на мой взгляд, его повороты и блуждания к девяностым годам. Он привык к тому, что люди должны быть просто счастливы, оказывая ему внимание и почести. Маме В. Астафьев сразу не понравился (её чисто женское и чисто бытовое объяснение этого я не хочу воспроизводить), но к моему огорчению — ведь теперь все кухонные заботы лягут на меня, гостей, как всегда по приезде Астафьева, будет много — мама решила уехать с Байкала. По её мнению, В. Астафьев не выдерживал никакого сравнения с московским писателем Н.П. Вороновым, который не однажды гостил у нас с женой и сыном Антоном. «Извести, когда соизволит пребывать в ваших краях местье Воронов. Я его терпеть не могу», — писал Глебу Астафьев. Какая-то неведомая нам кошка пробежала между ними, или просто это были люди разной породы. (О семье Вороновых сказ впереди.) Помню, с каким возмущением (это было приблизительно в 79–80 годах) Виктор Петрович рассказывал о том, как при переезде в Красноярск ему посмели не принести к поезду ключи от квартиры, а попросили пожить в гостинице — через две недели квартиру доделают. Мне хочется думать, что на его умонастроение, помимо российских неустройств, повлиял первый инсульт, ведь известно, как мозговые неполадки могут изменить характер, С такой злобой вещать о вечном пьянстве, рабской душе русского человека, дойти до желания «потопить в крови красно-коричневых», от которых он получил все мыслимые и немыслимые награды и почести — всё это пахнет клинкой. Мне так думать легче, читая письмо Астафьева к Л. Бородину от февраля 2000 года, где он описывает случай к тому времени уже двадцатипятилетней давности. Вот что он пишет: «А на пути в вампиловский (?) дом пробовал

меня утопить погубитель Саши Глеб Пакулов. Это мы на лодчонке вышли на волнорез, и Пакулов запаниковал. Ожидал, что на выходе волна меньше. Фронтоник, опытом богатый (В.П. служил на флоте? — Т.Б.), я показал ему кулак. И начал указывать рукою, чтобы он не пёр дуром на волнорез, а помаленьку, полегоньку сваливал с волны на волну, и к берегу спокойно рулил. Когда подвалили к берегу, он был бледен и мокр от напряженности, я ему внятно сказал: «Тебе что, твою мать, Вампилова мало?»

Как хорошо, что Глеб этого не слышал — спасибо Л. Бородину.

А вот что рассказал мне утром Глеб об этой поездке. Действительно, при выходе на Ангару из Байкала их встретила крутая волна, но не настолько, чтобы повернуть назад, как того хотел Астафьев. Лодка вошла в Ангару, Глеб сбавил скорость и, как обычно в такой ситуации решил идти «сидя на волне» (Глеб это хорошо умеет, не раз на Байкале попадали в шторм). Так и стали продвигаться к дому. Глеб не ожидал, что Байкал так панически может подействовать на фронтовика — Астафьев стал выхватывать у него руль, орать, материться, но руль Глеб не выпускал. Причалили к берегу, и Глеб ему прокричал: «Какого... ты руль хватал — хватит с меня Вампилова». Глеб корил себя всю жизнь, что за рулём в тот злосчастный вечер сидел Вампилов. Вот так Пакулов «пробовал утопить» Астафьева.

Недаром его друг, тоже фронтовик, Евгений Носов писал в «Литературной России» от 21 июля 2001 года: «Мои отношения к Астафьеву поостыли — он стал много врать и в своих публикациях, и в устных выступлениях» и, добавим от себя, в письмах.

Да Бог ему судья.

В такую же, если не более опасную, ситуацию попал с Глебом Владимир Крупин. Они плыли из Порта Байкал в Листвянку и напоролись на «низовку», которая налетает неожиданно и вмиг поднимает волны-горы. Такой стихии Крупин, да и Глеб, не ждали. «Неслись на маленькой лодчонке по глубоким ущельям между волнами», — как вспоминал позднее Крупин. А тогда он молча молился. Долго ветер таскал их вдоль берега, наконец, удалось выскочить на него. Выйдя на берег, спросил Глеба: «Ты крещёный?» — «Собираюсь». Отыскивали глазами церковь в Николе, нашли всё понимающего батюшку, и Крупин приобрёл себе крестника, неумённого Глеба Пакулова.

А теперь, как говаривал протопоп Аввакум, на первое возвратимся.

Рыбачить, принимать гостей, ходить в лес за грибами, совершать лодочные походы вдоль берегов «протяжения», так местные называли Кругобайкалку, — всё это было. Но почему-то, уже распрощавшись с дачей, в городе Глеб чаще всего вспоминал время, когда он работал над «Варварами», «Глубинкой», «Останцами» и начал работу над «Гарью», хотя на Байкале была написана лишь первая страница романа о протопопе Аввакуме. Эта несчастная страница мозолила мне глаза целую вечность и напоминала талантливого Евгения Суворова, который несколько лет таскал с собой и всем показывал тетрадку, где крупным почерком, на добрых пол-листа, была написана лишь одна фраза: «Имярек (не помню имени. — Т.Б.) каждое утро просыпался с чувством, что что-то должно произойти, но ничего не происходило». В какой рассказ он её, наконец, приспособил — посмотрю. Мне иногда кажется, что известная «леность» этих талантливых писателей, Евгения Суворова и Глеба Пакулова, определяется тем, что честолюбивые устремления того и другого можно измерить лишь в микродозах. Первая страница у Глеба в неизменном виде вошла в роман, всё остальное дописывалось в городе, когда мы с дачей уже расстались.

А на даче, когда он, наконец, решал, что просится «перо к бумаге», ему хотелось быть одному, тогда мама уезжала в город, забирала с собой малыша Кешку и кота Ерофея, а большая собака-лайка Дик оставалась жить с Глебом в соломе под верандой. Я, смотря по расписанию моих лекций, иногда приезжала к Глебу, привозила книги, которые были нужны для работы, и продукты, никто меня не встречал — связи не было, добиралась по кромке льда из «Рогатки» в Порт, часто под раскаты треснувшего во всю байкальскую ширину льда. Не однажды меня хватала «низовка» и утаскивала вместе с тележкой в торосы, «верховик» меня миловал — много людей он смыл в исток Ангары. Не могу поверить, что это было со мной. Зимой 1974/1975 годов мне повезло — кафедра позволила выполнить годовую нагрузку за один семестр, а второй семестр посвятить диссертации. (Такая свобода сегодняшней кафедре и во сне не приснится!) Эту зиму мы провели вместе — я закончила диссертацию, а он «Варваров». А в одиночестве в байкальском доме Глеб не бывал никогда. Помимо собаки скрашивала одиночество мышка — Глеб, бывало, положит хлебных крошек на валенки, в которых всегда ходил в нашем большом — не натопишь — доме, мышка придёт, поскребёт валенок, залезет на носок, крошки погрызёт и не уходит, сидит, пока хозяин не встанет. Мышку звали Женей. Грустно было думать, что будет с ней летом, когда нагрят толстый и разбойный Ерофей. Но с этой мышкой Глеб дружил три года. Прилетала несколько лет подряд красавица-ронжа, синички были всегда. А сколько всякой радости связано с лошадьми! Кони принадлежали лесничеству, но Носырев о них не заботился, они кормились как придётся, рожали в лесу, очень редко приводили жеребёнка — тайга забирала. К нашему дому примыкал огород в девятнадцать соток, соседи выкашивали его, пока держали корову, потом Глеб сам косил двор, и возле окна, где стоял письменный стол, ставил стожок, разгораживал часть забора — приходили две лошади и не уходили до зари: хрумкали сено, вздыхали, тёрлись шеями, тоненько ржали. В лунные ночи они казались фиолетовыми.

Одну встречу с лошадьми я вовек не забуду. Мы со щенком, его звали Отрок, пошли через болото в гору за черникой. Отрок бежал за мной и вдруг так панически, громко и жалобно закричал — его укусила, видимо, болотная крыса. Я бросилась к нему, взяла его на руки, прижала к себе и стала успокаивать. Вдруг я услышала за спиной страшный топот — на меня бешено, разметав гриву и раздув ноздри, летел с горы конь. Мы с Отроком от страха окаменели, а жеребец, видимо, понял, что малыша никто не обижает, резко затормозил, глубоко пробуравив копытами болотную землю, и как вкопанный остановился перед нами. Боже, как мы смотрели друг на друга! Конь резко отвернул голову и ушёл. Я до сих пор не знаю, кто тут из нас «братья меньшие».

С воронами, а их было множество, дружил писатель Николай Павлович Воронов. «Они же знают, что мы родня. Птица умная». Вороновы были чудесная семья. Жена его, Татьяна Петровна, была настоящая русская красавица, с пучком светлорусых слегка выющихся волос. Я не знаю женщины, которой так шли русские павловопосадские шали — их у неё было множество. Николай Павлович очень бережно с ней обращался — жена страдала лейкоплакией. Вороновы появились у нас вскоре после публикации его самого знаменитого романа «Юность в Железнодольске», где Николай Павлович описал свою рабочую юность на одном из заводов Магнитогорска. Описал не так, как надо, и его имя тогда склоняли рядом с именем Твардовского, который в журнале «Современник» напечатал несколько глав вороновского романа. Дважды с семьёй приезжал их сын, красавец

Антон, похожий на молодого Петра Великого. Оставлять его без присмотра они боялись — московские мальчишки уже баловались, правда, не таким убойным, как нынешнее, зельем. Николай Павлович не был заядлым рыбаком, хоть рыбачить пытался. Он любил походы, они семьей облазили все окрестности — ходили на Кругобайкальскую дорогу, посещали ближние тоннели, но особенно любили лес. Уральский деревенский человек Николай Павлович устраивал нам познавательные экскурсии, открывал много чего нового.

Вот и ворону он каким-то непонятным образом и очень быстро приманил. На его ласковый призыв «Воронуша, Воронуша», птица мгновенно откуда-то прилетала, садилась на ветку у веранды и ждала подношения. Однажды даже села ему на плечо, это было во время их свидания в следующем году. А ещё Воронуша замечательно передразнивал смех Татьяны Петровны и таскал специально положенные Николаем Павловичем блестящие штучки, обёртки от конфет, пуговки.

Я совсем не удивляюсь уму животных и птиц. Вороновым я рассказала случай, произошедший со мной осенью в деревне Мурино, заселённой преимущественно немцами, туда я ежегодно в течение двадцати лет ездила со студентами на сельскохозяйственной. Утром мы поехали за молоком и увидели под ЛЭП большого коршуна. Едем назад — сидит, поняли, что коршун ранен, разбился о провода. Коршун был слеп. Он безропотно принял нашу помощь. В кладовой возле клуба, где мы жили, сделали насест, я кормила его фаршем и сливками, поила водой. Меня он знал. Бывало, идём гурьбой с поля, болтаем, коршун безошибочно узнавал меня по голосу, бежал, раскинув свои двухметровые крылья и прыгал мне на телогрейку. Я приготовила большую коробку, решила привезти коршуна на Байкал, но один кавалер, отвергнутый нашей студенткой, из мести ночью убил птицу. С тех пор я не очень верю в то, что человек создан по образу и подобию Божию. Вороновы любили Кешку, «замечательно умную собачку», как определил его В. Астафьев в воспоминаниях о Вампилове и Байкале, и не только как «стукача», о чём много писано. Кешка был просто гений в собачьем царстве, многое, что он умел и знал, выглядело бы при описании неправдоподобно — в городе он ездил к своей подружке на трамвае, кондукторы его знали, по просьбе Татьяны Петровны танцевал, чихал, доставал из кармана сахар, ложился и «крепко глазки закрывал» и др. И умер достойно — погиб на Байкале в весенних любовных баталиях с местными волкодавами.

В Москве Н. Воронов был близок со многими писателями, хорошо и всегда по-доброму рассказывал о А. Твардовском, о В. Шукшине, даже, после его кончины занимался сбором денег для какой-то бедной актрисы, имеющей дочь от Шукшина.

У Н.П. Воронова есть сюжеты и образы, навеянные Байкалом, но рассказ о вороне, где он стал воронёнком Карлушей, писатель связал с домом Валерия Стукова, где жил поначалу, пока мама не привела семью в наш, более просторный и благоустроенный дом. Н.П. Воронов был обижен на нас и имел на то полное право: вскоре после смерти моей мамы умерла Татьяна Петровна, о чём мы с пригорблением и оповестили друг друга. Через некоторое время кто-то из приезжих в Иркутск москвичей сказал, что поклон Воронову он передать не сможет — Николай Павлович уже умер. Мы не удивились — это был на редкость нежный союз, существование без жены, видимо, потеряло для него всякий смысл и ускорило его конец — так мы решили, тем более, что у него было неважно с сердцем. Заглянув недавно в «Википедию», я узнала, что он умер позже Глеба — есть же примета,

что слухи о смерти прибавляют жизни. Но мне стало так не по себе, что я отложила всю эту писанину надолго...

Николай Павлович много сделал для Глеба — хоть и изрядно исковерканное, но первое издание «Глубинки» в 1981 году вышло не без его участия. Работая в «Ленинке» над «Гарью», Глеб останавливался у него в Москве. Н.П. Воронов был замечен как литератор, он автор не менее двух десятков романов, подписал вместе с В. Распутиным «Письмо 74-х», был советским патриотом, а потому в «либеральные» времена абсолютно не медийной фигурой. Почему-то и в «Нашем современнике» мы его имени не встречали. Восьмидесятилетний юбилей писателя отметила не Москва, а родной Магнитогорск.

Прости ты нас всех, дорогой Николай Павлович!

Когда началась война Глебу было одиннадцать лет. На самом её кончике, после завершения учёбы в Благовещенском речном училище, на пароходе «Профинтерн» он ходил по Амуру и Сунгари, возил грузы и пленных японцев. Часто вспоминал крупного голубоглазого японца с носками, где большому пальцу вывязали, как говорил Глеб, отдельный отсек. Впрочем, все японцы носили такие носки. Однажды «Профинтерн» налетел на японскую мину, которые во множестве плавали по Амуру. Они, японцы, были рядом всё детство, часто устраивали стрельбу с другого берега Амура, от японской мины, что застряла под мостом, погибли дети, одноклассники Глеба. Тревога не покидала жителей Приамурья, и только после Сталинградской битвы вздохнули с облегчением — японцы уже не нападут. Три родных брата Глеба воевали, один из них, Костя, погиб в 1942 году под Вязьмой.

Отца Глеба, Осипа Ивановича, в армию не взяли — ему уже шел шестой десяток. Все заботы о семье легли на него, охотника, огородника. В память об отце, который умер в 1976 году, Пакулов стал писать «Глубинку», не надеясь на её счастливую издательскую историю. В это время выходило много прекрасных романов о войне самих фронтовиков, тема тыла ещё не была так актуальна. И действительно, «Глубинка» в начале восьмидесятых не имела того резонанса, что имела сейчас, — всему своё время. Помню, после выхода в 1981 году в Москве «Глубинки», где в основу сюжета была положена семейная история Пакуловых, Ю. Самсонов, Д. Сергеев упрекнули Глеба, что это он себя так разукрасил, прямо пай-мальчик. Костя, конечно, немного Глеб, но ведь повесть или роман — это сочинительство. «Если бы я писал себя, — говорил Глеб, — то смешал бы Котьку с Ванькой». Пусть в повести эти два подростка живут отдельно, хотя в жизни Глеба благоразумный Котька нерасторжим с шалопаем Ванькой.

Падь Молчановская, где стоял наш дом, это Россия в миниатюре, разделившая по полной судьбу страны — в революцию она приняла переселенцев, бежавших и от белых и от красных из Центральной России, в Великую Отечественную — беженцев с Украины. Вместе с коренными байкальцами пережили тридцать седьмой год, когда из распада навсегда уводили мужиков, преимущественно японских шпионов, один из которых, муж нашей соседки Татьяны Васильевны, рабочий рыболовецкого колхоза, не умел ни читать, ни писать. Старожилы Порты Белянушкины рассказывали о латыше, председателе поссовета, который каждую ночь, перед тем как выполнять очередную разнарядку по шпионам и диверсантам, ходил по берегу со своей собакой, и, наконец, душа его не вынесла — он застрелил своего друга-дога и убил себя.

А лихолетье девяностых не оставило в «Молчановке» никого из коренных жителей — Белянушкины, отец и сын, сгорели от какого-то пойла. Теперь это дачный посёлок.

В основу повести «Останцы» Пакулов взял бывшую у всех на слуху историю двух молчановских парней, которые воевали в одних частях, и рассказал о том, как страшно и по-разному война для них закончилась. Судьбу одного из ребят связывали с семейством Молесовых. Их дом на берегу Ангары сейчас стоит законченным. Сюжет давал возможность показать разные характеры, их поведение, мотивы их поступков в сложных непредсказуемых поворотах судьбы. Есть там персонажи вполне узнаваемые, узнаваемы природа и быт. Повесть «Останцы», интересная и сложная по психологическому рисунку, издавалась в Иркутске и Москве.

В Порту Байкал неизменным спутником-другом по рыбной ловле, и не только, стал Николай Иванович Есипёнок, добрейший человек, первый издатель детских книжек Глеба Пакулова. Николай Иванович приобрёл домик на берегу Молчановской пади, возле дома Молесовых. С ним Глеб рыбачил не только на Ангаре, с Колей они выходили и на какую-то красивую ночную подводную с подсветкой рыбалку на Байкале. Привозили ли они рыбу, не помню, а разговоров о сказочной красоте подводного царства было не переслушать. В его гостеприимном доме, так удобно стоящем у самого входа в наш распадок, всегда (как и сейчас) было много народа — коллеги из издательства, авторы, друг и однокашник, знаменитый фольклорист, исследователь сказок, быличек, песен Восточной Сибири Валерий Петрович Зиновьев с семьёй. Николай Иванович частенько составлял компанию Валентину Распутину в походах за ягодой, а далеко не каждый, кто хоть раз ходил с Распутиным в лес, отваживался быть ему сопутником вновь. Этот «сохатый», как называл его Глеб, шагал легко, мощно раздвигая ветви своими длинными руками — не всякий за ним угонится. Глеб, наевшийся забайкальской тайги в пору работы геофизиком в Сосновке, к тому же не любивший собирать ягоду, был лишь извозчиком.

Глеб и Коля являли собой контраст, наверное, потому им хорошо дружилось. Порывистый, непредсказуемый Глеб и спокойный, основательный Коля дополняли друг друга. Глеб любил подшучивать над медлительностью Коли. «Ну, слава Богу, показался кончик Колиной удочки — через полчаса и сам явится» — это когда они на рыбалку собирались. Но зато при ситуациях форс-мажора Коля действовал споро, основательно и без лишних движений.

В один из июньских дней, кажется 79 года, Глебу с Николаем Ивановичем пришлось наблюдать печальную картину. Лето выдалось на редкость ненастное, дней десять не было солнца, лил дождь, и слётки стрижей, которые кормятся насекомыми на лету, падали от голода — берег был усеян их мёртвыми тушками. Глеб пришёл домой мрачный, лёг спать. Эта картина его долго мучила. И поскольку он уже серьёзно думал об Аввакуме, в этой картине он нашёл ассоциации с судьбой и жизнью протопопы. Мне сказал: «Ведь стриж, вроде обычная птица, а как это прекрасно — сама её жизнь возможна лишь в полёте. Так и Аввакум. Его жизнь возможна лишь в духовном полёте. — Потом добавил: — Да и сама смерть — духовный взлёт». Мне кажется странным, что гибель птиц нигде в романе не упоминается.

В 1970 году по решению ЮНЕСКО в Советском Союзе и в других странах мира отмечалось 350-летие со дня рождения великого русского писателя протопопы Аввакума. Вышли его «Жития» под редакцией Гудзия, Робинсона и др. Глеб вначале заинтересовался им как читатель, читал вслух и меня заставлял слушать самые захватывающие места великого «Жития». То же самое он делал при сборе грибов — ни за что не сорвёт большой и красивый гриб, пока и я им не полюбуюсь

в его родном природном окружении. До восьмидесятых годов он не помышлял о романе. Это решение созрело, я думаю, с выходом «Жития» в Иркутске в 1979 году в серии «Литературные памятники Сибири». (При моих частых поездках в Москву по делам диссертации лучшего подарка москвичам придумать было нельзя.) Я привозила ему книги из Москвы, делала в «Ленинке» ксерокопии статей и чувствовала, что с обилием литературы, которую я подбрасывала, к нему подступала робость — как выработать свой стиль, как преодолеть соблазн подражания Аввакуму, как сохранить некую писательскую нейтральность, объективность в обрисовке персонажей, не во всём симпатичных автору.

«Маша, у нас в Иркутске случилось большое литературное событие — вышла из печати книга Глеба Пакулова «Гарь» о протопопе Аввакуме. Обещаю тебе её прислать, заранее взяв у автора автограф». Много воды утекло от начала работ над книгой до этого радостного сообщения замечательному русскому поэту Марии Аввакумовой Владимира Петровича Скифа, всегда дружески расположенного к Глебу. Мария Николаевна ведёт свою родословную от мятежного протопопы, и, естественно, это известие её заинтересовало. «А «Гарь» я тоже ждала. Только ждала от Семёновой. Но твоя (от тебя), да ещё с автографом автора! — бывает ли что лучше? Я пока не читаю, а после Пасхи возьмусь — тогда держись, Глеб Пакулов! Такого пристрастного читателя, как я, вряд ли случится: тут ведь совсем особый случай...» Прежде чем писать серьёзную и истинно писательскую рецензию на «Гарь», Мария Николаевна по прочтении романа написала Владимиру Скифу: «Володя! Передай Глебу Иосифовичу привет и доброжелательство. Всё-таки он молодец! Книге его предстоит долгая жизнь, хоть и не очень шумная, слава небесам».

Писалась «Гарь», в сущности, пять лет, с конца 1999 года по 2005 год, уже в новой, маленькой, в сравнении с предыдущей, квартирке. Её облюбовал сам Глеб, обустроил уютное рабочее место. Рядом жил Анатолий Байбородин, что было тоже удачей, он, хоть и воцерковлённый в так называемую «никоновскую» церковь, знал староверов, сам был родом из тех забайкальских краёв, где они жили, пытался, тогда, в пору увлечения темой, по-моему безуспешно, посеять сомнение у Глеба в полной правоте и непогрешимости староверов. Они много и бесполезно общались по этому поводу. Прежде чем, по слову Валентина Распутина, «наша неповоротливая критика как в святцы заглядывала в одни и те же имена», А. Байбородин написал серьёзные, я бы сказала, художественно-исследовательские очерки о романе «Гарь» и о Глебе Пакулове, где с чуткостью писателя разгадал его «показачьи горячий, гулевой, неуёмный в талантах дух», и, что важно, Байбородин, сам знаток и ценитель русского слова, нашёл в Пакулове «своеобычного и живописного художника, столь легко и безнатурно владеющего ярким образом и корневым народным говором» (Байбородин А. Вещее слово о родове, судьбе и творчестве Глеба Пакулова: очерк // Сибирские огни. 2005. №11. С. 141–157).

О протопопе Аввакуме много чего написано, чтение затягивало, материал начинал давить. Пользуясь своим опытом исследователя, я убедила Глеба сделать что-то вроде тематического каталога. Глеб сделал коробку и картонками, как в библиотеках, наметил темы, отделы, и по мере чтения заполнял их выписками либо просто указывал источники, где можно отыскать нужные сведения. Главное — наметил канву повествования. Последние два года были самыми трудными. Несколькими дисциплинировало то, что роман по главам стали печатать в «Сибири». И всё-таки я вспоминаю это время как самое счастливое — раньше перерывы между написанием «Варваров», «Глубинки», «Останцов» были раздражающе большими.

Работал он обычно так: писал остро отточенным карандашом, мелкими, почти как у В. Распутина, буквами, но к концу работы над «Гарью» буквы стали крупнее, подводило зрение, пришлось перейти на шариковую ручку. Он с иронией поглядывал на платиновый паркер, подарок Распутина — такими «стило» позволительно писать, если замахнулся на что-нибудь не ниже, чем «Фауст». Паркер покоится в Иркутском архиве. Написанное на бумаге Глеб правил, затем перепечатывал на изрядно покалеченном Ундервуде (машинка слетела с мотоцикла по дороге в Порт Байкал), опять правил и ждал меня с работы. Я с помощью А. Байбородина освоила компьютер как печатную машинку, Глеб с ним так и не примирился — он не мог понять тех, кто, как он говорил, чешет прямо на клавишах. Несмотря на то, что я перепечатывала готовый текст, он всё допытывался: «Это как? Слова-то разные, они вызывают разные чувства, а ты должна печатать всё это с одинаковым нажимом?» — «Приспособилась, — говорю ему, — слова-то не мои».

Глеб Пакулов умер в докомпьютерном веке.

Бывало и так — он просил перед перепечаткой внимательно прочесть текст. Это означало, что ему там что-то не нравилось. По прочтении я, как правило, угадывала, где не удалось ему поймать, как в силки, нужную мысль или нужное слово, — перепечатка откладывалась.

А больше всего его заботил верный тон, верный, как ему это представлялось, стиль: писать современным языком — пропадает аромат эпохи, злоупотреблять архаизмами — читатель не вынесет, устанет. Об этом хорошо написала Мария Аввакумова.

«Берясь писать о великом страдальце за древнее благочестие, Пакулов рисковал не выдержать невольного сравнения с самим автором «Жития...». Однако вышло не соревнование, а созвучие, сотоварищество. Собственно, задумано было рискованное предприятие — пройти сибирскими дорогами страстей протопоповых. Карта — в самом «Житии...». Надо было сопережить всё заново. Что привело в музеи, архивы... и затянуло на много-много лет. Зато теперь мы видим объёмные стереоскопические картины Сибири второй половины семнадцатого века, прекрасно выписанные портреты Пашкова с семейством и окружением, и чуть ли воочию зрим ребятишек аввакумовых, светлой тенью скользящую по страницам романа Анастасию Марковну. А уж сибирские пейзажи и состояния природы выписаны с такой любовью и проникновенностью, что целыми страницами хочется перечитывать, чтобы насладиться языком писателя. В чём тут дело? Оказывается «великий и могучий русский язык» по-прежнему велик и могуч под пером мастера. И способен творить чудеса. Вот как сотворил со мной: благодаря роману «Гарь» я пережила чудесное чувство — радость узнавания Родины своей через древлеотеческое слово.

Говоря об этом романе, никак нельзя умолчать недавнего, ещё тёплого романа «Раскол» Владимира Личутина, над которым автор этого колоссального произведения тоже трудился много лет — шестнадцать. Территориально они не помешали друг другу. Личутин почти не коснулся первой — сибирской — ссылки Аввакума, тогда как Пакулов построил повествование в основном на этом периоде. Первое, что бросается в глаза при сравнении: оба писателя ярко явили как бы два разных словаря русского языка, но тот и другой волшебны прекрасны» (Аввакумова М. Мы из того костра // Тобольск и вся Сибирь. Иркутск. Москва–Верона, 2007).

Первое издание «Гари» вышло в издательстве «Иркутский писатель» в 2005 году. Второе — в Новосибирске в 2006 году попечением архиепископа Новосибирского

и вся Сибирь РПСЦ владыки Силуяна. Эти два издания не содержали главы о патриархе Никоне, так как Пакулов собирался посвятить ему отдельную книгу. Вскоре понял, времени не хватит, решил о нём дописать главу, которая вошла во все последующие московские издания романа.

Первую рецензию о «Гари» — «Великолепный роман Глеба Пакулова» — написал за две недели до кончины незабвенный Ростислав Филиппов. За две недели до собственной кончины Глеб Пакулов написал «Слово о Славе» для книги воспоминаний о нём. Писать ему уже было трудно. Всё «Слово» — это запись нашего общего «А ты помнишь?». Вспоминали, я записывала, прочитывала ему, он кое-что подправлял, уточнял... Затем попросил бумагу, карандаш и написал своё, интимное, только им двоим понятное:

«Во всякую минуту ты рядом. Мы стоим на росстани по разную сторону незримого отчерка, но руки наши сцеплены, мы вместе и долго — несть конца — безмолвно говорим о разном. Мнится — решишь я написать о тебе на бездушной бумаге в прошедшем времени — руки необходимо разомкнуть, и ты для меня, живой, тут же отдались бесплотной тенью в ту вечно чающую Обитель Воли Господней на небо, которую мы, невольники суетного мира, молитвенно выпрашиваем для себя: «Да будет Воля Твоя, яко на небеси и на земли».

По настойчивому уговору тоже близкого мне человека я пишу эти необязательные строки, а ты, становясь зыбким воспоминаньем, отдаляешься и отдаляешься, оставив в моей распятой ладони преходящую теплинку бытия человечья. Прости. И до скорого».

Теперь уж не отдалятся — рядышком лежат.

Дома хранится «Гарь» московского издания 2010 года с бумажной наклейкой, где рукой Глеба написано: «Гарь». Рабочий экземпляр. Не затерять! Глеб Пакулов». Понятно — это уже для меня. Дело в том, что в московское издание вкралось много всяких орфографических и смысловых ошибок, да по последнем прочтении романа Глеб и сам решил что-то подправить, где-то сократить монологи, где-то, напротив, кое-что прибавить. Таких правок немного. Валентин Распутин по прочтении «Гари» определил её в разговоре с Глебом «вещью значительной», но посоветовал убрать три строчки, которыми заканчивается роман. Глеб согласился. Строчки про «аввакумовы пенёшки», которые так нравились старообрядцам, были перенесены на форзац. Учитывая все правки, я в 2015 году издала в Иркутске «Гарь» малым тиражом (100 экз.) в надежде, что к четырёхсотлетию со дня рождения протопопы Аввакума «Гарь» выйдет в этом исправленном и дополненном варианте.

Недомогание Глеба в последние два года мы приписывали летам и наследственности — отец и мать Глеба умерли от инсульта. Я, как могла, поддерживала его сосуды и сердце, просто пила, правда в меньших дозах, тем, что по совету врачей пила сама. Подточил его здоровье анафилактический шок от укола в зубном кабинете — пролежал в реанимации четыре дня. В одно июльское утро 2010 года (у нас гостила в это время приехавшая из Ярославля Лидия Янковская, она намеревалась представить иркутской публике свою ораторию «Аввакум») Глеб вышел на кухню необычно жёлтым, с жёлтыми белками глаз. Карета «скорой помощи» увезла его в инфекционную больницу, где прямо сказали, что нам не повезло — это не гепатит. Пришёл на помощь, как всегда, В.П. Скиф, знакомый ему врач областной больницы сразу определил рак второй степени в очень неудобном, не подлежащем операции месте — в печёночных протоках. Положили в областную онкологиче-

скую больницу. О седьмом печёночном отделении этой больницы покойный поэт Геннадий Гайда рассказывал всякие ужасы, но действительность оказалась ещё страшнее. Такого откровенного пренебрежения к обречённым людям, отношения к ним как к расходному материалу, мне не приходилось видеть. С ужасом вспоминаю лечащего врача Хаматова (до чего же наши фамилии не в бровь, но в глаз!), под стать был и обслуживающий персонал — «ну, дед, подставляй свою задницу» — так обращалась к Пакулову медсестра, намереваясь сделать укол. Лечение заключалось в пяти многочасовых операциях под наркозом, которые делались в диагностическом центре — через полтора месяца вставляли какие-то трубки (стенды), заменяющие истлевшие проходы между печенью и желчным пузырём. Затем в кузове грузовой машины, даже без сопровождения медсестры (она сидела в кабине с шофёром), отвозили в онкологический центр, часто, как рассказывал мне Глеб, заезжая по дороге по каким-то хозяйственным, бумажным делам.

Хирург диагностического центра уверял, что даст пожить подольше тысяче-долларовый шведский золотой стент, и что некоторые живут с ним годами. Вшили этот стент. Глеб воспрянул духом и поделился со мной замыслом рассказа или повести — как сложится. Подробности я уже забыла, помнится только канва: два человека разного жизненного опыта, разного статуса потерпели жизненное фиаско, один в бизнесе, другой из-за семейных неурядиц. Да ещё эта демократия, которую не приняли оба. Жили они в зимовьях, ничего не знали друг о друге, встретились случайно, подружились, в свободное время облегчали душу рассказами обо всех превратностях своей судьбы, о причинах, которые заставили их удалиться от людей. Рассказали друг другу и о том, что рядом с ними, видимо, живёт и третий человек, горбун. Разглядеть его не удаётся — он сразу же исчезает, как только замечает, что его обнаружили. Есть такое поверье — с полночи до утренней зари мы все остаёмся без ангела-хранителя, он нас покидает, отправляется к Господу Богу и рассказывает Ему, как прошёл день и что хорошего или дурного сделали его подзащитные-хранимые. И всё дело в том, что горбуны (это и были ангелы-хранители, они, как я понимаю, прятали под одеждой свои крылья) совсем по-другому представляли Господу дела этих отшельников — всё мерилось другой мерой. Вот как-то так.

Глеб быстро понял, что этот закордонный стент такая же химера, как и российский, и жить ему осталось недолго — с ним Глеб прожил четыре месяца. Смерть принял спокойно — меня утешал: «Перестать, Тома, ничего необычного не происходит». Исповедался и причастился (спасибо Валентине Сидоренко) у отца Максимилиана, ныне епископа. И очень вовремя: приехавший из Новосибирска владыка Силуян, архиепископ РПСЦ, который нас когда-то венчал, застал Глеба уже невменяемым. Он так хотел умереть дома, но умер в нашем убогом стенах, хоть и обильном добротой, хосписе. Да что поделаешь? Ежедневно ездить в онкологический центр, брать ампулу обезболивающего, делать дома укол и тут же отвозить пустую ампулу назад, чтоб выдали следующую, — на это уже не было сил.

Вспоминаю всё как вчерашнее, а тому уже семь лет.

О чём бы ещё написать? Ловлю себя на том, что выуживаю из своей памяти сюжеты, людей, о которых можно было бы ещё вспомнить, оттягиваю время — лишь бы не писать в прошедшем времени о Валентине Распутине. Для меня он ещё живой, и, как прежде, их, Валентинов, два — молодой и московский. Молодой не отделим от Глеба, а московский чуть подальше, не виделись, бывало, по многу месяцев. И всё же он был всегда рядом — его физическое присутствие было обязательным.

Знакомство наше состоялось в 1969 году, но наслышана о Распутине была. Я работала в музее с его одноклассником Альбертом Костеневым, который ревниво следил за успехами сокурсника. «Распутин пошёл в гору», — объявил он нам однажды, и все бросились читать вышедшую недавно повесть «Деньги для Марии». А тут вдруг приходит Глеб навеселе и приводит Распутина. Потом в квартиру на улицу Лыткина Валентин приходил довольно часто, однажды и мы с Глебом были у Распутиных в маленькой квартирке где-то возле цирка, тогда я познакомилась со Светланой — вот-вот на свет должна была появиться Маруся. Раньше я видела её только на теннисном корте, где она часто, и не без успеха, играла против Светланы Панченко, моей подруги.

Валентин не скрывал, что в его жилах течёт цыганская и тунгусская кровь, и в это легко можно поверить. Он любил бродить по городу, всегда, в отличие от Глеба, был лёгок на подъём — хоть за ягодами на 84-й километр Кругобайкалки, хоть в Японию — впрочем, пространственное беспокойство и у русских в крови — аж до Аляски добрались. Когда он, бывало, приходил поздно, один или с Глебом, мы старались его не отпускать, устраивали его на нашем довоенном широком немецком диване (он ещё служит мне). Я дожидалась, когда он заснёт, затем бежала на первый этаж нашего дома к инвалиду ВОВ Василию Ивановичу, единственному на весь околоток имеющему телефон, быстро звонила Свете — «не волнуйся, он у нас» — и стремглав мчалась к себе. Однажды Валентин меня застучал, я попыталась оправдаться, каково это ждать мужа в полночь, — не уверена, что понял.

Распутин, мне кажется, во всю свою жизнь был сумеречным человеком, но при этом во всю свою жизнь имел вкус к шутке, розыгрышам. Любимыми объектами всех этих штук были Константин Житов, Глеб Пакулов, Николай Житков. Однажды они с Глебом пришли домой под утро — с первым трамваем. Бродили по городу, а потом устроились с бутылочкой на ограждении иногда действующего фонтана возле цирка. Дома Глеба тошнило. Валентин объяснил: «Опыта нет. Я-то, прежде чем запить водочку, побулькаю воду рукой, отгоню всякую муть, а он сразу — хлоп полными горстями. Проглотил лягушку». Глеб говорит: «Нет, лягушки не слышу, она тоже любит выпить — уже бы квакала от радости». Вот так «присобиравали», как говорила одна из распутинских старух, пока не утомонились.

Сразу же, как Валентин стал знаменитым и, главное, выездным (Машкин тоже был в те годы знаменитым, но не выездным), ему было в радость привозить из заграницы и дарить знакомым всякие диковины. Семья Стуковых удивлялась — откуда он узнал, что сын Валерия Стукова, тогда студент музыкального училища, Вениамин, не может купить какой-то мудрёный мундштук для саксофона, — Распутин привёз его из Японии. У меня тоже много чего от Валентина: шелковый шейный платок с изображением европейских замков — для просвещения, косметичка с идиллическим пейзажем, веер с рыбками из Японии, какой-то шершавый — не выскользнет из кармана — синий кошелек. Нам, чухонцам, в диво, и ему в радость. А Глебу откуда-то привёз спиннинг золотистого цвета с катушкой, и набор всяких мушек, которые, попав в воду, начинали шевелить лапками, трепетать крылышками — впрочем, ангарский хариус этого не оценил. А в другой раз привёз японские часы. Глебу пояснил, что часы непростые, со встроенным чипом, позволяющим пройти на какой-то завод. Поедешь, дескать, в Японию, завод посети обязательно — не пожалеешь. И подгадай в обеденный перерыв.

— А что там? — Глеб понял, что Распутин решил развлечься и включился в игру.

— В это время приходят гейши. А как мы с тобой гураны — сойдём за своих. У тебя будет шанс убить медведя. Там, знаешь, какая забота о персонале — не наше горе.

— Так у гейш, вроде, другая специализация.

— Ну-у, это когда было. Теперь американцы прививают им демократию. Подрабатывают гейши.

— А успеют ли они за обеденный перерыв свой двенадцатиметровый пояс размотать?

— Наловчились.

— А ты сам-то много медведей убил?

— Нет, — вздохнул Валя, — с меня экскурсоводы в штатском глаз не спускали.

Глеб всегда понимал, когда Распутин станет его разыгрывать, «подсутыривать», как говаривала моя крёстная. Тому являлись и приметы — в глазах, бывало, заискрятся смешинки, Валентин начинал шевелить губами, словно обкатывал слова, прежде чем выпустить их на волю. Лишь однажды Глеб остался в недоумении. Валентин повёз его на дачу, что-то надо было отремонтировать. По приезде домой Глеб рассказывал: «Только выехали на Байкальский тракт, и Валентин как попёр, наверное, под сто. Я ему кричу, куда прёшь, без году неделя за рулём! А он мне: так в том-то и дело — не могу остановиться. Хорошо, что машин не много. Едем дальше, вот и поворот. Я ему — ты хоть поворачивать-то умеешь? А он мне — ты пристегнись на всякий случай. Не знаю, верно, Ваньку валял, но лицо больно уж серьёзное». — «Так за рулём же человек, вот и серьёзное», — вставила я своё, но тоже без уверенности.

Вот, вспомнила, был ещё один случай. Исправив в иркутской квартире Распутиных какие-то ванно-кухонные неполадки, по приходе домой Глеб обнаружил, что оставил у них недавно приобретённый удобный компактный набор инструментов. Предваряя мою реакцию, спешно и решительно отрезал: «Забирать не стану!» Я бегом (было время дефицитов) поехала в магазин, указанный Глебом, и, к счастью, купила такой же набор. Вскоре пришел Распутин, застал Глеба за устройством полки в «тёщинку», бросил взгляд на футляр с инструментами и радостно воскликнул: «О! И у меня такой же!»

В 1979 году я защитила диссертацию, но ехать за дипломом в Москву было накладно. Валентин вызвался его привезти, и таки привёз. «Столько мытарств ради такого клочка бумаги!» — удивлялся он. Оно и вправду, без купленной самим диссертантом твёрдой корочки диплом выглядел неказисто, но жить стало легче.

Замечаю какие-то странности с памятью. Между молодыми, на мой сегодняшний взгляд, годами, т. е. семидесятыми—восьмидесятыми и девяностыми—двухтысячными намечается какой-то провал. Встречи были редкими — вот Распутин у нас в большой комнате у гроба мамы, несколько раз в Новый год приходил на день рождения Глеба, где все знали, что с ним будет по-особому празднично, не стоит только заводить разговоры о политике — он, познав политическую закулису не понаслышке, не хотел выслушивать суждения, почерпнутые из медиазаморочек. В основном же встречи бывали в Союзе писателей, на праздниках «Сияния России» и, к сожалению, на похоронах. Но всё равно было ощущение, что он где-то рядом.

Отношение Валентина Распутина к Глебу, некоторая снисходительность к его жизненным вывертам, определялись, помимо всего прочего, состраданием: как Глеб о гибели Маруси, о том страшном августе 1972 года, он никогда ему не на-

поминал. Валентин, как никто другой, знал, с чем ему жить придётся. Жалел его. Глеб всегда это благодарно чувствовал.

Летом 2010 года Валентин уже знал, что Глеб неизлечимо болен, приходил к нам в Солнечный в сопровождении неизменного Кости Житова, дважды приходил один (приводили соседи) — всё никак не мог найти наш подъезд (где, интересно, был в это время Костя Житов?).

«Гарь» Пакулова вышла по сегодняшним меркам неплохим (за четыре издания) тиражом в пятнадцать тысяч экземпляров, но единственный «гонорар» был от Валентина Распутина. Зная, что Пакулов — автор из нерасторопных, он привёл к нам бизнесмена из Братска, который купил книг на шестьдесят тысяч рублей. В свой последний приход 30 октября 2010 года он подарил Глебу красиво изданную, с магнитной застёжкой книгу «Земля вокруг Байкала», сделал надпись: *«Брату Глебу дружески и с любовью, которые никогда и ничто не могло затмить. Спасибо, брат, за всё. Ну, и подержимся ещё немного. Тамаре кланяюсь. В. Распутин. 30.10. 2010»*.

Они знали, что больше не встретятся, простились в коридоре, Глеб ушёл в спальню и закрыл дверь. Провожая Валентина до двери подъезда, мы понимающе посмотрели друг на друга. Потом он сказал (как будто бы меня это могло успокоить). «У Светы тоже уже четвёртая стадия. Что сделаешь? Крепись. Жить будем». Мы обнялись.

Света после своей смерти мне снилась. Не знаю почему, мы никогда не были близки. Один сон я Валентину рассказала: я сидела за столом на кухне, вдруг заходит Света, села напротив меня, обхватила руками свои плечи, поежилась и сказала — холодно мне. Я принесла ей свой белый оренбургский платок, она в него укуталась, посидела немного, потом встала и ушла. Я мгновенно проснулась и зачем-то побежала к вешалке — убедиться, на месте ли платок, всё было так реально. Только потом я догадалась, отчего Валентин во всё время моего рассказа так странно на меня смотрел...

Вижу я во сне и Валентина. В любое время года в одной и той же в мелкую серую клетку рубашке — это валентинов подарок Глебу. Перед моим переездом к племяннику, о чём я даже ещё и не помышляла, вижу Валентина, он расчищает передо мной дорогу, разбрасывая во все стороны снег большим самодельным деревянным пихлом. Наутро я узнала о своём переезде.

Перечитала написанное о Валентине Распутине и поняла, смахивает он у меня, скорее, на любимого доброго дядюшку: не вышло разговора о великом писателе, который заглянул в душу своего народа и слился с ней настолько, что я, например, воспринимаю его старух почти как распутинский автопортрет. Эта нераздельность, как это всегда получается у великих писателей, того же Достоевского, есть выражение общности его души с народной. Об этом более или менее хорошо писали и ещё будут писать, а я же пишу воспоминание, это всё-таки не тот жанр, где ставят серьёзные аналитические вопросы. Дело ещё и в другом, главное, то, что составляет понятие «Распутин», до меня ещё не дошло, и до конца моих дней не дойдёт уж точно...

Как говорил Леонардо да Винчи, «хорошо прожитая жизнь — долгая жизнь». Судя по делам, Распутин прожил не одну жизнь. Он мечтал о творческом писательском уединении и одиночестве, но... «для веселия планета наша мало оборудована», а потому, по заветам нашей великой учительной литературы и в полном соответствии с корневым смыслом нашей сотериологической (спасительной)

православной культуры, Распутину пришлось не только спасать народ. Словом: писать повести, которые ждала и взахлёб читала Россия, но, когда надо, отложив свои писательские заботы, спасать страну делом — спасать Байкал, спасать Сибирь от поворота куда-то её рек, спасать культуру, книгу — он был вдохновителем и устроителем Всероссийских фестивалей и «Сияний России». В надежде умерить свистопляски нашей перестройки, бил в набат — писал пронзительную публицистику. А ещё строил церкви, отливал колокола для строящихся церквей, устраивал библиотеки. Это он, Распутин, написал книгу неслыханного жанра — «Сибирь, Сибирь...». Книга эта не только о прошлом, это книга провиденциальная. Её ещё никто толком не прочитал. Прочитают, если ещё не «совсем изнемог», как горько заметил Распутин в конце жизни, наш русский народ.

Мы виделись в последнюю его иркутскую осень 2014 года в областной больнице. Говорили недолго — он ждал именитых гостей. Пожаловался: мало того, что в ушах постоянный шум, так ещё и колокольные звоны стал слышать.

И теперь слушает. У стены храма...

Март 2018 года



АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

«Люблю я родину, зелёную и снежную...»

О СУДЬБЕ И ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА ВЛАДИМИРА КУЗЬМИНА



В. Кузьмин

В глухом таёжном распадке на окраине села Култук, где летами вился среди зарослей курильского чая и папоротника студёный ручей, а зимой синели, зеленели и радужно переливались на солнце толстые наледы, пряталась под крутым хребтом моя осадистая старая изба. И однажды в туманные крещенские морозы, когда бесснежный Култук вздохнул после лютых байкальских ветров, сподобился я пожить рядом с художником Владимиром Кузьминым.

Гостил у меня и Сергей Казанцев, о ту пору ещё молоденький, маловедомый живописец.

Художники писали этюды, я топил русскую печь, гоношил некорыстную похлёбку, и козь потрескивали палящие морозы, то Кузьмин с Казанцевым сломя голову бегали в избу греть подле жаркой печи окоченевшие руки и застывшие палитры с краской. И вдруг с небес милостью Божией, неожиданная-негаданная, опустилась влажная, мягкая оттепель: даже капель невтопад заголосила веснянку, хотя и не играло солнышко, и день проснулся пепельно-сероватый, глухой, какие случаются накануне щедрых снегопадов...

Как радетельные покосчики не упускают погожие деньки и, до звона отбив литовки, от зари до зари валят траву, потом гребут валки, копнят и мечут зароды, ибо день год кормит, так и художники, радые оттепели, не выпускали кистей из рук. Владимир запечатлел невзрачные, косенькие соседские избушки на курьих лапах, ледяной ручей с вмёрзшими кустами красной смородины и тальника; живописал и Байкал — озеро ещё ворочалось с боку на бок, ворчал, словно медведь перед лёжкой, размётывая ледяную шугу. И когда я глянул на кузьминские этюды, диву дался: Господи ты мой милостивый, где живописец увидел в снежной серости, в убогих избушках, щербатых тынах и частоколах столь счастливо играющие и поющие краски?! Померещилось: посреди зимы чудом чудным запылилась июльская радуга, отпахнулась берёзовая грива и лесная поляна в буйном разнотравье-разноцветье.

Но раньше дивный пейзаж увидел я в кабинете Валентина Распутина рядом с книжными шкафами и письменным столом ...тихая радость, тихая грусть... при-

щуристо взгляделся и понял – кузьминский; а позже Валентин Григорьевич сказал о художнике: «Какой у нас в Иркутске есть замечательный художник – Владимир Кузьмин, искренний, добрый, постоянно приглашающий к добру, как к празднику. Вот за это ему поклон».

Потом увидел пейзаж и в Доме литераторов, а потом ...бурливо и плавно струилась река времени... мы сдружились, и я люблю живопись Владимира Кузьмина, люблю, кружа по старгороду, завернуть в его мастерскую, смирить запаленный, засученный дух. Пью душистый чай среди ласковых картин в тёплой опрятной светёлке ...язык не поворачивается обозвать мастерской... и чудится: выбрел в ярко цветущий майский сад или вернулся блудным сыном в родимое село, и в отцовской избе поджидают меня принаряженные родичи. Горница: призрачно мерцающие в красном углу старые иконы, сестрица Алёнушка и братец Иванушка, вышитые гладью, линиялые карточки родичей, сложивших буйны головы в трёх войнах, ярко-лоскутные тропочки на половицах, расшитый обережными крестами рушник, а на выскобленной дожелта столешне пышет жаром хлебная коврига.

Владимиру Кузьмину грех жаловаться на художническую судьбу: не зарыл в землю дар, отсуленный Богом и завещанный крестьянской родовой; не промотал за погремушки суетного мира сего, не пропил, не заболтал в хмельной куражливой богеме; но азартным и озарённым трудом воплотил свой радостный живописный дар, продираясь к зрителям сквозь нужу и стужу, ворчание чиновников от искусства, усмешки мертвотдушных формалистов. Ныне живописные произведения заслуженного художника России Владимира Кузьмина украшают и русские музеи, и частные собрания, галереи Европы и Америки, Японии и Монголии. А когда я доводил до ума этот очерк, за картину «Портрет поэта Александра Никифорова» художник получил губернскую премию имени Александра Вычугжанина.

* * *

В том, что живопись Владимира Кузьмина принял сибирский простолюдин, загадочного мало, — художник в избранных портретах и пейзажах ответил неисповедимой русской душе, выразил душу даровито, с щемящей любовью, с дивлением и состраданием. Словно разбуженный голосом из родового далёка, задумался у картин даже молодой зритель, утонувший в технократическом, демоническом модерне, запредельно далёкий деревенским избам, староиркутским дворам, кои то залиты белым полуденным зноем, то обмерли в сумеречной дрёме, то утопают в сиреновом цвете, потом в синеватых суметах.

Не обнесли художника чарой медовой браги на мирском пиру; ежели, увы, мало знали по матушке России, то в Иркутске и любили, и славил. Но это редкий случай, когда художник по своему живописному дару, по ласковой любви ко всему русскому заслужил и большего, — чтоб его живопись знали и любили от мала до велика, в любом краю, где ещё теплится народная душа. И не заради честолубия художника, а потому, что кузьминская живопись, исполненная певуче-тихой, нежной или по юношески порывистой, то ликующей, то опечаленной любовью ко всему русскому, нужна русским, чтобы не помрачились разумом и сердцем, не вознесли хулу на Бога, не поносили с пеной у рта друг друга, а заодно и нашу измученную Родину.

Русское искусство, не подменяя Церкви Православной ...лишь там душа обретает покой и спасение для Вечной Жизни... если и владело некими правами на

душу человеческую, то лишь для того, чтобы среди греховных буреломов, зарослей дурнопахнущего чапыжника расчищать брату и сестре тропу ко Храму Господню. Даже букет полевых цветов, написанный художником с щедрой любовью, уже славит Бога, ибо природа — Творение Божие, а Любовь — Бог.

В картинах Владимира Кузьмина есть всё, что душе отрадно, но есть и произведения, которые можно повеличать народными; и мир художника — по-детски удивлённый, пёстро-радостный, игривый, но и природно, святоотечески мудрый — мир сей от деревни, от земли.

— Я ведь родом из крестьян, — говорил Владимир Кузьмин. — И не стесняюсь этого. Даже и горжусь. Вся мои предки до третьего колена вышли из приангарских деревень. Там, на Ангаре, и для скота были пастбища обильные, и пашни богатые, которые кормили хлебушком весь наш край. Конечно, до затопления земель. А затопление — это уж горе горькое.

Владимиру Кузьмину посчастливилось, он застал Ангару в её вековой красе и величавой мощи. А потом, когда ради мощи технократической возвели могучую гидростанцию и затопили острова и берега, так стало горько художнику, так долго ныла душа и не смирялась с тем, что деревни, вместе с покосными угодьями, обильными пойменными пашнями, сосновыми борами и берёзовыми гривам, вместе с могилами кузьминских предков, вместе с избами, где жили родичи, ушли навечно в полые воды.

— Читал повести Валентина Распутина ...тоже ангарский житель... и дивился: такое всё родное мне и близкое, — вспоминал художник. — И даже иные герои вместе с именами, вроде как из нашего рода. Вот, скажем, старуха Дарья из «Прощания с Матёрой», — ну, точь-в-точь моя бабушка Дарья. Надо же какое совпадение... Бабушка Дарья была верховодом в нашем роду. Она уж вошла в большие лета, к восьмидесяти близилось, но такая была старуха, живая, подвижная, работающая. И все её в деревне любили: и старые и малые... Прадед мой прожил сто тринадцать лет, а деду Грише — я застал его маленьким, — было около ста лет. Натуральный был крестьянин. Всю жизнь пропахал, а потому и прожил в добре и славе. Крестьяне в Сибири, по царским временам, если лодыря не гоняли, жили крепко — земля, тайга, река вдоволь кормили. Сами сеяли, жали, молотили, мололи на мельницах. Продавали хлебушек, ездили обозами в другие сёла, и даже в Иркутск. Были мои деревенские родичи *трудолюбивы*, труд любили, утешались в труде, и в труде же пороки укрощали, которые в праздности расцветают, как поганые грибы в гнили. Молитва и труд от всех бед спасут.

* * *

Когда Владимир помянул свою деревенскую родню, запечатлённую в картинах, мы вольно, ли невольно поразмыслили о русском крестьянстве, кое испокон веку изживали со свету, а ныне довели до края, и теперь лишь чудо спасёт.

Я прожил в глухоманном забайкальском селе лет двадцать, отчего повести мои, рассказы и очерки о русской деревне, о крестьянстве, о природе. Владимир Кузьмин, хоть и горожанин, иркутянин, но из характера, из живописи явственно видится и зело мудрый, и на потеху гораздый, природный мужичок. Вот, скажем, портрет Александра Никифорова, верхоленского поэта, так с виду, вроде, и не поэт, а деревенский баешник либо мужичок-лесовичок; да и не портрет вышел из-под кисти озорной, а пейзаж лица: среди лохматой рыжеватой бороды и нече-

санных лохм, словно из таёжной чащобы, таинственно, грустно и устало посвечивают глаза синими озерушками. И веет от холста радостно, игриво былой ... песенной, обрядовой, природной... русской деревней.

— Ангарская деревня жила степенно, — рассуждает Владимир. — Хватало времени и в церковь сходить, и на святки, на Масленицу потешить душеньку гульбой. Оттого, что у крестьян был строго заведенный ритм жизни, они и чувствовали себя уверенно, свободно, не суетились, в душе царил покой. Жили самостоятельно, как в поговорке: до Бога высоко, до царя далеко. Никто их не терзал. Повинности исполняли, подати платили, и жили сами по себе, в своей общине. А коль семьи были большие, работников уйма — вот и жили безбедно. В деревне раньше и рождались крепко, братались, крестами менялись. Колесил я по деревням, где после затопления наша родня расселилась, писал пейзажи, портреты, жанровые картины. Гостил в Ташлыково, в Кузнецово, и везде меня как родного принимали, хотя лишь маленьким и видели. А-а-а, говорят, сын Ляксадры. Ну, всё ясно, наш! Я и маленьким из Иркутска всякое лето ездил в деревню, к братану Петру. Отец посылал, может быть, чтоб отчий край не забыл и родню, и чтобы мало-мало подкормился, молочка попил. Туго жили в войну, да и после войны. Вкалывал там... Запрягает Петро лошадь и — на покос, а то и в лес, и меня прихватит подсобить...

* * *

Послевоенный Иркутск был тихим, уютным, живописным городом, лишь ныне утопает в надсадно кричащей рекламе, и похож на Лысую гору, куда слетаются ведьмы на шабаш, а уж по старым летам Знаменское предместье, где в деревянном доме поселились Кузьмины, жило и вовсе по-деревенски, окружённое ромашковыми полями, ягодными и грибными лесами. Владимир парнишкой, бывало, вылезет из окна, вот и в тайге очутился, можно ягоды-грибы собирать. Родичи Владимира разделили мало-мальский огородишко, растили картошку и прочую овощ. И коровёнку держали, и свиней, и коз, которых маленький Володя и пас. В холодные и голодные послевоенные годы огородинка да животина и спасала многодетную Кузьминскую семью.

Кузьминская родова до Владимира не явила художника ...мало-мало рисовал братан Виктор, погибший на фронте, брат Павел, сестра Дуся... но всякий род, веком наживая народную судьбу, скапливая творческий опыт, однажды рождает своего выразителя — художника, писателя, композитора, артиста, а в досельную пору, так и сказителя. Вот и крестьянская, ремесленно-посадская родова Кузьминых явила художника-живописца, запечатлевшего то, что вызрело или накипело в родовой, а значит, народной душе.

В начале пятидесятых Владимир Кузьмин поступил в Иркутское училище искусств.

— После войны молодые сильно тянулись к искусству. Мечтали: война кончилась, голодуху, разруху переживём, а дальше будет что-то светлое, радостное, и такая жизнь пойдет замечательная... И чтобы мы какими-то охламонами в эту жизнь пришли — не может быть такого. И все старались учиться от мала до велика.

А учились на художников и пятнадцатилетние, такие как Владимир Кузьмин, и тридцатилетние, которые им, подранкам-отрокам, казались дедами. Столько деды уже пережили, что иному нынешнему на две жизни хватит, одна война что стоила.

Учились впроголодь. В училищном коридоре красовался бокастый бак с кипячёной водой, к баку на цепь приковали железную кружку. И после звонка на перемену ученики выходили, а в руках у кого ломоть ржаного хлеба, у кого сухарь, и по очереди из одной кружки запивали. Вот и весь обед. И дальше работали. И как работали!.. Из училища выходили такие художники, каких и по России-матушке мало, а уж в Европе днём с огнём поискать. Они уж когда поступали, их живописью преподаватели восхищались. Готовые художники, вроде, учить, только портить. Трудяги были редкие... Часами сидели в библиотеке, мастеров копировали, руку набивали. Кто ленивый, кто всего себя не хочет, не может отдать живописи, с эдаких толку мало. А Владимир и его друзья работали от зари до зари, да и ночи прихватывали.

Посчастливилось Владимиру Кузьмину с учителями... Часто и поклонно вспоминает художник Аркадия Вычугжанина... Ученики благоговели перед Аркадием Ивановичем, как перед могучим *русским* живописцем, а и человек был незаурядный...любомудр, можно сказать... и начитанный. Бывало, ученики спросят про нашумевшую книгу, а он сразу: дескать, читал, читал, и уж мнение своё имеет. И пел чудно. Любил кондовые сибирские песни, чтобы душа покаянно плакала и воскресно веселилась.

* * *

Много воды утекло в реке Ангаре с той поры, когда ученик Владимир Кузьмин принаравливал кисть к природной душе своей и радостному воображению, а теперь уж сам поучает училищных подмастерьев:

— Нужно слишком любить... я и профессией живопись назвать не могу. Это даже не профессия, это состояние души, это дар Божий. Слишком нужно любить живопись, чтобы на холсте твоём родилось что-то путное и доброе. И пахать, пахать, пахать...

Владимир Кузьмин ...в отличие от иных, кои после школьной лавки кроме газетёшек ничего не читывали... любит душевную и духовную музыку, читает, сопереживая героям, прозу и поэзию, близкую народным сказам и песням. Не случайно и дружен с даровитыми иркутскими писателями, портреты которых создал не столь из общения и наблюдения, сколь из писательских книг. Неслучайно, начитавшись Есенина ли, Рубцова, земляка ли сибирского Анатолия Горбунова, и сам стал тешиться стихами, ласковыми, немудрящими, искренними.

*Я жизнь свою суровую и нежную,
За счастье и печаль благодарю.
Люблю я родину, зелёную и снежную,
И в песни красках родине дарю.*

*Я напишу старинные дома,
Остановлю их медленное тление,
Чтоб дети помнили всегда,
Души народной вечные творения.*

* * *

Владимир Кузьмин и зимой и летом, и весной и осенью писал село Баушево, ставшее родным, окрестные речушки, озерушки и вольный Иркут; воспел врас-

тающие в земь давнишние избы и вольные ограды в чащах рябины и черёмухи. А вот затаённые и певучие староиркутские купеческие и мещанские дворы, и вдруг — облитые багровым заревом, красные быки в жердевом загоне, как мощь и красота живой природы. И в Баушево, и в Иркутске Владимир Кузьмин с поклоном сыновним пишет старинные усадьбы — в их усталых и мудрых, изморщиненных ликах начертана судьба народа в радости и скорби.

Среди картин и этюдов, заполонивших мастерскую, поразил меня унылый холст, для Владимира Кузьмина, в цвете буйного и яркого, несвычный: сероватый, до слез печальный и обреченный. На картине сей изображен этюд на мольберте — церковь в миражной дымке или январской изморози — и на фоне незавершенно-го этюда запечатлен художник: лицо пепельное, без кровиночки, измождённое, обмершее в скорбной и отрешённой беспросветной, безысходной думе, глаза — долу, руки бессильно опущены... Может, замерла на духовном распутье судьба художника, что вдруг мучительно задумался: не лукавым ли искусом явилось его искусство, не заслонило ли веру в Бога ... церковь в дымке; и не увёл ли художник людей искусством ...или уж искусом?.. от веры Божией, восславив слепое и многогрешное ликование суетного земного бытия, забыв о спасении души и Вечности для себя и тех, кого искусил своим искусством?.. Может, всё суета сует и томление духа?.. Увы, на исходе жизни эдак и видится земное творчество; но то на исходе, а на взлете жизни лишь сомнения туманом клубятся в душе.

— Нужно было выразить боль, — вспоминает Владимир, — чтобы хоть так найти покой, снять тяжесть с души и, может быть, уйти от этой трагической темы. Потому что я люблю писать иное — радостное, доброе, чтобы человеку было видно: добра в мире больше, чем зла и уродства. Чтобы человек отошёл от картины и стал хоть немного добрее и поверил, что добро одолеет зло. А начинать надо с себя. Сам в себе победи зло вначале... А это тяжко — силы зла не дремлют, они зловеще нащёптывают, они тебя терзают, толкают против ближних, а значит, против Бога. Но верой и добрым творчеством можно спастись.

У Владимира Кузьмина случались в жизни горести, и душой овладевала смута, печаль, но художник умел пересилить кручину и, чтобы не внушать ближним греховное унынье, воспевал человека — подобие Божие, природу — Творение Божие, воспевал и красу рукотворную, воплощённую в древе и камне.

1995 год

Сумочка к ребру



СТЕПАН ПРАВДОРУБСКИЙ

Мне не жаль разбитую посуду

*Мне не жаль разбитую посуду,
Пылящуюся по комодам вечно.
Не терплю несносного зануду,
Не люблю ленивых и беспечных.*

Тимофей Вершинин

Мне не жаль разбитую посуду.
Я и сам по пятницам, конечно,
Чтоб не быть похожим на зануду,
Чашки-плошки бью свои беспечно.

Не ленюсь, стараюсь для народа.
Выйдет мне за это благодарность.
Будет беспосудная свобода
И рабочая без ложек солидарность.

*О любви
Не даром, говорят, что зла любовь.
Полюбишь, говорят, козла любого.
И не поверишь никому
(она тебе икона, Бог и царь),
Покуда сам не глянешь вдруг
И не поймешь,
Какая гадина, какая тварь
Была твоим блестящим идеалом
И грелась у тебя под одеялом.*

Анатолий Гретченко

Хвала любви

Хвала тебе, любовь, хвала!
Я полюбил, того не сознавая,
Большого чёрного козла
В разгар весны, пятнадцатого мая.

Я с ложечки его кормил
И грел под ватным тёплым одеялом,
А он моим друзьям хамил
И вовсе не хотел быть идеалом.

Скажу на голубом глазу:
Я завтра, в помрачении рассудка,
Однако полюблю козу
Назло всем вашим тёмным предрассудкам.

МАКСИМ ОРЛОВ

«Велик могучим русский языка»

*Нырдем в темь: там демоны трепещут,
Струится свет: в нем блекнут ангела.
Но памятник застыл легко и вечно,
Надменно осеняя престола.*

Татьяна Ясникова

Пусть критики трепещут

Конечно, там, где ангелы трепещут,
И ангелА рифмуют с престола —
Нетленные поэт рождает вещи,
Вовек которым не сгореть дотла.

Последуем примеру: офицеры
Заменим на словцо *офицерА*.
А как банально слово прокуроры,
Оригинальнее — *прокурорА*.

Своеобычна поэтессы мова,
И планка вдохновенья высока...
Но как тут не припомнить Иванова:
«Велик могучим русский языка»!

Добро должно быть с кулаками...

Станислав Куняев

Добро

Добро бродило с кулаками.
То нос ломает, то ребро.
Снабдите дверь гаражными замками!
А то войдёт — творить добро.

ВЛАДИМИР СКИФ

Уснувшую картошку сторожил

Из цикла пародий «СМИРНОВИАДА»

Муки огородника

*Я тоже был владельцем сада.
Всё было, как у всех — земля, ограда,
шалаш, костер, садовый инвентарь.
Как первый земледелец встарь,
забыв существование сна, еды,
я ночью выходил коснуться борозды...*

Александр Смирнов (Москва)

Всё лето я выращивал картошку,
не пил, не ел, а если ел — окрошку.
Три раза в день полонил и огребал,
и под кустом картошки засыпал.

Хранил картошку как зеницу ока,
чтоб выросла и налилась до срока.
Палил костры и грел её дымком,
с листочком каждым лично был знаком.

Спасал картошку от собаки, кошки,
чтобы не смели пакостить в картошке.
Берёг её от воробьёв, ворон,
картошке чтоб не нанесли урон.

А на закате, хоть кусали мошки,
пел тихо «Колыбельную» картошке.
Потом всю ночь до посиненья жил
уснувшую картошку сторожил.

Стояла в мире осень золотая...
«Поспи!» — кричала диких уток стая.
И я заснул как малое дитя,
во сне на юг за утками летя.

Проспал весь день, как будто зэк на воле.
Проснулся — чистым оказалось поле.
...Всё взяли воры — осень помогла.
Последний клубень мышка волокла.

На карауле

*Князь Пожарский спит у храма
Рядом с Мининым...*

Юрий Смирнов

Воробьёв забила пара
Под застреху.
Спят красоти Ренуара
И Лотрека.

Спят стяжатели, подлизы
(Их немало).
Итальянка Мона Лиза
Задремала.

Персонажам спать охота.
Спит губастый

На коленях Дон Кихота
Санчо Панса.

Спит Прекрасная Елена
На подушке,
Потому что не царевна,
А лягушка.

К ней любовью, как Тортилла,
Я проникся.
Спят в гостях у «Крокодила»
Кукрыниксы.

Пётр Первый спит на стуле
В русском стане.
Только я на карауле,
Не до сна мне.

Только я на карауле
Днём и ночью —

Зелье варится в кастрюле:
Рифмы, строчки.

Буду долго у кастрюли
Оставаться,
Чтобы критики заснули
Лет на двадцать!

Женское равноправие

*...А ты ко мне — Россией,
Снежинкою — на губы...*

*...Весна лежит веснушками
Твоих открытых плеч...*

Вениамин Смирнов (Салехард)

Как только равноправие
У женщин заимелось,
Любовь моя Молдавией
На шею мне уселась.

Встречаемся с приятелем,
Но я не вижу друга:
На нем сидит Бурятией
Любимая супруга.

Ну, а к другому — пассия,
В стремлении к богатым,

Пристроилась Хакасией
И сделала горбатым.

Вы где, мужчины сильные?
Эй, русские медведи!
Соседка всей Россией
Уселась на соседе.

Не сдвинуть женщин пушками,
Не запугать ножами...
Уж лучше бы веснушками
Они на нас лежали.

Не надо слов

*Это слово я нашел на речке,
Где шлифует камешки волна...*

*...Этих слов по заводям, по плёсам,
По полям, где в дымном цвете рожь,
По грибным местам, по сенокосам
Полную корзинку наберёшь...*

Николай Смирнов

От меня слова, как будто птахи,
Разлетелись в Кострому, в Сибирь.
Утром просыпаюсь в диком страхе
И лежу с женою, как немтырь.

Как её зовут: Кристина? Поля? —
Я не знаю — кругом голова.
О любви слова пытаюсь вспомнить,
А жена не слышит — и права.

Что-то надо делать? Ведь не зря же
В полночь позвала меня сова,
Чтобы я среди болот, коряжин
Отыскал забытые слова.

Вот сижу, пускаю дым колечком,
Отдыхаю посреди стволов.
Костерок. Неандертальский вечер.
И совсем, совсем не надо слов.

Книжная лавка



ВАЛЕРИЙ ПРИЩЕПА

ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР ХАКАССКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Родина больше нас

*Родина — это прежде всего духовная земля,
в которой соединяются прошлое и
будущее твоего народа, а уж потом «территория».
Родина больше нас, сильнее нас.*

В.Г. Распутин



От редакции: В канун официального посмертного 85-летия нашего земляка, поэта Е.А. Евтушенко (18 июля 2018 года) в Иркутске вышла книга Арнольда Харитоновича «Я вам необходим...» (Евгений Евтушенко. Встречи), 4-й том хроники жизни и творчества Е.А. Евтушенко «По ступеням лет» (1971–1975 годы) Виталия Комина и Валерия Прищепы и информа-

ционно-художественный фотоальбом корреспондента литературного журнала «Сибирь» Владимира Харитонova «Я сибирской породы». А 18 июля в Зиме был открыт первый в России и за рубежом памятник Евгению Евтушенко работы Евгения Скачкова.

Иркутская история

По существу, альбом представляет собой развёрнутый красочный информационно-иллюстративный конспект Иркутской истории и современности.

Золотым ключом, открывающим вход в замысел автора альбома, служат стихи Александра Вулыха:

*Знаю я, что жизнь моя —
Иркутская история,
Исток величественных рек,
Таёжной просеки разбег...
Знаю я, что жизнь моя —
Иркутская история,
Просторов песенная ширь,
Святая русская Сибирь.*

Фотопортрет Евгения Евтушенко работы Владимира Григорьевича Харитонова, украшающий обложку альбома, экспрессивен и содержателен, по сути, в нём выражен основной нерв издания: устремлённость благословенной Прибайкальской земли в будущее. И вполне закономерным выглядит задний форзац: на фоне Байкала и герба Иркутска помещены известные евтушенковские стихи:

*Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей — внутри себя!!!*

Фотоальбом посвящён «80-летию образования Иркутской области и юбилеям выдающихся сибиряков: 85-летию Евгения Евтушенко, 80-летию Валентина Распутина, 80-летию Александра Вампилова». В соответствии с этим посвящением располагаются в альбоме фотографические и информационные материалы. Предваряет их обращение к жителям области губернатора Восточно-Сибирского региона С.Г. Левченко. Следом идут материалы о Прибайкалье заслуженного врача России Изислава Лившица и заслуженного деятеля науки РФ Михаила Винокурова.

Источниками информации для альбома являются библиографический указатель «Помнит город о войне: улицы героев и участников Великой Отечественной войны (1941–1945)» (Иркутск, 2015), Календарь знаменательных и памятных дат «Иркутской Хронограф» (Иркутск, 2017), материалы Виталия Зоркина о драматурге Александре Вампилове и ряд других изданий.

Родина больше нас

Информационно-фотографическая составляющая альбома необычайно богатая и разноплановая — десятки разделов представляют нам историю и современность Иркутской земли в лицах: «Первые секретари Иркутского Обкома КПСС и Председатели облисполкома, Председатели Законодательного Собрания Иркутской области», «Знаменательные даты», «Иркутяне в ВОВ», «Бессмертный полк», «Навечно в строю», «Саянск — город сибирских химиков», «Иркутская нефтяная компания», «Космонавты — уроженцы Иркутской области», «Иркутский авиационный завод» и многие другие.

Необыкновенная мощь индустриального потенциала Прибайкалья представлена и в главах о работе Торгово-промышленной палаты, ЖКХ, «Газпромдобычи», Восточно-сибирской железной дороги (в том числе уникальной Кругобайкалки), БАМа, «Иркутскэнерго», «Братскгэсстроя», «Восток-центра», Иркутского алюминиевого завода, завода тяжёлого машиностроения, завода дорожных машин и других важных предприятий области.

Подробные информационно-иллюстративные страницы альбома о важнейших предприятиях региона удачно сочетаются с главками о «живом национальном достоянии» — людях-подвижниках Прибайкалья: о выдающемся конструкторе ракет Михаиле Янгеле, министре культуры Братска Фреде Юсфине, первом всенародно избранном губернаторе Юрии Ножикове, учёном Альберте Бегунове, Герое Социалистического Труда Александре Ежевском, Сергее Чемезове, Юрии Чайке, Денисе Мацуеве, Марке Сергееве, Анатолии Кобенкове, Геннадии Сапронове, Виталии Венгере и других достойнейших иркутянах.

Золотая середина нового издания — «Храмы Иркутской области». Православные церкви, икона Божьей Матери Казанской, собор Богоявления Господня, Крестовоздвиженская церковь, Князе-Владимирский храм и другие храмы соседствуют в альбоме с Баргузинским дацаном в селе Ярикто, католическим кафедральным собором в Иркутске, римско-католическим костёлом, иркутской синагогой и соборной мечетью. Роскошные фотографии Ирины Новожиловой высвечивают мысль автора альбома о толерантности русского народонаселения Иркутской земли, а также подчёркивают убедительность присутствия прежде всего русского духа в истории и современной Сибири.

В.Г. Харитонов представляет коллекционера Александра Спешилова и его частный музей-галерею раритетных самоваров, ОАО «Байкалкварцсамоцветы» и его оригинальные изделия, Иркутский областной краеведческий музей им. В.П. Сукачёва, Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского, Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, ТЮЗ имени А. Вампилова, ведётся рассказ о фестивале «Звёзды на Байкале», фестивале поэзии на Байкале, отдельный раздел посвящён митрополиту Московскому, центру имени Святителя Иннокентия в Анге, Иркутскому городскому театру народной драмы.

В альбоме ведётся уважительный разговор и показ заслуг таких иркутских газет, как «Восточно-Сибирская правда», «Советская молодёжь», «Комсомольская правда — Байкал», которые являются лучшими периодическими изданиями Восточно-Сибирского региона.

В.Г. Харитонов представляет также фотографическую галерею городов области: Иркутск, Братск, Зима, Черемхово, Ангарск, Усть-Илимск, Ольхонский район...

Легендарные города, драгоценные люди, вселенная Байкала... А в результате — показ уникальности Иркутской земли, хранящей несметные материальные и духовные сокровища!

Информативно-фотографическую основу альбома завершают, на наш взгляд, три интересных раздела: «Евгений Евтушенко», «Валентин Распутин» и «Александр Вампилов». Каждый из них нетрудно представить в качестве отдельных тематических брошюр-книг, посвящённых жизни и творчеству великих русских писателей, рождённых на Иркутской земле.

«Я вам необходим»

Раздел по Евгению Евтушенко самороден, представляет собой своеобразную иркутскую фотографическую антологию жизни и творчества поэта со станции Зима. Он открывается портретом Евгения Александровича работы Ольги Ильиной-Квасовой, которая вместе с мужем, иркутским живописцем, создала девять портретов именитого земляка, помещённых в зиминской городской библиотеке, иркутской библиотеке им. Е.А. Евтушенко. Портрет поэта работы Юрия Квасова украшает также обложку 3-го тома хроники жизни и творчества Е.А. Евтушенко «По ступеням лет» (Иркутск, 2017) Виталия Комина и Валерия Прищепы.

Владимир Григорьевич Харитонов представляет поэта, ставшего его другом, десятками авторских фотографических работ, фотопортретами Евтушенко, сделанными Николаем Зименковым, Геннадием Сапроновым, фотографиями из архива Виталия Комина, Максима Арзаева, Рудольфа Берестенева, Валерия Карнаухова, Эдгара Брюханенко, Анны Янгель, Елены Пашутиной, Семёна Майстермана, живописными евтушенковскими портретами работы Ольги Ильиной-Квасовой и Алексея Третьякова.

Иркутское окружение Евтушенко вполне узнаваемо: нынешний заместитель председателя Общественной палаты Виктор Махайлович Спирин, известный российский журналист и путешественник Л.И. Шинкарев, автор 8 книг о поэте журналист и филолог В.В. Комин, сам В.Г. Харитонов, известные якутские геологи Г.Д. Балакшин и В.В. Черных, бывший мэр Зимы В.А. Трубников, заведующая Дома поэзии в Зиме Л.Г. Евинова, заслуженный работник пищевой индустрии России С.С. Каракич, известный зиминец В. . Смолянюк, фотомастер Н.И. Зименков, В.Г. Распутин и некоторые другие сибиряки.

Стихотворения Евтушенко, цитируемые автором проекта, многоплановы: «Брат мой», обращённое к И.А. Бродскому, «Сказка о русской игрушке», посвящённое сложным отношениям поэта с Н.С. Хрущёвым, «Отцовский слух» (Виллюйский сплав 1973 года), отрывок из нашумевшей поэмы «Станция Зима», «Монолог голубого песка» (Ленское путешествие 1967 года), «Алмазы и слёзы» (1967), знаменитое «Прощание с красным флагом» (1992), «Памятники не эмигрируют» (2003), «Итальянские слёзы», классическое «Людей не интересных в мире нет», стихи, посвящённые последней жене поэта Марии Владимировне («Последняя попытка» и др.). Некоторые другие стихотворные и фотографические ряды евтушенковского раздела получают концептуальное осмысление в цитатах из книг о поэте И.З. Фаликова, Л.И. Шинкарёва, В.В. Комина и В.П. Прищепы, высказываниях Дмитрия Быкова, Соломона Волкова, Валерия Хайрюзова, Виктора Спирина и др. Если к этим высказываниям прибавить цитаты из публицистики Е.А. Евтушенко, приводимые в альбоме, то перед читателем предстанет бескрайне красивый «Человек с планеты Земля» (Арнольд Харитонов), человек-артист, человек-феерия, человек-оркестр (Илья Фаликов).

Завершает этот раздел «Письмо к ушедшему другу», написанное Владимиром Харитоновым Евгению Евтушенко, — из земного мира в мир иной, небесный. Этот потрясающий документ приводится на русском и английском языках (в переводе сына автора проекта Влада Харитонова, живущего в США). В письме Владимир Григорьевич раскрывает тайные причины появления альбома «Я сибирской породы»: «Я исполнил свое обещание — отметить Ваше 85-летие изданием фотоальбома, на которое Вы дали мне свое согласие и поддержку. Памятуя совет мудрецов: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о далеко идущих планах, к Всевышнему (уж слишком он высоко) обращаться не стал... До Вас дозвониться мне в очередной раз было гораздо проще. Вы пожелали мне удачи: «Дерзай! Я знаю твоё умение преодолевать трудности, хорошо помню твоё жизненное кредо. Спешите делать добрые дела, чтоб не хватало времени на злые. Уверен, что у тебя все получится достойно. Хорошо, что помнишь не только обо мне, но и о Валентине Григорьевиче и о Саше Вампилове... Так красиво ты об этом сказал: «Три сибирских Богатыря». Спасибо за оценку нашего творчества» (с. 384).

Хотелось бы верить, что письмо Владимира Харитонова услышит его великий друг Евгений Евтушенко и с высоты небес увидит роскошество содержательного и изобразительного убранства обещанного, а теперь уже реального альбома.

«Тайна Валентина Распутина»

Именно так называется второй «писательский» раздел фотоальбома В.Г. Харитонова. Вступительное слово Владимира Скифа ставит важнейший вопрос распутиноведения: «Как и откуда возникло это явление в толще веков, в том неизме-

римом пространстве, которое называется Сибирью? Из каких языковых глубин и высот, из какой русской сосредоточенности и клубящейся народной мысли, из каких родовых корней и родословных переплетений предстало перед миром это явление, в котором соединились неизъяснимое чутье к языку и яркость литературного таланта? Валентин Распутин — это необыкновенная загадка русского бытия, русского сознания...» Фотографии писателя и его окружения, сделанные Эдгардом Брюханенко, В. Скифом, Н. Брилем, В. Харитоновым, Л. Шинкаревым, В. Козловым, Г. Сапроновым и другими. Портрет Валентина Распутина работы Ильи Глазунова — это сибирские страницы жизни подвижника русской словесности и последние дни писателя.

Листая страницы работы В.Г. Харитонova, невольно приходишь к вопросу: в каком ещё сибирском (и не только) регионе родились сразу три таких разных, великих, всемирно известных писателя, как Евгений Евтушенко, олицетворяющий сокровищность русской поэзии последних 50 лет, Валентин Распутин, уже при жизни ставший символом русской классической прозы второй половины XX века, и Александр Вампилов — лучший русский драматург ушедшего столетия?! Сопоставимы, на наш взгляд, но не равнодостоинны с иркутской писательской историей лишь Алтай, на земле которого родились Василий Шукшин и Роберт Рождественский, да Красноярский край, где появился на свет великий Виктор Астафьев.

Думается, что именно осознание исключительной культурной плодотворности Прибайкалья и продиктовало Владимиру Григорьевичу включение в издание трёх иллюстративно богатых и содержательно весомых разделов, посвящённых этим корифеям русской художественной словесности (с. 313–439).

Он жил среди людей

Так называется вампиловский раздел альбома. Замечательные фотографии выдающегося драматурга из архива Виталия Зоркина сопровождаются выписками из записных книжек, оставшихся после гибели Александра Валентиновича. Загадка драматурга объясняется директором Центра А. Вампилова Галиной Солуяновой так: «Генетически сформирована личность тем, что по отцовской линии, бурятской, и по материнской, русской, было по несколько поколений лам и священнослужителей. Эта родовая память столь органична, сколь жизненный путь и наполнение авторского драматургического наследия естественны». В этого сельского парня, которого мы видим на фотографиях то с деревянными вилами на уборке сена, то в курсантской форме на военных сборах, Бог пригоршнями вбросил талант, который сразу после его смерти покори́л мир людей планеты Земля.

Небольшой по текстовому пространству раздел заключают фотографии спектаклей по пьесам драматурга из архива театра им. А. Вампилова.

Байкал — это космос

Венчает альбом раздел «Живи и процветай, родной сибирский край!», в котором даются неповторимые пейзажи богодухновенного Байкала, воспеваются космизм его природного и духовного мира. Имена создателей фотографий этой особой главы альбома на слуху иркутян: сам Владимир Харитонов, Алексей Белик, Игорь Бержинский, Александр Турняк, Николай Бриль, Александр Бурмейстер,

Анатолий Бызов, Владимир Гуляев, Евгений Доманов, Эльвира Евладова, Ирина Новожилова и другие. Фактически каждая фотография имеет притягательную силу, вызывает желание листать альбом вновь и вновь, и всё же лучшая работа этого раздела — «Байкальская симфония» Владимира Харитонов, в которой земные и небесные мотивы переливаются, небесная и ледяная синева полукругом окаймляет текущую золотую плазму фантазии байкальской природы и автора-творца. Что это? Что изображено в «Байкальской симфонии»? Нет мне ответа, хотя где то в глубине сознания вызревает предположение: это фотографический и художественный скол корневой сущности Байкала, неизъяснимость и непостижимость его космизма.

В конце чудо-альбома Владимир Григорьевич благодарит спонсоров этого издания: председателя Совета директоров ОАО «Саянскхимпласт» Виктора Кузьмича Круглова, генерального директора Иркутской нефтяной компании М.В. Седых, генерального директора Иркутского авиационного завода-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» А.А. Вепрева, заместителя председателя областной Общественной палаты В.М. Спирина, президента Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири К.С. Шаврина, мэра города Зима А.Н. Коновалова и других.

Предполагаю, что роскошный альбом В.Г. Харитонova может вызвать обиду тех иркутских фотомастеров, чьи работы не вошли в его состав, и тех людей, которые достойны представления на его страницах, но не присутствуют на них, но ведь нельзя объять необъятное. Наша родина больше и нас, и наших альбомов о ней. И даже эта вполне понятная обида и зависть коллег к руководителю этого проекта станет неоспоримым свидетельством его успеха в социокультурном пространстве не только Сибири, но и всей России.

Этому есть объяснение.

Мы с моим соавтором, известным иркутским журналистом и филологом Виталием Коминым, написали и выпустили 8 исследовательских книг о Е.А. Евтушенко, и каждый раз после написания очередного тома прилагали не меньшие усилия по поиску спонсоров и сбору средств на их издание. Именно поэтому хочется подчеркнуть не только подвижническую работу составителя по сбору фотодокументальных свидетельств и информативных материалов, но и фантастическое упорство В.Г. Харитонova и В.М. Спирина по добыванию денег для издания такого масштабного, богато иллюстрированного фотоальбома, объёмом почти в 100 печатных листов.

Подобную работу мог сделать только человек, по-настоящему любящий свою родину.

Автор этих слов 35 лет назад после окончания аспирантуры на филофаке Иркутского госуниверситета навсегда покинул Иркутск, поселившись в Хакасии, но сердце моё навсегда осталось здесь, в моём любимом городе. И вот сейчас я трепетно держу в руках бесценное издание, как будто держу своё собственное сердце — живую часть нашей общей сибирской Родины.

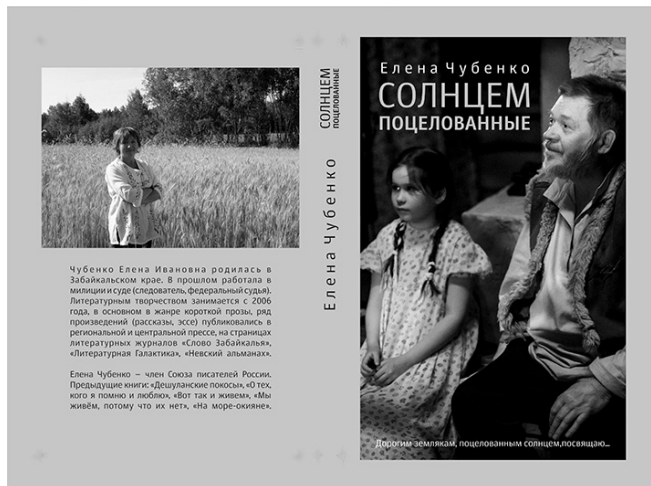
Уверен, руководитель проекта альбома «Я сибирской породы» Владимир Григорьевич Харитонов не осознаёт, что он сотворил чудо, которое наполняет не одно только моё сердце благодарным теплом, а душу — гордостью за малую родину. Убеждён, что его творение войдёт с неискоренимой силой в сознание тысяч иркутян, живущих и в «середине земли», и далеко за пределами Иркутской области.

Информационно-иллюстрированный альбом «Я сибирской породы» В.Г. Харитонova посвящён Иркутской области и её людям, но, по сути, является гимном любви и гордости за всю Сибирь — и в этом непререкаемая заслуга её руководителя, создавшего выдающееся творение.

ЕЛЕНА СТЕФАНОВИЧ

Поэзия в прозе

О книге Елены Чубенко «Солнцем поцелованные»



Ну, вот и всё, праздник закончился — закрыта последняя страница рукописи новой книги забайкальской писательницы Елены Чубенко. Уже несколько лет я живу в ожидании нового и нового чуда, потому что каждая новая книга Елены, о чём бы она ни была, — это поэзия в прозе. И это ощущение радости — до слёз, умиротворения и умиления, хотя пишет Чубенко о каждодневной жизни села,

где и беды хватает, и разговоров, и мечтаний — всего, что составляет основу нашей жизни.

Меня потрясает её способность видеть красоту и радость в самых обыденных проявлениях жизни — осенний листопад, поездка за голубицей, разговор двух старушек-соседок — везде, во всём у неё присутствует свет небес и глубокий и чистый смысл жизни. Может быть, её вроде бы бесхитростные деревенские рассказы трогают до глубины души потому, что у большинства из нас — моих ровесников, ровесников Елены — были свои любимые деревенские дедушки и бабушки, своя деревенька, знакомая и любимая с самого раннего детства, к которой мы стремились всей душой в течение долгого учебного года. Речка или пруд за околицей, неумолчные лягушачьи хоры, травы в обильной чистой росе, тысячи светлячков в ночных лугах и высокое небо над головой с мириадами ярких звёзд поздними вечерами... Счастливы те, у кого всё это было. Тем более, счастливы те, у кого всё это есть. У Елены Чубенко есть родной район — Улётовский, где она родилась и которому верой и правдой служит всю свою жизнь. Больше тридцати лет она — ведущая актриса Улётовского народного театра. А ещё она бывший работник правоохранительных органов и федеральный судья в отставке. А ныне и заслуженный работник культуры Забайкальского края.

Сегодня она работает в Улётовской районной газете, с которой и раньше всегда сотрудничала. Многие герои её рассказов — её земляки, соседи и друзья. Поэтому и нет у неё ходульных героев и выморочных событий в повествованиях, всё — живое, настоящее, узнаваемое. Елена Ивановна так говорит о своем творчестве:

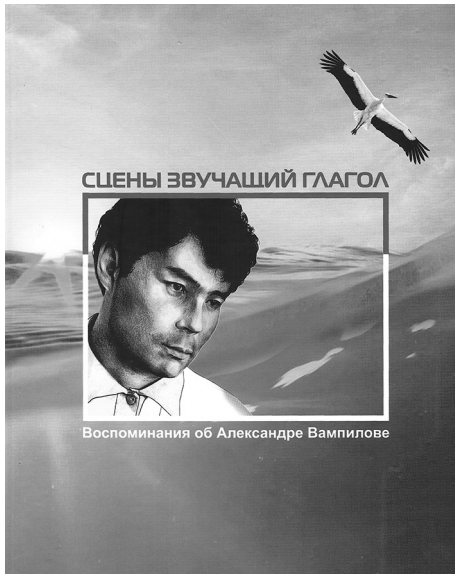
— Я родилась и выросла в Улётовском районе Забайкальского края. Предки — семейские, пришедшие в Улётовский район из Красного Чикоя. Наверное, поэтому образы деревенских бабушек да мужиков — мои самые излюбленные. Забудем мы своих стариков, и считай, потеряем Родину. Как не растут деревья без корней,

так не бывает и Родины без предков. Учиться жизни нужно только у них, на Запад пореже оглядываться.

Я люблю эту писательницу за то, что она никогда не участвовала в забегах за славой и популярностью, — ей это просто неинтересно. Она никого нигде не расталкивает локотками, стремясь первой попасть на сцену или к микрофону, улыбнуться в камеру — знай, мол, наших! Она торопится жить и работать, взахлёб, радостно, как бывает только в азартные юные годы...

Для меня Чубенко — это как Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Василий Шукшин — честное и наболевшее, предельно искреннее писательское слово. Я всё время жду её новых книг, потому что знаю: этот человек писал и пишет на пределе душевных сил, не пытаясь выглядеть красивее и величавее, нежели она есть на самом деле. С приходом Елены Чубенко в забайкальскую литературу появилось мерило — мерило совестливости, таланта, творческой порядочности. Надеюсь, Бог подарит ещё мне радость встречи с её новыми повестями и рассказами, с тем настоящим, что несёт в себе этот человек.

Книжная полка



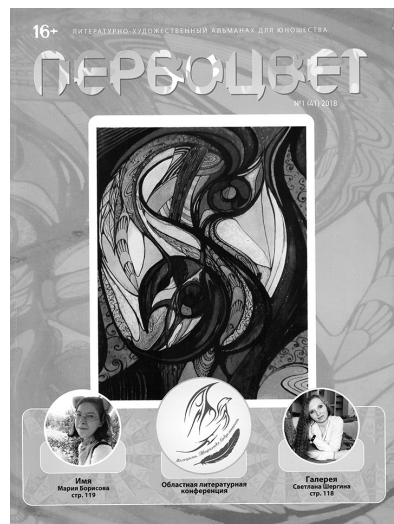
Сцены звучащий глагол. Воспоминания об Александре Вампилове. — Иркутск: [б.и.], 2018 (Тип. «Репроцентр А1»). — 454 с.

В книгу воспоминаний об Александре Вампилове вошли не только воспоминания, но и стихи, написанные памяти выдающегося драматурга, и статьи о его творчестве. Вошли в неё воспоминания многих друзей-писателей, с кем он начинал свой невероятно сложный путь к сердцу читателя и зрителя: это В.Г. Распутин и Е.А. Суворов, Г.Н. Машкин и П.И. Реутский, В.Б. Жемчужников и Д.Г. Сергеев, Г.Ф. Николаев и В.Н. Хайрюзов. Критики Н.С. Тендитник, В.П. Трушкин, П.В. Забелин. Известные ак-

тёры, режиссёры и драматурги: Олег Ефремов, Станислав Любшин, Владимир Андреев, Виктор Розов. Первый постановщик его пьесы «Старший сын» Владимир Симоновский. Близкие друзья: Т.Г. Бусаргина, В. Зоркий, Б. Кислов, И. Петров, Б. Леонтьев.

Творчество Вампилова — это неизмеримый пласт русской жизни и русской души. Его персонажи — мы сами со всеми нашими взлётами и падениями, с редкой радостью и глубокой печалью, поиском истины и бременем тяжёлых характеров, как у того же Зилова из «Утиной охоты», и целительной надеждой на будущее счастье, как у Валентины из пьесы «Прошлым летом в Чулимске». Как сказал один из авторов книги воспоминаний о Вампилове — Борис Барановский, «пьесы Вампилова — это печаль человека о человечестве».

Вышел в свет очередной номер (№ 1 (41)) литературно-художественного альманаха для юношества «Первоцвет». Главной темой этого выпуска стала прошедшая осенью 2018 года Областная литературная конференция «Молодость. Творчество. Современность». На страницах альманаха опубликованы произведения молодых поэтов и прозаиков — лауреатов конкурса.



Молитвы русских поэтов. XX–XXI: антология /автор-составитель — В.И. Калугин. — М.: Вече, 2019.



«Стихи — это молитвы» — в этой дневниковой записи А. Блока 1902 года выражена одна из основных черт всей русской поэзии начиная с первых молитвословий митрополита Илариона, Феодосия Печерского, Кирилла Туровского — трех поэтов-иноков, причисленных к лику святых. Молитвы как поэтический жанр существуют в России уже тысячелетие. Молитвенные шедевры Ломоносова и Державина, Алексея Толстого и К.Р. (Константина Романова) — высшие воплощения вековых традиций.

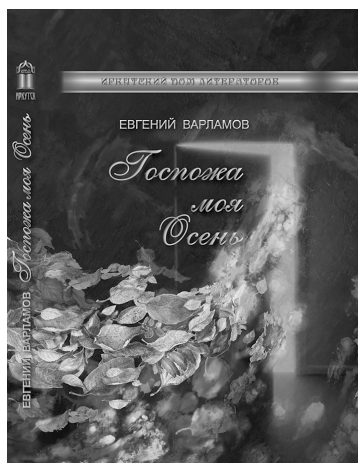
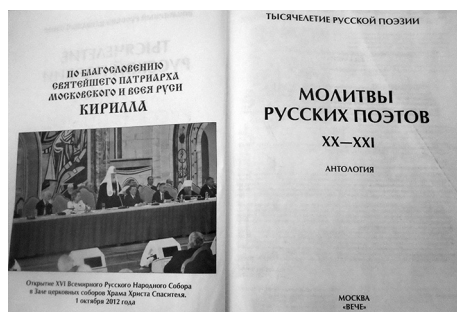
В антологии впервые представлена новохристианская поэзия XX века, освящённая именами священномучеников Илии (Громогласова) и Владимира (Лозина-Лозинского). Через все круги ГУЛАГовского ада прошли новохристианские поэты Лев Карсавин, Даниил Андреев, Александр Солодовников, Александр Тришатов, Наталья Ануфриева, Николай Стефанович, Виктор Василенко, не опубликовавшие при жизни ни единой строки своих молитвенных стихов.

Широко представленные в антологии молитвы выдающихся поэтов Серебряного века и Русского зарубежья — это именно новохристианская поэзия, которой суждено было возродиться в конце XX века и стать одним из самых ярких поэтических явлений начала нового столетия и нового тысячелетия.

Второе издание антологии в этом отношении не просто «исправленное и дополненное», а продолженное новыми именами и новыми молитвословиями современных поэтов России.

В антологию вошли стихи автора журнала «Сибирь» Сергея Чепрова.

Антология издается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



Варламов, Е.П.

Госпожа моя Осень: стихи / Е.П. Варламов. — Иркутск: Сибирская книга, 2019. — 288 с.: ил.

Поэт Евгений Петрович Варламов. В молодости дерзкий, колючий, требовательный, испытывающий тебя, непростой в общении и добрый верный товарищ. Драчливый и бесшабашный, он писал лёгкие, искренние и по-юношески чуть наивные стихи. Они хорошо ложились на память. Долго помнились. ...А потом жизнь сделала Женю

трудным поэтом. В стихах и максимализм, и бунт, и смирение, и отчаяние утраты любимых. Читать их нелегко. Они требуют душевной работы. Однако снова и снова возвращаешься к ним... Странное смешение стилей, размеров, ритмов, смыслов...



Михеева, С.

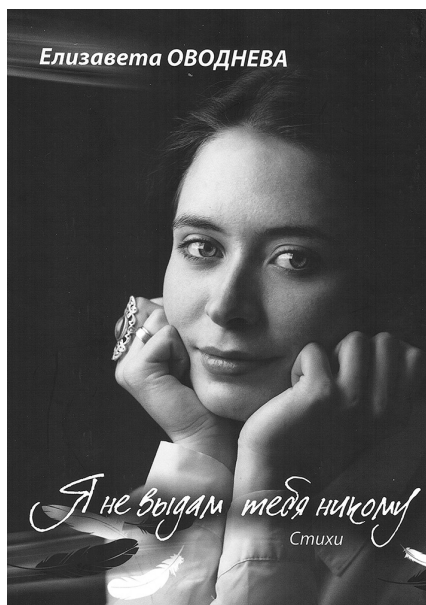
На зимние квартиры: стихотворения / С. Михеева. — М.: Водолей, 2018. — 128 с.

Вышла в свет новая книга стихов иркутского поэта Светланы Михеевой. Автор этого сборника живёт на некоем водоразделе — Азия и Европа смещаются и преломляются друг в друге, город и свободное пространство природы взаимодействуют, образуя новый смысл, который утверждает: география пройдена и больше не повторится; время переопределяется по личному желанию человека. Всё становится условным, но за географией мы встречаемся сами с собою...

Оводнева, Е.

Я не выдам тебя никому: стихи / Е. Оводнева. — Иркутск: [б.и.], 2019. — 72 с.

Книга молодого поэта Елизаветы Оводневой собрана из стихов разного периода. В 2014 году она обсуждалась в Иркутске на творческом семинаре «Молодые голоса» и завоевала второе место. Этот цикл в книге называется «С вороном под руку». Вторая часть книги «Печаль и лёд в душе сроднились» включает в себя стихи более поздние, с которыми Елизавета в ноябре 2018 года стала победителем на Областной конференции «Молодость. Творчество. Современность» и была рекомендована в члены Союза писателей России.





Поклон писателям Кузбасса

Слово о семидесятилетии журнала «Огни Кузбасса»

В позапрошлом веке избранные литературные журналы возвышались, украшались главными редакторами из плеяды талантливых писателей: «Трудолюбивая пчела» — Александр Сумароков, «Полезное увеселение» и «Свободные часы» — Михаил Херасков, «Современник» — Александр Пушкин и Николай Некрасов, «Отечественные записки» — Николай Некрасов, «Время» и «Эпоха» — Фёдор Достоевский. И в прошлом веке главными редакторами были писатели, коим Господь Бог тоже ссудил словотворческий дар: «Новый мир» — Александр Твардовский, «Молодая гвардия» — Анатолий Иванов, «Москва» — Михаил Алексеев и Леонид Бородин, «Наш современник» — Сергей Викулов и Станислав Куняев. И в нынешнем веке в главных редакторах ходят славные писатели; упомяну лишь тех, чьё творчество ведаю и чту: «Двина» — Михаил Попов, «Сибирские огни» — Михаил Щукин, «Енисей» — Михаил Тарковский, «Огни Кузбасса» — Сергей Донбай...

О журнале «Огни Кузбасса» и скажу поклонное, похвальное слово, ибо давно знаком с журналом и ныне удостоился чести побывать на семидесятилетии добротного и доброго сибирского издания.

Писатели — не умалишённые, что толкуют каменной стене; писатели, создавая художественные произведения, беседуют с родным народом, что невидимо замер вокруг письменного стола. Словом, пишут для книгочеев: мертвотушные бульварные беллетристы, дабы по-лицедейски развлечь, пощекотать читательские нервы, а народные писатели, чтобы разбудить в народе любовь к ближнему, что есмь предтеча любви к Вышнему.

Коли за плечами моими полвека издательской и писательской пахоты, то могу верно сказать: писатели рожают романы, повести, рассказы и стихи с робкой надеждой либо уверенностью, что произведения увидят свет вначале в журнале, а потом, Бог даст, и в книге. Но прежде — в журнале, где пытливые книгочеи открывали и познавали писателя.

Согрешу, коли совру, что журналы охотно печатали мои сочинения; нет, бывало, захлопнется дверь перед носом, поцелуй пробой и вали домой; бывало, возвращали рукописи с бранью, обвиняя в избыточном этнографизме, фольклоризме и словесном орнаментализме; но пуще согрешу, коли совру, что все журналы отвергали мои сочинения; нет, иные, а среди них и «Огни Кузбасса», благосклонно привечали мою прозу. Года три назад увидел свет в «Огнях Кузбасса» рассказ «Озёрная купель», обычно зачинный в книгах моих.

Задолго до юбилейного торжества мы от случая к случаю виделись с главным редактором журнала Сергеем Донбаем: то на Алтае, где Шукшинские чтения, то на литературных семинарах в Новосибирске, то в Иркутске, где каждую осень — «Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Поэтические вечера, братчинные застолья сдружили нас, тем паче, и характеры наши оказались созвучны; но, перво-наперво, скажу велеречиво, сблизил любовь к родному простолудью русско-

му, любовь восхитительная и сострадательная, запечатлённая в прозе и стихах. А стихи Сергея Лаврентьича читаю, почитаю, недаром же повеличал поэта среди даровитых писателей, ныне возглавляющих литературные журналы России.

Празднование семидесятилетия журнала прошло высоко, торжественно и без фальшивого официозного холодка, а словно долгожданная встреча авторов журнала — писателей, творчески и братски любящих друг друга. А гостил в Кемерово цвет нынешней русской словесности — писатели, ведомые российским книгоче-
ям от Москвы и до украин матушки России. Ведомые не по чину, а по творческому дару, Николай Иванов, Михаил Щукин, Александр Казинцев, Юрий Перминов, Геннадий Скарлыгин умудрили и украсили литературные вечера в честь журнала, и вечера вышли не развлекательные, но творчески обогащающие, душеполезные для кемеровских читателей, да и писателей.

Но, скажу не лукавя, не лстя Кузбассу, меня даже более гостевых речей впечатлила лирика кемеровских поэтов, что звучала в дружеских застольях; и запомнились стихи Виктора Коврижных, Александра Раевского, Дмитрия Мурзина. А мудрые, ласковые, порой ироничные стихи Сергея Донбая я с умилением и отрадой слушал почти ежегод на писательских сборах; ведал я и поэзию Бориса Бурмиistroва, но давно уж стихи его не являлись на глаза, а ныне послушал, почитал и подивился любомудрию, краснопевности его русской лирики. Дай, Боже, многая лета, многая здравия Борису Васильевичу, и поклон ему, председателю Союза писателей Кузбасса, за то, что его заботами и хлопотами столь торжественно и художественно прошли вечера в честь семидесятилетия журнала «Огни Кузбасса».

На своём писательском веку изрядно повидал я губернских литературных фестивалей, и светлых, и смутных, а нынешний кузбасский вышел ярким, истинно творческим, чётко слаженным, за что мой байкальский поклон Кемеровскому Дому литераторов, Союзу писателей Донбасса и журналу «Огни Кузбасса».

*Анатолий Байбородин,
главный редактор журнала «Сибирь»*

Наши лауреаты

***Поздравляем лауреатов Всероссийской
литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова
за лучшие публикации в журнале
«Приокские зори» за 2018 год***

Владимир Васильевич Корнилов — лауреат в номинации «Поэзия». Удостоен звания лауреата за опубликованный в № 2, 2018 г. цикл стихов «Берег детства» и активное участие во всероссийском литературном процессе. Член Союза писателей России, выпускник Литературного института им. А.М. Горького. Лауреат многих литературных премий и дипломант поэтических конкурсов. Воспитывает поколение молодых поэтов. Живёт и работает в г. Братске Иркутской области.

* * *

Поздравляем лауреатов журнала «Берега» за 2018 год:

Поэзия: Владимир Скиф. Стихи // Берега. № 1 (25). 2018.

Публицистика: Анатолий Байбородин. Слово о русском слове: очерк о любомудрии и краснобайстве // Берега. № 3 (27). 2018.

Конец судебной тяжбы

РЕДАКЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

История длинная — почти десятилетняя, и связана она с именем Валентина Григорьевича Распутина. Вкратце напомним её.

В 2009 году писатель получает премию Правительства Российской Федерации в области культуры за книгу «Сибирь, Сибирь...», выпущенную издательством Геннадия Сапронова (2006), в сумме 1 млн рублей.

Фотохудожник Борис Дмитриев не соглашается с тем, что награждён лишь автор очерков. Считая себя соавтором книги, он пытается добиться от Правительства Российской Федерации половины премии, обращается к нему с письмом, предупреждая о намерении обратиться в суд. Узнав об этом и не желая быть причастным к судебному разбирательству, Валентин Григорьевич немедленно приглашает Бориса Васильевича в Дом литераторов и предлагает ему половину полученной премии. Дмитриев не отказывается, сумму в 500 тыс. рублей у писателя берёт (в три приёма, в течение 2010 года), пишет расписки...

Правление Иркутского регионального отделения Союза писателей России возмутилось этим, в сущности, незаконным перераспределением, хорошо понимая, что совместная работа над книгой писателя и фотохудожника соавторством не является. В результате на доске объявлений Дома литераторов появилось резкое осуждение поведения Дмитриева, расценённого как вымогательство.

Дмитриев подаёт на правление иск в суд — «за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации», требуя возмещения морального ущерба на сумму 300 тыс. рублей. Кировский районный суд в 2011 году принимает решение полностью удовлетворить претензии истца, но снизил размер компенсации до 50 тыс. рублей. Поданная правлением апелляция в Иркутский областной суд была отклонена, решение районного суда оставлено в силе.

Конфликт между фотохудожником и писателями был освещён в статье В. Семеновой «Авторское право: все беды от наших заблуждений» — в защиту писателей с точки зрения Закона об авторском праве и комментариев к нему («Байкальские вести». 2011. 29 сент. — 2 окт.). Эта статья никем не была опровергнута, но и ничего не изменила, как выяснилось семь лет спустя.

Поводом для подачи Дмитриевым нового иска в 2018 году — снова в Кировский суд, с той же позиции «соавтора» — стала статья Сергея Распутина «Замысел или умысел?», опубликованная в «Сибири» (2018. № 2).

Сын писателя, критикуя книгу А. Румянцева «Валентин Распутин», выпущенную в серии «Жизнь замечательных людей», в том числе упрекнул автора в излишнем подчёркивании дружеских отношений между отцом и Дмитриевым, в замалчивании «злополучного инцидента» с премией, после которого их общение прекратилось. Попутно высказал своё отрицательное мнение о фотохудожнике как человеке, взявшем не принадлежащие ему деньги.

Отличие нового иска от прежнего в том, что он был направлен по двум адресам: журналу «Сибирь», точнее, ИРО СП России — учредителю журнала, — и автору статьи Сергею Распутину, с предъявлением суммы в 300 тыс. рублей за моральный ущерб (по 150 тыс. с каждого ответчика), и с обязательством опровергнуть опровержение в «Сибири».

Кировский суд в 2018 году рассмотрел дело более подробно, чем семь лет назад: с участием адвокатов с обеих сторон (в 2011-м со стороны писательского

правления адвокат отсутствовал), с привлечением, также с обеих сторон, свидетелей и экспертов-лингвистов. Многие пункты претензий истца Дмитриева не были приняты судом, однако в решении от 4 октября частичное удовлетворение иска осталось. Сумма взыскания была снижена до 10 тыс. рублей с каждого ответчика.

Ответчики — представитель учредителя журнала, председатель правления ИРО СП России Юрий Баранов и автор статьи Сергей Распутин — не согласились с этим решением, сочтя его, пусть и небольшим, но всё-таки поощрением действий истца, ошибочно считающего себя соавтором — публикация о частичном выигрыше Дмитриева не замедлила появиться вскоре в «Московском комсомольце в Иркутске». И они обратились с апелляцией в Иркутский областной суд.

На этот раз расследование дела приняло другой оборот.

Не будем приводить все двадцать страниц документа под названием «Апелляционное определение» от 6 февраля 2019 года, с подробностями расследования, со ссылками на Конституцию РФ, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, Гражданского кодекса РФ и другие правовые источники, остановимся лишь на некоторых фрагментах, где судебная коллегия областного суда отклонила выводы Кировского районного суда (суда первой инстанции).

Так, *«признавая не соответствующим действительности в том числе и суждение о «чужих» для Дмитриева Б.В. деньгах, суд первой инстанции подменил собой орган исполнительной власти, который посчитал нужным премию предоставить только одному лицу, а не нескольким (хотя Правительство Российской Федерации не могло не знать, что в создании продукта творческого труда принимали участие и писатель, и истец, то есть автор, фотограф, составитель и т. д.). Распоряжение Правительства Российской Федерации не рассматривалось в судебном порядке. <...>*

Факт получения денег истцом (поступок истца) никем не оспаривается, а мнения и отрицательная оценка этого факта (поступка) автором статьи не подлежат судебной проверке на соответствие действительности. В этой части выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела, вызваны неправильным применением норм материального права (пункты 3 и 4 части 1 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации)».

То есть областной суд посчитал, что нелицеприятное мнение человека о поведении другого человека не может быть рассмотрено в суде, если есть неопровержимый факт, из-за которого возник конфликт.

«Судебная коллегия считает также, что суд первой инстанции неправильно оценил выводы заключения экспертов, положенного в основу решения суда...»

И вот итог:

«Руководствуясь статьёй 328 (пункт 2) Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Кировского районного суда города Иркутска от 4 октября 2018 года по данному гражданскому делу ОТМЕНИТЬ в части частичного удовлетворения исковых требований Дмитриева Бориса Васильевича к Распутину Сергею Валентиновичу, Иркутскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз писателей России». <...>

Принять в отменённой части новое решение по делу.

ОТКАЗАТЬ в удовлетворении исковых требований Дмитриева Бориса Васильевича <...> в признании не соответствующими действительности, пороча-

щими честь, достоинство, деловую репутацию Дмитриева Бориса Васильевича сведений, содержащихся в статье «Замысел или умысел?», опубликованной в журнале «Сибирь» № 363/2».

Другими словами, в удовлетворении иска Б.В. Дмитриева отказано полностью.

В завершение нашей информации обратимся к письму представительства Российского авторского общества (РАО) по Дальневосточному федеральному округу и Восточной Сибири — письмо было приложено к делу как ответ на вопрос С.В. Распутина о соавторстве. Приведём часть этого письма — в просветительских целях.

«Согласно ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения:

литературные произведения; <...>

драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения...

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и т. д.; <...>

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии...

Из содержания указанной нормы права следует, что литературное произведение и фотографическое произведение являются различными объектами авторских прав.

*Поскольку литературное произведение (книга В. Распутина «Сибирь, Сибирь...») и фотографические произведения являются не только разными объектами авторских прав, но и созданы в разные периоды времени, автора книги и автора фотографий **нельзя признать соавторами**. (Следует учитывать, что книга в 2006 году могла быть издана без фотографий Б. Дмитриева и **ранее уже издавалась без его фотографий**)».*

Справка от редакции: до 2006 года книга В. Распутина «Сибирь, Сибирь...» без фотографий была издана в 1996 году в США, в издательстве Канзасского университета, после 2006 года также без фотографий вышла в Москве (см.: Распутин В. Сибирь, Сибирь... М.: Изд. центр «Азбуковник», 2017).

«Таким образом, фотограф Дмитриев Б.В. не может считаться соавтором книги (литературного произведения как отдельного объекта авторских прав), поскольку книга «Сибирь, Сибирь...» на основании ст. 1259 Гражданского кодекса РФ является самостоятельным объектом авторских прав, созданным и ранее обнародованным без каких-либо фотографий.

*Включение одного вида произведения (отдельного объекта авторского права) в иное произведение (в другой объект авторского права), то есть включение фотографий в книгу как в литературное произведение, ведёт к образованию другого произведения — составного, **но при этом не образует соавторства в отношении тех произведений, из которых состоит такое составное произведение.***

Требования фотографа Дмитриева Б.В. как соавтора литературного произведения не соответствуют нормам действующего законодательства».

Сообщение подготовлено при участии
В. Семенов и юриста М. Щегловой

Обращение

**К ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ, ПОЛИТИКАМ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РОССИИ О СОЗДАНИИ ПАМЯТНИКА ВАСИЛИЮ БЕЛОВУ**

Великий русский писатель Василий Иванович Белов, один из родоначальников «деревенской прозы», родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха Вологодской области. После обучения в деревенской школе он окончил ремесленное училище в городе Сокол. Армейскую службу проходил в Ленинграде, а затем поступил учиться в Литературный институт имени А.М. Горького. С 1964 года Василий Иванович жил в Вологде, не порывая связь с «малой родиной» — Тимонихой. Первые публикации увидели свет в 1961 году. Публикация повести «Привычное дело» (1966) принесла автору широкую известность, а репутация мастера «деревенской прозы» была упрочена выходом повести «Плотницкие рассказы» (1968). Этнографические очерки о народной эстетике, опубликованные в трудах «Лад» (1982), запечатлели русскую культуру, быт деревни и навсегда остались в сердце читателя. Правда жизни в трилогии «Час шестой» и других произведениях, изданных в последний год жизни мастера в семитомном собрании, несомненно, будут востребованы в будущем.

В.И. Белов — народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР, почётный гражданин города Вологды. За свою деятельность Василий Иванович награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, Государственной премией СССР, орденами Русской Православной Церкви и многими медалями. В его квартире сейчас находится музей автора, его имя носит улица города.

Всё, созданное В.И. Беловым, как и сама его жизнь, заслуживает народной памяти на долгие годы и установки памятника на его родине. Просим всех русских людей оказать содействие в финансировании создания памятника Василию Ивановичу в городе Вологда, в котором им написаны щемящие до боли книги о крестьянской жизни, исполненные любви и отчаяния за судьбы соотечественников.

Организационный комитет по установке памятника В. И. Белову:

П. Толстой — заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ

А. Грешневилов — депутат Государственной Думы ФС РФ

С. Шаргунов — депутат Государственной Думы ФС РФ

С. Бабурин — президент Славянской академии наук, образования, искусств и культуры

О. Белова — лауреат государственной премии Вологодской области

В. Крупин — сопредседатель Союза писателей России

С. Куняев — главный редактор журнала «Наш современник»

Н. Лугинов — народный писатель Якутии

А. Михайлов — народный артист России

А. Заболоцкий — заслуженный деятель искусств России и Республики Беларусь

А. Шолохов — депутат ГД РФ

Перечислять денежные пожертвования на *изготовление и установку памятника В. Белову* следует на организацию «СЛАВЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, ОБРАЗОВАНИЯ, ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ»

Реквизиты:

РОО «СЛАВЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ»

ИНН: 7736246983 КПП: 773601001

ОГРН: 1157700008630

ОКПО: 45874920

Расчетный счет: 40703810201000023077

Банк: ПАО БАНК ЗЕНИТ

БИХ 044525272

Корр.счет: 30101810000000000272

Юридический адрес: 119331, г. Москва, пр-кт Вернадского, дом № 29, офис 404

Телефон: 89099160406

Президент РОО «Славянская Академия»: Бабурин Сергей Николаевич

1. В случае перечисления физическим лицом денежных средств на изготовление и установку памятника В. Белову, в **ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ** надо указывать свои **ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ, ГРАЖДАНСТВО.**

2. В случае перечисления **ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ** денежных средств на изготовление и установку памятника В. Белову, в обязательном порядке указывать, является ли организация **ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ**, а также дату регистрации организации.

В «**Назначении платежа**» в обоих случаях обязательно указывать формулировку «**ПОЖЕРТВОВАНИЕ**». Если будет указано другое значение (например, «благотворительное пожертвование», «спонсорский взнос», «на памятник» или какое-либо другое, с этих сумм в бюджет государства **В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ БУДЕТ ПЕРЕЧЕСЛЕНО 6% налога на прибыль!!!**).

Извинения Иванову В.П. (Ивану Комлеву)

В журнале «Сибирь» № 4 за 2018 г., вышедшем в свет 25 декабря 2018 г., на страницах 55–100 под псевдонимом «Иван Комлев» была опубликована четвёртая часть повести члена Союза писателей России Иванова Виктора Павловича «Рядовой Иван Ященко». К сожалению при корректуре редакцией журнала «Сибирь» были внесены в произведение искажающие смысл повествования изменения, сокращения и дополнения на следующих страницах журнала:

1) стр.93 абзац 1 строка абзаца 5:

изменили авторское слово «помнил» на слово «понял»;

2) стр.94 абзац 5 строка абзаца 3:

добавили словосочетание «один из милиционеров»;

3) стр.96 абзац 3 снизу строка абзаца 1:

удалили из предложения авторское словосочетание «два месяца»;

4) стр.96 абзац 1 снизу строки абзаца 1-2:

добавили словосочетание «за время после оглашения приговора»;

5) стр.98 абзац 2 строка абзаца 1:

сократили в предложении авторское «и детям»;

6) стр.98 абзац 4 снизу строка абзаца 1:

изменили авторское слово «через» на «спустя»;

7) стр.98 абзац 1 снизу строка абзаца 1:

удалили из предложения авторское слово «военную»;

8) стр.98 абзац 1 снизу строка абзаца 3:

заменяли авторское словосочетание «преподавал физику» словом «работал»;

9) стр.99 абзац 2 снизу:

сократили авторское словосочетание «но грянула перестройка».

Редакции литературно-художественного и культурно-просветительного журнала писателей России «Сибирь» приносит извинения члену Союза писателей России Иванову Виктору Павловичу (псевдоним Иван Комлев) за допущенные поправки, искажающие смысл повествования и авторское видение событий.

Редакция журнала «Сибирь»